След в Истории

МОЯ ЖИЗНЬ

АЙСЕДОРА ДУНКАН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Айседора Дункан — всемирно известная американская танцовщица, одна из основоположниц танца «модерн», всегда была популярна в России. Здесь она жила в 1921–1924 гг., организовала собственную студию, была замужем за Сергеем Есениным. Несмотря на прижизненную славу, личная жизнь Айседоры Дункан была полна трагических событий. Это описано в ее мемуарах «Танец будущего» и «Моя жизнь».

Во второй части книги помещены воспоминания И. И. Шнейдера «Встречи с Есениным», где отражены годы жизни и творчества танцовщицы в нашей стране.

Книга адресуется самому широкому кругу читателей.

- А. Дункан
  - ○
  - ○ Искусство и его тень
  - ○ А. Дункан
  - ○ А. Дункан
    - ■
    - ■ Глава первая
    - ■ Глава вторая
    - ■ Глава третья
    - ■ Глава четвертая
    - ■ Глава пятая
    - ■ Глава шестая
    - ■ Глава седьмая
    - ■ Глава восьмая
    - ■ Глава девятая
    - ■ Глава десятая
    - ■ Глава одиннадцатая
    - ■ Глава двенадцатая
    - ■ Глава тринадцатая
    - ■ Глава четырнадцатая

- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая
- Глава восемнадцатая
- Глава девятнадцатая
- Глава двадцатая
- Глава двадцать первая
- Глава двадцать вторая
- Глава двадцать третья
- Глава двадцать четвертая
- Глава двадцать пятая
- Глава двадцать шестая
- Глава двадцать седьмая
- Глава двадцать восьмая
- Глава двадцать девятая
- Глава тридцатая
- Глава тридцать первая

○ И. Шнейдер

- 1. Приезд Айседоры Дункан. «Золотой король» и Дункан. Первые впечатления
- 2. Станиславский и Дункан. «I am red, red!»[73] Спич во дворце «сахарного короля». Статья Луначарского
- 3. Воробьевы горы. Н. И. Подвойский. Символическое восхождение
- 4. Особняк на Пречистенке. Чай для русских и иностранцев. Золотая чашка. А. Б. Красин и «Аве Мария». Первые «дунканята»
- 5. Встреча с Есениным. «Энергичные слова». Поэты. Есенин читает свои стихи. Три дарственных надписи. Игра в корни. «Волчья гибель». Белые бумажки. Николай Клюев. С. Т. Коненков
- 6. Надписи на зеркале. Шестая симфония и «Славянский марш». Ленин в Большом театре. «Имажинизм» Айседоры
- 7. 3 декабря 1921 года. Есенин и Дункан в Петрограде. Комната № 5 в гостинице «Англетер». Выступление перед моряками «Авроры»
- 8. «Неожиданности» Есенина. Золотые часы. Есенин «уезжает в Персию». Дункан и Есенин в ЗАГСе. Отлет в Берлин. Завещание. Голубой

блокнот
- 9. Несколько слов об этой главе. Приезд Дункан и Есенина в Берлин. Письма Есенина из Европы. Встреча с М. Горьким и А. Толстым
- 10. «Остров слез». «Коммунизм является единственным выходом для мира!» Конная полиция в партере. «Железный Миргород». Кинозвезда Англии. Снова Париж. Есенин уезжает в Берлин. Автомобильная скачка с препятствиями. Отъезд в Москву
- 11. Возвращение на Родину. Отъезд Дункан в Кисловодск. Есенин остается в Москве
- 12. «Персидская деревня». Был ли Есенин в Персии и была ли Шаганэ в Баку? Есенин-прокурор. На тройке с Шаганэ. Иркутская находка. Письмо Есенина. Тифлисские «пластички». Жестокая телеграмма. Галина Бениславская. Разрыв
- 13. Снова в Москве. Цветы от Есенина. Ужин с рязанскими песнями. Бюст Есенина работы Коненкова. «Смешная жизнь, смешной разлад…»
- 14. Сборы в Берлин. Шляпный сундук и паук. Рассказ о гибели детей
- 15. Опять «Англетер». Кому написано «Письмо к женщине»? Последние встречи с Есениным. Катастрофа. Есенин и «есенинщина». Встреча с Маяковским. Смерть Айседоры Дункан. Как была написана эта книга

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

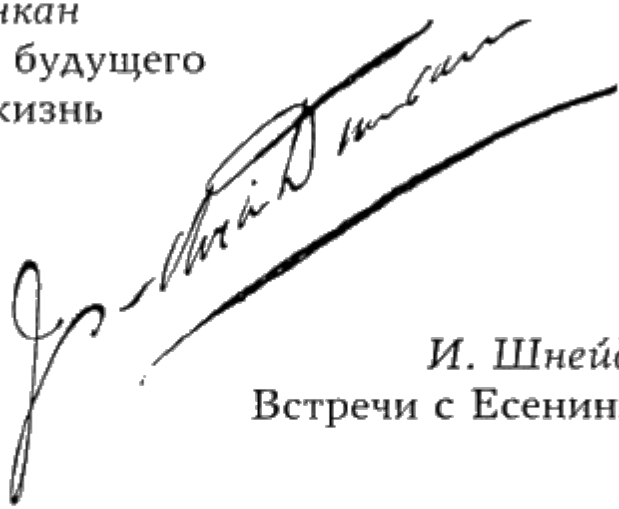
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59

- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92

А. Дункан
Танец будущего. Моя жизнь
И. Шнейдер
Встречи с Есениным

Айседора Дункан

А. Дункан
Танец будущего
Моя жизнь



И. Шнейдер
Встречи с Есениным

Ростов-на-Дону
«Феникс»
1998

Искусство и его тень

В этой книге рассказал свою жизнь большой человек, великая артистка. И жизнь эта оказалась горькой и бедной, как жизнь большинства обыкновенных людей. Даже более того: она много беднее и горше, чем жизнь большинства.

Я знаю: прочтя эту повесть, столь откровенно правдивую, многие не согласятся со мной. Ослепительный успех, власть над тысячами, предельная роскошь, возможность удовлетворить малейшую прихоть сердца и чувственности — все, о чем и мечтать не может средний человек, разве не было в распоряжении этой женщины? И разве не умела она всем этим пользоваться?

Возражающие будут правы. Если поглядеть на жизнь Айседоры Дункан с этой стороны, она должна представиться сплошным праздником, триумфом тем более радостным, что он предстает не слепым капризом случая, как это слишком часто бывает, но осмысленным воздаянием за усилия мужественной воли и победоносного таланта.

Однако внимательный читатель заметит: это лишь фасад жизнеописания, лицевая сторона его. Жизнь Айседоры Дункан была двойственна. Или вернее: цельная, ослепительно светлая, она отбрасывала черную тень.

И в этом ее сходство с жизнью каждого из нас. Только разница в том, что у жизни этого большого человека тень была черней и огромней, чем у нашей. Не все сенсационные книги плоски. У сенсационной книги Дункан есть глубина. И тень, отбрасываемая радостной жизнью Дункан, заполняет эту глубину. Правдивая книга получилась двойственной. В этом гладком, умелом, занимательном, порой вызывающе-легкомысленном повествовании все противоречиво. Словно видишь быстрый, танцующий легкий бег ног над отвесными крутизнами. Ноги танцуют свой танец, не думая, о безднах. Встречая препятствия на пути, они только делают прыжок — одно из «выражений духа посредством движений тела», — и препятствия как бы не существует. Но обойденная пропасть не перестает быть пропастью. Вновь и вновь встречается она на пути. И неизбежен миг, когда ноги, уже измученные вечной пляской, не смогут ее пересягнуть.

Такими прыжками через препятствия предстает вся жизнь Дункан, хотя и рассказанная артисткой без ясного отчета о глубине пропастей, встречавшихся ей на пути. Но слишком явно: ни один самый гениальный прыжок, в сущности, не привел к цели.

Победоносный в плане чистого, отвлеченного искусства танец Дункан нимало не затрагивал жизни, ничего не менял в ней. Между тем заветная мечта каждого большого художника — выйти за пределы чистого, отвлеченного искусства, внести в жизнь изменения своим творчеством, улучшить ее, приблизить хоть немного к тому идеалу, который он, художник, сам вывел из жизни и положил в основу своего творчества.

Эта мечта художника стать активным строителем жизни — мечта, столь явственно выраженная в книге Дункан, — отнюдь не самонадеянная прихоть, не беспочвенное донкихотство утописта-мечтателя. Искусство по самой природе своей, как высшая деятельность человека, направленная к очищению жизни от искажающих случайностей, от засоряющих пустяков, не хочет и не может быть только искусством. Искусство, чтобы быть подлинным искусством, должно быть жизненным творчеством, творчеством социальным. […]

Дункан не хочет видеть разрыва своей личной жизни, своих задач художника и действительности, в которой приходилось их разрешать. Свою личную боль она предпочитает мыслить только как личную боль, причиненную несчастными случаями (смерть детей, охлажденье любовника). Спасительный самообман. Этим она страхует жизнерадостную цельность своего искусства от грубых посягательств жизни, враждебной ему.

Уступая давлению общества, жизнь свою готова она превратить в пустое времяпрепровождение, принося ее в жертву общественной пустоте, — лишь бы искусство осталось целым и невредимым!

— Пусть моя жизнь будет пуста и несчастна, — как бы говорит Дункан. — Пусть личное чувство мое растратится в соблазнительных острых забавах, в раздражающих чувственность, но опустошающих сердце, иллюзиях. Пусть в оценке общественных событий останусь я пленницей знатной челяди и денежной знати, отдавая дань пошлой и лживой либерально-патриотической моде. Я предпочитаю отказаться от всего, что слишком прочно связывает с бытом, с действительностью. Пусть у меня не будет ни семьи, ни связей с общественностью. С пустотой моей жизни я справлюсь сама при помощи роскоши и комфорта, — роскоши, которая оказалась доступной мне более, чем многим и многим художникам — обитателям богемы. Затеями любви, путешествий, внешних триумфов сумею я справиться с пожирающей меня жаждой общественного действования, приглушу эту жажду, если не смогу ее утолить. Зато я останусь свободна для моего огромного искусства, которое — над жизнью. Свобода моя — превыше всего, ибо превыше всего

— мое искусство, которому нужна моя свобода.

И вот — искусство ее осталось нетронутым. Но с ним случилась другая беда: оно стало только искусством, и, значит, искусством неполным, искусством недоосуществившимся, искусством ради искусства, а не ради жизни. Сбывшись в полной мере как явление эстетическое в узком смысле слова, оно не развернуло ничего из социального содержания своего. Задуманное как провозвестие некой новой правды о человеке, как символ новых общественных отношений, более прекрасных (т. е. правдивых), чем те, в которых оно было создано, жаждавшее осуществить свою нравственную, т. е. социальную, глубину, искусство Дункан превратилось на деле в отвлеченную эстетическую забаву той самой буржуазной толпы; безобразные, общественно лживые нравы которой породили его как свою противоположность.

Этого ли хотела Дункан? Могла ли она примириться с тем, что искусство ее станет греческой, или вагнерьянской, или еще какой-либо модернистской экзотикой?

Могла ли удовлетвориться тем, что слепки с нее, танцующей, или с ее учениц украсят нью-йоркские и парижские салоны? Что босой танец спустится из сен-жерменских дворцов в демократические театры, из буржуазных столиц в мещанскую провинцию и станет надолго популярным аттракционом мюзик-холла?

Инстинкт большого художника — сильнее, чем демократические убеждения, — толкал ее к народу. Она была искренна, когда ликовала, танцуя на столах в студенческом кабаре. Она была искренна, когда искала выхода в общественность, вновь и вновь принимаясь за организацию своей школы — предприятие, всякий раз кончавшееся неудачей, в сущности фатальной. Она была искренна, когда ехала в Советскую Россию, чтобы принести свое искусство трудящимся, впервые ставшим хозяевами жизни. Но сознаемся: для нас оно осталось экзотическим цветком. Притом отнюдь не потому, что оно буржуазно по своим истокам. Не это было препятствием, чтобы ему привиться у нас.

Да, искусство Дункан изначально буржуазное искусство. Она сама подчеркивает это, говоря, что источниками его были Бетховен, Вагнер и Ницше; первый открыл ему ритм, второй — скульптурность формы, а третий дал душу. Да, это было индивидуалистическое искусство, славившее свободную, сильную личность. Но в то же время это было смелое, революционное искусство, отметающее всю неправду, которая составляет самую основу буржуазного общества. Отталкиваясь от его основы,

искусство Дункан переросло его. Своей жизненной правдой оно ценно для нас.

Нет, искусство Дункан осталось у нас до поры экзотическим цветком не потому, что оно буржуазно по истокам, а единственно потому, что представление о нем у самой его создательницы было неполное. […] Вся жизнь артистки прошла в среде, оттеснявшей ее искусство от жизни в отвлеченную эстетику, а когда наконец появились условия, в которых оно могло полностью раскрыть свой общественный смысл, — было поздно: сама Дункан слишком привыкла к своей богемной роли фрондирующей украшательницы того самого буржуазного быта, который она отрицала инстинктом большого художника.

Черная тень, отбрасываемая жизнью Дункан, не могла не оставить следа на ее понимании собственного творчества и на воле ее к воплощению этого творчества в жизнь. Мировоззрение Дункан в точности отобразило утрату жизненной цельности, столь характерную для всех одиноких мыслителей, порожденных буржуазным обществом и вступивших в неравную борьбу с ним; разрыв жизни на творчество, с одной стороны, и на пустое, одинокое препровождение долгих дней и лет — с другой.

Настоящий читатель почувствует всю горечь этого противоречия, еще сильнее полюбит прекрасное творчество Айседоры Дункан. И если после этого он задумается над тем, что же именно составляет жизнь замечательной танцовщицы, — это будет значить, что правдивая книга Айседоры Дункан оказалась полезной.

Д. Горбов[1]

А. Дункан
Танец будущего

Меня просили, чтобы я высказалась о танце будущего. Но как мне сделать это? Мне кажется, еще не пришло мое время; лет в 50 я, возможно, сумею сказать что-нибудь по этому вопросу. Кроме того, я не представляю себе, что могу я сказать о своем танце. Люди, симпатизирующие моей деятельности, верно, лучше меня самой понимают, чего я собственно хочу, к чему стремлюсь; а симпатизирующие ей, я уверена, знают лучше меня почему. Раз меня спросила одна дама, почему я танцую босая, я ей ответила: «Это потому, что я чувствую благоговение перед красотой человеческой ноги». Дама заметила, что она не испытала этого чувства. Я сказала: «Но, сударыня, необходимо почувствовать это, потому что форма и пластичность ноги человеческой — великая победа в истории развития человека». — «Я не верю в развитие человека», — возразила дама. «Я умолкаю, — сказала я, — все, что я могу сделать, это отослать вас к моим почтенным учителям Чарлзу Дарвину и Эрнсту Геккелю[2]». — «Да я, — сказала дама, — не верю ни Чарлзу Дарвину, ни Эрнсту Геккелю». Тут уж я не нашлась, что сказать ей на это. Вы видите, я совсем не умею убеждать людей, и лучше бы мне вовсе не говорить. Меня извлекли из одиночества моей рабочей комнаты во имя благотворительности, и вот я стою перед вами, робея и заикаясь, собираюсь сделать вам доклад о танце будущего.

Танец будущего, если обратиться к первоисточнику всякого танца, — в природе, это танец далекого прошлого, это танец, который всегда был и вечно останется неизменным. В неизменной вечной гармонии движутся волны, ветры и шар земной. И не идем же мы к морю, не вопрошаем у океана, как двигался он в прошлом, как будет он двигаться в будущем; мы чувствуем, что его движения соответствуют природе его вод, вечно соответствовали ей и вечно будут ей соответствовать.

Да и движения зверей, пока они на свободе, всегда — лишь необходимое следствие их существования и той связи, в которой стоит их жизнь к жизни земли. Зато, как только люди приручат зверя и с воли перенесут его в тесные рамки цивилизации, он теряет способность двигаться в полной гармонии с великой природой, и движения его становятся неестественны и некрасивы.

Движения дикаря, жившего на свободе в теснейшей связи с природой, были непосредственны, естественны и прекрасны. Только нагое тело может быть естественно в своих движениях. И,

достигнув вершины цивилизации, человек вернется к наготе; но это уже не будет бессознательная невольная нагота дикаря. Нет, это будет сознательная добровольная нагота зрелого человека, тело которого будет гармоническим выражением его духовного существа. Движения этого человека будут естественны и прекрасны, как движения дикаря, как движения вольного зверя.

Когда движение Вселенной сосредоточивается в индивидуальном теле, оно проявляется как воля. Например, движение Земли как средоточие окружающих ее сил является ее волей. И земные существа, которые в свою очередь испытывают и концентрируют в себе влияние этих сил, воплощенное и переданное по наследству их предками и обусловленное их отношением к земле, развивают в себе свое индивидуальное движение, которое мы называем их волей.

И истинный танец именно и должен бы быть этим естественным тяготением воли индивидуума, которая сама по себе не более и не менее как тяготение Вселенной, перенесенное на личность человека.

Вы, конечно, заметили, что я держусь взглядов Шопенгауэра и говорю его выражениями; его словами я действительно лучше всего могу выразить то, что хотела сказать.

Движения, которым учит школа балета наших дней, движения, которые тщетно борются с естественными законами тяготения, с естественной волей индивидуума и состоят в глубоком противоречии как с движениями, так и с формами, созданными природой, — эти движения по существу своему бесплодны, то есть не рождают с неизбежной необходимостью новых будущих форм, но умирают так же, как и произошли. Выражение, которое танец нашел себе в балете, где действия всегда внезапно обрываются и в самих себе находят свою смерть, где ни движение, ни поза, ни ритм не рождаются в причинной связи из предыдущего и в свою очередь неспособны дать импульс причинно-следственному действию, — есть выражение дегенерации всего живого. Все движения современной балетной школы — бесплодные движения, ибо они противоестественны, ибо они стремятся создать иллюзию, будто бы для них законы тяготения не существуют. Первоначальные, или основные, движения нового искусства танца должны нести в себе зародыш, из которого могли бы развиваться все последующие движения, а те в свою очередь рождали бы в бесконечном совершенствовании все высшие и высшие формы, выражение высших идей и мотивов.

Тем же, кто все еще черпает удовольствие в движениях современной балетной школы, тем, кто еще уверен, что современный балет может быть оправдан какими-либо

историческими, хореографическими или иными мотивами, тем я скажу, что они не способны видеть дальше балетной юбочки и трико. Если бы взор их мог проникнуть глубже, они бы увидели, что под юбочками и трико движутся противоестественно обезображенные мышцы; а если мы заглянем еще глубже, то под мышцами мы увидим такие же обезображенные кости: уродливое тело и искривленный скелет пляшет перед нами! Их изуродовало неестественное платье и неестественные движения — результат учения и воспитания, а для современного балета это неизбежно. Ведь он на том и зиждется, что обезображивает от природы красивое тело женщины! Никакие исторические, хореографические и прочие основания не могут оправдать этого. Далее, задача всякого искусства — служить выражением высших и лучших идеалов человека. Скажите, какие же идеалы выражает балет?

Некогда танец был самым благородным искусством, Он снова должен стать таковым. Он должен всплыть со дна, на которое опустился. Танцовщица будущего подымется на такую высоту совершенства, что станет путеводной звездой для других искусств. Художественно изобразить то, что более всего здорово, прекрасно и нравственно, — вот миссия танцовщицы, и этой миссии я посвящу свою жизнь.

Мои цветы мне тоже навевают мечту о новом танце. Я назвала бы его: «Свет, льющийся на белые цветы». Этот танец чутко передал бы свет и белизну цветов Передал бы так чисто, так сильно, что люди, увидевшие его, сказали бы: «Вот движется перед нами душа, увидевшая свет, душа, почувствовавшая белизну белого цвета». «Благодаря ее ясновидению мы исполняемся радостью движения легких веселых существ». «Через ее ясновидение и в нас вливается ласковое движение всей природы, воссозданное танцовщицей». «Мы чувствуем, в нас сливаются колебания света с представлением сверкающей белизны». «Этот танец должен стать молитвой! Каждое его движение должно возносить свое колебание до самого неба и становиться частью вечного ритма Вселенной».

Найти для человеческого тела те простые движения, из которых в вечно меняющейся, бесконечной и естественной последовательности разовьются все движения будущего танца, — вот задача балетной шкоты наших дней. Чтобы это понять, посмотрите на Гермеса греков или как его изображают итальянцы раннего Возрождения. Он представлен лежащим на ветре. Если бы художнику захотелось придать его стопе вертикальное положение, он был бы совершенно прав: ведь бог, лежащий на ветре, не касается земли. Но в мудром знании, что ни одно

движение не будет правдивым, если оно не вызывает в нас представления о следующих за ним движениях, скульптор представил Гермеса так, что стопа его как будто покоится на ветрах, и этим он вызывает у зрителя впечатление вечно сущих движений. Всякую позу, всякое выражение я могла бы взять для примера. Среди тысяч фигур, изображенных на греческих вазах и скульптурах, вы не найдете ни одной, движение которой не вызывало бы неизбежно следующего. Греки были необыкновенными наблюдателями природы, в которой все выражает бесконечное, все нарастающее развитие — развитие, не имеющее ни конца, ни остановок. Такие движения всегда будут зависеть от порождающего их тела и должны будут вполне ему соответствовать. Движения жука естественно соответствуют его облику, движения лошади соответствуют ее сложению; совершенно так же движения человеческого тела должны соответствовать своей форме. И даже больше того, они должны соответствовать его индивидуальному облику: танец двух лиц ни в коем случае не должен быть тождественным.

Принято думать, что танец должен быть только ритмичен, а фигура и сложение танцора не имеют никакого значения; но это неверно: одно должно вполне соответствовать другому. Греки глубоко чувствовали это. Возьмем хотя бы танец Эроса. Это танец ребенка. Движения его маленьких толстеньких ручонок вполне отвечают своей форме. Подошва одной ноги спокойно опирается на основание — поза, которая была бы некрасива в развитом теле: такое движение было бы неестественным и вынужденным. Танец сатира на следующем рисунке носит совершенно иной характер. Его движения — движения зрелого и мускулистого мужчины, они удивительно гармонируют с его телосложением.

Во всех своих картинах и скульптурах, в архитектуре и поэзии, в танце и трагедии греки заимствовали свои движения из движений природы. Ясней всего это видно в их изображениях богов: греческие боги — олицетворение сил природы; как олицетворение сил природы они всегда изображены в положении, которое выражает концентрацию проявления этих сил. Вот почему греческое искусство не осталось только национальным и характерным — оно было и вечно будет искусством всего человечества.

Вот почему, когда я танцую босая по земле, я принимаю греческие позы, так как греческие позы как раз и являются естественными положениями на нашей планете. Во всяком искусстве нагое есть самое прекрасное. Эта истина общеизвестна. Художник, скульптор, поэт — все руководствуются ею, только танцор забыл о ней. Тогда как именно он и должен бы лучше

других помнить ее: ведь материал его искусства — само человеческое тело.

В созерцании человеческого тела и симметрии его форм человек почерпнул первое понятие красоты. И новую школу танца должны составить те движения, которые стоят в теснейшей гармонии с совершенной формой человеческого тела и которые сами должны развивать и совершенствовать тело человека.

Ради этого будущего танца я и намерена работать. Хотя не знаю, обладаю ли я нужными для того качествами. Может быть, у меня нет не только гениальности, но и таланта, и темперамента; зато я знаю: у меня есть одно — воля. Энергия и воля подчас могущественней гениальности, таланта и темперамента.

Позвольте мне заранее отпарировать все, что может быть сказано о моей неспособности выполнить свою задачу, следующей басенкой.

Боги смотрели сквозь стеклянную крышу моего ателье, и Афина сказала: «Она не умна, она вовсе не умна, напротив, она необыкновенно глупа».

И Деметра взглянула на меня и сказала: «Да ведь она истощена, эта малютка! Она не похожа на моих высокогрудых дочерей, играющих в Елевсийских полях. Ведь у нее можно все ребра пересчитать; нет, не достойна она танцевать на моей просторнодорожной земле».

Ирида взглянула и сказала: «Посмотрите-ка, как неуклюже она движется, она и понятия не имеет о быстрой, прелестной пляске крылатых существ».

Пан посмотрел и сказал: «Что? Может быть, она воображает, что поняла движения моих сатиров, моих великолепных двурогих ребят, от которых веет всей громадной жизнью лесов и вод!»

И еще Терпсихора, окинув презрительным взглядом, проронила: «Это она называет танцем, ведь ее ноги движутся ленивыми шагами кривоногой черепахи!»

Боги рассмеялись.

Я же смело смотрела вверх сквозь стеклянную крышу и сказала: «О бессмертные боги, живущие на Олимпе и питающиеся амброзией и медовыми пряниками, вам не нужно платить за квартиру и по счетам из булочной, не осуждайте меня так презрительно! Правда, о Афина, я не мудра, и голова моя довольно-таки запутанная штука, но при случае я читаю слова тех, кто заглядывал в бесконечную синеву твоих глаз, и я смиренно склоняю свою пустую голову перед алтарями! О Деметра со священным венком, правда, что прекрасные женщины твоей широкодорожной земли не приняли бы меня в свое число, но посмотри, я сбросила свои сандалии, чтобы ноги мои с

благоговением прикасались к твоей животворной почве, и я пела твои священные песни пред варварами наших дней, и мне удалось заставить их внимать им и почувствовать их красоту. И ты, о златокрылая Ирида! Правда, тяжелы мои движенья, но другие девы моего призвания еще больше погрешили против вечных законов тяжести, от которых лишь ты, прекрасная, свободна. Но и моей скромной земной души коснулось веяние твоих крыльев, и часто возносила я молитвы к твоему ободряющему изображению. И ты, о Пан, ты, который сжалился и приласкал бедную Психею в ее скитаниях, не думай так плохо о моих робких попытках танцевать в тени твоих лесов. И ты, о необыкновенная Терпсихора, пошли мне немного утешения и силы, чтобы всю жизнь я могла возвещать твое могущество на земле, и после в тенистом Аде моя душа пусть тоже танцует лучшие танцы в честь тебя».

И вот сам Зевес сказал: «Продолжай и надейся на справедливость бессмертных богов. Если хорошо исполнишь свое дело, они узнают об этом, и это будет приятно богам».

Вот в таком направлении я и намерена работать, и если бы я в своих танцах могла бы найти хоть немного, хотя бы одну только позу, которую скульптор мог бы перенести на мрамор так, чтобы она сохранилась и обогатила бы его искусство, то мои труды не были бы напрасны. Эта единственная форма уже была бы победой, была бы первым шагом к будущему. Со временем я намерена создать театр, открыть школу, в которой 100 маленьких девочек изучали бы мое искусство и впоследствии самостоятельно совершенствовались. В моей школе я не буду учить детей рабски подражать моим движениям. Я научу их собственным движениям. Вообще я не стану принуждать их заучивать определенные формы, напротив, я буду стремиться развить в них те движения, которые свойственны им. Кто постоянно видел движения совсем маленького ребенка, не станет отрицать, что они прекрасны. Они прекрасны именно потому, что естественно соответствуют ребенку.

Но движения человеческого тела могут быть красивы на всякой ступени его развития, лишь бы они сохраняли гармонию с определенной ступенью зрелости. Всегда должно существовать движение, в совершенстве выражающее данное индивидуальное тело, данную индивидуальную душу. Потому мы не имеем права требовать от них движений, не свойственных им, но принадлежащих какой-нибудь школе. Всякий интеллигентный ребенок должен удивляться, что в балетной школе его учат движениям, резко противоречащим тем, которые он бы делал из собственных побуждений.

Все это можно счесть за неважный вопрос, вопрос о различии взглядов на балет и на новый танец. На самом же деле проблема эта гораздо важнее. Дело не только в том, что есть истинное и неистинное искусство, — нет, это вопрос, касающийся будущности целой расы. Я говорю о развитии женского тела в красоте и здоровье, о возврате к первобытной силе и естественным движениям. Я говорю о развитии совершенных матерей и о рождении здоровых детей. Будущая школа танца должна будет развить идеальный женский стан. Равным образом она должна стать музеем красоты своей эпохи.

Путешественник, посетивший какую-нибудь страну и увидевший ее танцовщиц, найдет в них то идеальное представление о красоте форм и движений, которое сложилось в данной стране. Иностранец, попавший в наше время в какую-нибудь страну земного шара, составит по ее балету весьма странное представление об идеале красоты этой страны. Более того, танец, как всякое искусство, должен опережать кульминационный пункт в развитии человеческого духа своей эпохи. Может ли кто подумать, что наш балет отражает в себе высший цвет современной культуры? Почему позы, которые в нем приняты, стоят в таком противоречии с идеальными положениями античных скульптур, которые хранятся в наших музеях и на которые нам все-таки указывают как на совершеннейшие творения идеальной красоты? Или, быть может, наши музеи созданы исключительно в исторических и археологических целях, а не потому, что предметы, хранящиеся в них, красивы?

Идеал красоты человеческого тела не может меняться сообразно моде, он может лишь следовать за развитием. Вспомните рассказ о прекрасной скульптуре молодой римлянки, которая была найдена при папе Иннокентии VIII и своей красотой произвела такую сенсацию, что люди буквально ломились посмотреть на нее, предпринимали далекие путешествия, как к святой реликвии, так что папа, обеспокоенный этим возбуждением, велел ее снова зарыть. Здесь я хочу разъяснить одно относящееся сюда недоразумение. Из всего сказанного мною, вероятно, можно заключить, что цель моя — вернуться к древнегреческим танцам и будто я думаю, что танец будущего будет возрождением танцев древних греков или даже танцев диких племен. Нет, танец будущего будет совершенно новым движением, он будет плодом всего того развития, которое человечество имеет за собой. Возвратиться к греческим танцам так же невозможно, как и бесполезно: мы не греки и не можем танцевать, как они. Но будущий танец действительно станет

высокорелигиозным искусством, каким он был у греков. Ибо искусство без религиозного благоговения — не искусство, а рыночный товар. Танцовщица будущего будет женщиной, тело и душа которой разовьются в такой гармонии, что движения тела станут естественным проявлением ее души.

Танцовщица будет принадлежать не одной нации, а всему человечеству. Она не будет стремиться изображать русалок, фей и кокетливых женщин, но будет танцевать женщину в ее высших и чистейших проявлениях. Она олицетворит миссию женского тела и святость всех его частей. Она выразит в танце изменчивую жизнь природы и покажет переходы ее элементов друг в друга. Из всех частей тела будет сиять ее душа и будет вещать о чаяниях и мыслях тысяч женщин. Она выразит в своем танце свободу женщины. Какие необъятные горизонты открываются перед ней! Разве вы не чувствуете? Она близится, она уже идет, эта танцовщица будущего. Она принесет женщинам новое понятие о возможной красоте и силе их тел. Она введет их в тайники связей их телесных сил с силами земли и подготовит их к детям будущего. Она исполнит танец жизни, который снова всплывет из глубин тысячелетнего цивилизованного забвения не в наготе первобытного человека, но в обновленной наготе — в наготе, которая уже не будет стоять в противоречии с его духом, а сольется с ним навеки в величественной гармонии.

Вот миссия грядущей танцовщицы! Разве вы не чувствуете, что она уже близка; разве вы не тоскуете по ней, как я? Подготовим же ей путь. Я бы создала храм, который бы ждал ее. Может быть, она еще не родилась, может быть, она ребенок, и может быть — о счастье! — моей святой задачей станет направлять ее первые шаги и наблюдать день за днем развитие ее движений, пока она не превзойдет своего скромного учителя! Ее движения будут подобны движениям природы: они отразят колебания волн и стремление ветров, рост живых существ и полет птиц, плывущие облака и, наконец, мысли человека, мысли его о Вселенной, в которой он живет. Да, она придет, будущая танцовщица. Она придет в образе свободного духа свободной женщины будущего. Великолепием своим она затмит всех женщин, которые когда-либо существовали, она будет прекраснее египтянок, гречанок, итальянок — всех женщин прошедших столетий! Ее знак — возвышеннейший дух в безгранично свободном теле!

1906

А. Дункан
Моя жизнь

Глава первая

Мои первые воспоминания связаны с пожаром. Я помню, как меня выбросили из верхнего окна в объятия полисмена. Мне, должно быть, было около двух или трех лет, но я отчетливо помню успокоительное ощущение — среди всеобщего возбуждения, визга и пламени — надежности полисмена, шею которого я обвила ручонками. Я слышу безумный крик моей матери: «Мои мальчики, мои мальчики!» — и вижу, как толпа удерживает ее, не пуская броситься в здание, в котором, как думала мать, остались двое моих братьев. Затем у меня в памяти сохраняется то, что мальчиков находят сидящими на полу в каком-то баре, надевающими носки и ботинки, далее внутренность кареты и, наконец, то, что я сижу на прилавке и пью горячий шоколад.

Я родилась у моря, и примечательно, что в дальнейшем все крупные события моей жизни происходили у моря. Мое первое понятие о движении, о танце, несомненно, вызвано ритмом волн.

Я должна быть признательна тому, что в течение всей нашей молодости мать оставалась бедной. Она не была в состоянии содержать прислугу и гувернанток для детей, и именно этому обстоятельству я обязана своей непосредственностью, которую мне не мешали выражать в детстве и которую я никогда не утрачивала. Моя мать была музыкантшей и обучала музыке ради заработка. Давая уроки на квартирах у своих учеников, она не бывала дома целый день и значительную часть вечеров. И потому, когда мне удавалось убежать из школьной темницы, я была свободна, могла блуждать одна у моря и предаваться собственным фантазиям. Меня никогда не подвергали постоянным окрикам: «нельзя», превращающим детскую жизнь в напасть.

Я поступила в общественную школу рано, в возрасте пяти лет. Думаю, что моя мать дала неверные сведения о моем возрасте. Ей было необходимо найти какое-либо место, где меня можно было бы оставлять. Я думаю, что в детстве ясно проявляется все то, что каждому предстоит делать далее в жизни. Я всегда была танцовщицей, никогда не мирилась с каноном и с обычаем. Моя мать, крещенная и выросшая в ирландской католической семье, оставалась набожной католичкой вплоть до того времени, когда она обнаружила, что мой отец не был тем образцом совершенства, каким она его себе всегда представляла. Она развелась с ним и, оставшись с четырьмя детьми, встретилась лицом к лицу с миром. С этого времени она отреклась от своей

веры в католическую религию, стала законченной атеисткой, последовательницей Боба Ингерсолля[3], чьи произведения обычно нам читала.

Между прочим, она считала, что всякая сентиментальность является нелепостью, и, когда я была еще ребенком, открыла нам тайну святого Клауса. Это привело к тому, что, когда на школьном рождественском празднике учительница, раздавая конфеты и пирожные, сказала: «Поглядите, дети, что вам принес святой Клаус», я встала и торжественно ответила:

— Я вам не верю, никакого святого Клауса нет.

Учительница была очень расстроена.

— Конфеты предназначаются только тем девочкам, которые верят в святого Клауса, — сказала она.

— Тогда я не хочу ваших конфет, — ответила я.

Учительница неблагоразумно потеряла терпение и в назидание другим велела мне выйти вперед и сесть на пол. Я вышла и, повернувшись к классу, произнесла первую из своих знаменитых речей.

— Я не верю вракам! — воскликнула я. — Моя мать сказала мне, что она слишком бедна, чтобы быть святым Клаусом. Это только богатые могут притворяться святым Клаусом и делать подарки.

Тут учительница схватила меня и попыталась силой усадить на пол, но я, напрягая ноги, не далась. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол; но даже стоя там, я повернула голову через плечо и воскликнула: «Никакого святого Клауса нет, никакого святого Клауса нет», — пока, наконец, она не оказалась вынужденной отослать меня домой. Я пошла домой, твердя всю дорогу: «Никакого святого Клауса нет». Я так никогда и не избавилась от ощущения несправедливости, которую учительница учинила надо мной, лишив конфет и наказав за то, что я говорила правду.

— Разве я неправа? — спросила я мать, рассказывая о случившемся. — Ведь никакого святого Клауса нет?

Она ответила: — Никакого святого Клауса нет, и нет бога. Лишь твой собственный разум может помочь тебе. — И вечером, когда я села на ковер у ее ног, она читала нам лекции Боба Ингерсолля.

Мне кажется, что общее образование, получаемое ребенком в школе, является абсолютно бесполезным. Я помню, что в классе меня считали либо изумительно понятливой и идущей впереди всего класса, либо бестолковой и отставшей от него. Все зависело от уловок памяти и оттого, позаботилась ли я запечатлеть в памяти заданный нам урок.

Настоящее воспитание я получала в течение тех вечеров, когда мать играла нам Бетховена, Шумана, Шуберта, Моцарта, Шопена и читала вслух Шекспира, Китса или Бернса. Эти часы очаровывали нас. Моя мать знала большинство стихов наизусть, и я, подражая ей, однажды, когда мне было шесть лет, на школьном празднике наэлектризовала своих слушателей чтением стихотворения Вильяма Литля «Обращение Антония к Клеопатре».

Я умираю, Египет, я умираю.
Быстро спадают алые волны жизни.

В другой раз, когда учительница потребовала, чтобы каждый из учеников написал историю своей жизни, моя история была изложена приблизительно в таком виде:

«Когда мне было пять лет, у нас был коттедж на Двадцать Третьей улице. Так как мы были не в состоянии платить квартирную плату, то не могли в нем остаться и переехали на Семнадцатую улицу, а вскоре, когда у нас не стало денег, домовладелец отказал нам, и мы переехали на Двадцать Вторую улицу, где нам не дали жить мирно, а заставили переехать на Десятую улицу». Рассказ продолжался в этом роде с несметным множеством переездов. Когда я встала, чтобы прочесть его классу, учительница очень рассердилась. Она решила, что я разыгрываю скверную шутку, и отправила меня к начальнице, которая послала за моей матерью. Прочтя рукопись, моя бедная мать разразилась слезами и поклялась, что это чистейшая правда. Таково было наше кочевое существование.

Я надеюсь, что школы переменились с тех пор, как я была маленькой девочкой. По моим воспоминаниям, преподавание в общественных школах отличалось полным непониманием детей. Я также вспоминаю страдания от необходимости смирно сидеть на жесткой скамье с пустым желудком, с холодными ногами в промокших ботинках. Учительница казалась мне бесчеловечным чудовищем, созданным, чтобы мучить нас. И об этих мучениях дети никогда не расскажут.

Я решительно не помню, чтобы мы страдали от нашей бедности: мы воспринимали ее как нечто естественнее. Страдала я только в школе. Для гордого и чувствительного ребенка система общественной школы, какой я ее помню, являлась такой же уничижительной, как исправительный дом. Я всегда восставала против нее.

Однажды, когда мне было около шести лет, мать, вернувшись домой, обнаружила, что я собрала полдюжины ребят — соседей,

рассадила их перед собой на полу и принялась учить их плавно размахивать руками. Когда она потребовала от меня объяснения, я сообщила, что это моя школа танца. Ей это показалось забавным, и, сев за пианино, она начала играть для меня.

Школа продолжала свои занятия и стала очень популярной. Некоторое время спустя в нее поступили маленькие девочки, жившие по соседству, а родители их платили мне за учение небольшую сумму. Так было положено начало тому, что впоследствии оказалось очень доходным занятием.

Когда мне исполнилось десять лет, классы настолько разрослись, что я заявила матери о бесполезности дальше ходить в школу, поскольку это лишь напрасная трата времени, в которое я могу зарабатывать, что гораздо важнее. Я зачесала волосы на макушку и говорила всем, что мне шестнадцать лет. Так как я была очень высокой для своего возраста, мне верили. Моя сестра Элизабет, которую воспитывала бабушка, позднее переехала жить к нам и стала мне помогать в работе. Наши классы приобрели известность, и мы стали давать уроки в домах состоятельных жителей Сан-Франциско.

Глава вторая

Моя мать развелась с отцом, когда я была грудным ребенком, и я никогда не видала его. Как-то, когда я спросила одну из своих теток, был ли у меня когда-нибудь отец, она ответила:

— Твой отец был дьяволом, разрушившим жизнь твоей матери.

После этого я всегда представляла его себе дьяволом из книги с картинками, с рогами и хвостом, и, когда остальные дети в школе говорили о своих отцах, я хранила молчание.

Когда мне было семь лет, мы проживали в двух совершенно необставленных комнатах на третьем этаже. Однажды я услыхала звонок у входных дверей и, выйдя в переднюю, чтобы открыть дверь, увидала очень благообразного господина в высокой шляпе, который спросил:

— Не можете ли вы мне указать, как пройти в квартиру м-с Дункан?

— Я дочь м-с Дункан, — ответила я.

— Так ты моя Принцесса Мартышка? — сказал незнакомец. (Так называл меня отец, когда я была маленьким ребенком.)

И внезапно, подняв меня на руки, покрыл слезами и поцелуями. Я была крайне изумлена его поведением и спросила, кто он такой. Со слезами он ответил:

— Я твой отец.

Я пришла в восторг от этой замечательной вести и бросилась в комнату, чтобы сообщить ее всей семье.

— Тут пришел человек, который говорит, что он — мой отец.

Мать встала, очень бледная и взволнованная, и, пройдя в следующую комнату, заперла за собой дверь. Один из моих братьев спрятался под кровать, а другой укрылся за буфетом, между тем как с сестрой приключился жестокий припадок истерики.

— Скажи ему, чтобы он ушел, скажи ему, чтобы он ушел, — кричала она.

Я сильно удивилась, но, будучи очень вежливой девочкой, вышла в переднюю и сказала:

— Все нездоровы и не могут вас сегодня принять.

Тогда незнакомец взял меня за руку и попросил пойти с ним погулять.

Мы спустились по лестнице на улицу. Я бежала рысцой возле него в растерянности и восхищении от мысли, что этот красивый господин — мой отец и что у него нет рогов и хвоста, каким я себе всегда его рисовала.

Он привел меня в кондитерскую и до отвала накормил мороженым и пирожными. Вернувшись домой в состоянии неистовейшего возбуждения, я застала всю семью ужасно подавленной.

— Он прелестный человек и придет завтра, чтобы угостить меня еще раз мороженым, — сообщила я.

Но все отказались встретиться с ним, и вскоре он вернулся к своей второй семье в Лос-Анджелес.

После этого я не видала отца в течение нескольких лет, пока он опять внезапно не появился. На этот раз мать достаточно смягчилась, чтобы встретиться с ним. Отец подарил нам красивый дом, с большими танцевальными залами, теннисной площадкой, гумном и ветряной мельницей. Мы были обязаны этим тому, что он в четвертый раз нажил состояние. В своей жизни отец трижды наживал состояние и целиком терял его. Четвертое состояние также иссякло с течением времени, и вместе с ним исчез наш дом и все остальное. Но несколько лет мы все же прожили в нем, он был для нас тихой пристанью между двумя бурными путешествиями.

Я рассказываю кое-какие факты из истории моего отца, потому что эти ранние впечатления оказали роковое воздействие на мою последующую жизнь. С одной стороны, я читала и перечитывала сентиментальные романы, с другой — перед моими глазами был практический пример брака. Все мое детство, казалось, прошло под мрачной тенью этого таинственного отца, о котором никто не заговаривал, и ужасное слово «развод» запечатлелось на чувствительной поверхности моего разума. Не имея возможности ни у кого спросить объяснения этих вопросов, я пыталась разрешить их сама. Большинство прочитанных мной романов кончались браком и блаженным благополучием, о котором не стоило больше писать. Но в некоторых из этих книг, особенно в романе Джорджа Элиота[4] «Адам Бид» была показана девушка, которая не вышла замуж, и ребенок, появившийся вопреки ее желанию, приносит ей ужасное бесчестие. На меня произвела глубокое впечатление несправедливость такого положения вещей для женщин, и, сопоставив роман с историей моих родителей, я решила раз и навсегда, что буду бороться против брака, за освобождение женщины, за право каждой женщины иметь ребенка или несколько детей, когда ей этого захочется. Может показаться странным, что маленькая двенадцатилетняя девочка решает такие проблемы, но обстоятельства моей жизни сделали меня не по летам развитым ребенком. Я изучила законы о браке и пришла в негодование, узнав о рабском положении женщины. Я принялась пытливо

вглядываться в лица замужних женщин, подруг моей матери, и заметила, что на каждом виднелись печать зеленоглазого чудовища ревности и клеймо рабыни. Я дала обет на всю жизнь, что никогда не опущусь до этого унизительного состояния. Я всегда хранила этот обет, даже когда он стоил мне отчуждения матери и превратного понимания всего света. Одним из прекрасных достижений Советского правительства является демократизация брака. Двое людей расписываются в книге, а под подписью напечатано: «Эта подпись не возлагает никакой ответственности ни на одну из сторон и может быть аннулирована по желанию каждой из них». Такой брак является единственным соглашением, на которое может пойти всякая свободолюбивая женщина, и единственной формой брака, под которой я поставила бы свою подпись.

В настоящее время, полагаю, мои идеи более или менее присущи каждой женщине со свободным разумом, но двадцать лет назад мой отказ выйти замуж и борьба за право женщины рожать детей вне брака, продемонстрированные на личном примере, вызвали значительные недоразумения.

* * *

Благодаря моей матери вся наша жизнь в детстве была проникнута музыкой и поэзией. По вечерам она усаживалась за пианино и играла часами, забывая обо всем окружающем. Одна из ее сестер, наша тетка Августа, также была замечательно талантлива. Она была очень красива, с черными глазами и черными, как уголь, волосами. У нее был прекрасный голос, и она могла бы сделать блестящую карьеру певицы, если бы ее родители не считали, что все, что относится к театру, связано с дьяволом. Теперь я понимаю: вся ее жизнь была погублена тем, что в наши дни трудно объяснимо, — пуританским духом Америки.

Я полагаю, нашей ирландской крови мы обязаны тем, что детьми всегда восставали против тирании пуританизма.

Одним из первых последствий нашего переезда в большой дом, подаренный отцом, было открытие театра на гумне моим братом Августином. Я помню, как он вырезал кусок из мехового ковра в гостиной, чтобы использовать его в качестве бороды для роли Рипа Ван Винкля[5], которую он исполнил настолько реалистически, что я разразилась слезами.

Театрик разросся и стал знаменитым в окрестности. Позднее это натолкнуло на мысль проделать турне по побережью. Я

танцевала, Августин декламировал стихи, а затем мы исполняли комедию, в которой принимали также участие Элизабет и Раймонд. Хотя мне было тогда всего двенадцать лет, а остальные еще не вышли из второго десятка, наши турне вдоль побережья — в Санта-Кларе, Санта-Розе, Санта-Барбаре — прошли с большим успехом.

Доминантой моего детства был постоянный протест против узости общества, в котором мы жили, против ограниченности жизни и все растущее желание убежать на восток (имеется в виду Нью-Йорк и Чикаго, находящиеся по отношению к Сан-Франциско на востоке. — Ред.), к тому, что мне представлялось более широким и свободным. Как часто я внушала это своим близким, всегда заканчивая словами: «Мы должны покинуть эти места, мы никогда здесь ничего не добьемся».

* * *

Из всей семьи я была самой отважной, и, когда в доме совершенно нечего было есть, я добровольно вызывалась идти к мяснику и хитростью убедить его отпустить в долг бараньи котлеты. Обольщать булочника, чтобы он продлил нам кредит, посылали тоже только меня. Это было очень полезной школой, научившись ублажать свирепых мясников, я приобрела технику, которая дала мне возможность впоследствии вступать в единоборство со свирепыми директорами.

Помню, как однажды, когда я была еще ребенком, я застала мать плачущей над несколькими вещицами, которые она связала для продажи в магазин, где их отказались принять. Я отняла у нее корзину и, надев на голову одну из вязаных шапок, а на руки пару вязаных перчаток, отправилась по квартирам продавать вещи. Я распродала все и принесла домой вдвое больше денег, чем мать получила бы из магазина.

Тем временем слава о нас как об учительницах росла. Мы называли наше преподавание новой системой танца, но в действительности в нем не было никакой системы. Я следовала своей фантазии и импровизировала, обучая всему, что приходило мне в голову. Один из моих первых танцев был посвящен стихотворению Лонгфелло «Я пустил стрелу в воздух»[6]. Я декламировала стихотворение и учила детей следовать его смыслу жестами и движением. По вечерам мать играла нам, а я сочиняла танцы. Одна милая старая дама, наш друг, очень часто приходившая, чтобы провести с нами вечер, в свое время жила в Вене. Она говорила, что я напоминаю ей Фанни Эльслер[7], и

рассказывала о ее триумфах.

— Айседора будет второй Фанни Эльслер, — говорила она, и это поощряло мои честолюбивые мечты. Она велела моей матери определить меня к знаменитому в Сан-Франциско балетному преподавателю. Но его уроки мне не понравились. Когда преподаватель велел мне стать на пальцы ног, я спросила его, к чему это. После его ответа «это красиво» я заявила, что это безобразно и противно природе, а после третьего урока я покинула его класс, чтобы никогда туда не возвращаться. Чопорная и пошлая гимнастика, которую он называл танцем, лишь сужала мою мечту. Я мечтала об ином танце. Я не знала точно, каким он будет, но стремилась к неведомому миру, в который, я предчувствовала, смогу попасть, если найду к нему ключ. Мое искусство уже жило во мне, когда я была еще маленькой девочкой, и тем, что оно не заглохло, оно обязано героическому и предприимчивому духу моей матери.

У нее было четверо детей. Может быть, системой принуждения и воспитания ей удалось бы превратить нас в практичных граждан; иногда она сетовала:

— Отчего все четверо должны быть артистами и ни один — практическим человеком?

Но именно ее собственный прекрасный и беспокойный дух сделал нас артистами. Совершенно не заботясь о материальных вопросах, мать научила нас великолепному презрению и пренебрежению к обладанию домами, мебелью, всякой утварью. Благодаря ее примеру я никогда в жизни не носила ни одной драгоценности. Она внушила нам, что все эти вещи оказываются путами.

Покинув школу, я стала страстным чтецом. В Окленде, где мы тогда жили, имелась публичная библиотека. Библиотекаршей была чудесная красивая женщина, поэтесса из Калифорнии Инна Кульфбрите. Она поощряла мое чтение и всегда казалась довольной, когда я просила хорошие книги. У нее были очень красивые глаза, пылавшие огнем и страстью. Впоследствии я узнала, что мой отец был в нее очень влюблен. Она, очевидно, была в его жизни сильным увлечением.

К этому времени я прочла все произведения Диккенса, Теккерея, Шекспира, а кроме того, тысячи романов, хороших и скверных, вдохновенные книги и пустяки. Я поглощала все. Обычно бодрствовала ночью, читая до рассвета при свете свечных огарков, собранных мною в течение дня. Я также принялась писать роман и в то же время издавала газету, которую писала всю сама, — передовицы, хронику и короткие рассказы. Впридачу я вела дневник, для которого изобрела секретный язык — в это

время у меня появилась великая тайна. Я была влюблена.

Кроме детских классов, мы с сестрой приняли нескольких учеников постарше, которым она преподавала то, что тогда называли «светскими танцами»: вальс, мазурку, польку и так далее. Между этими учениками было двое молодых людей. Один был доктор, а второй — химик. Химик был изумительно красив и носил восхитительное имя — Вернон. Мне было тогда одиннадцать лет, но, зачесывая волосы назад и нося длинные платья, я выглядела старше. Тогда я записала в свой дневник, что безумно, страстно влюблена, и полагаю, что со мной это действительно было. Чувствовал это Вернон или нет, я не знаю. В том возрасте я была слишком стыдлива, чтобы открыть свое увлечение. Мы ходили на балы и танцы, где он почти каждый танец танцевал со мной, а затем я бодрствовала до раннего утра, рассказывая своему дневнику об ужасающей дрожи, которую я испытала, «носясь» — как я это излагала — «в его объятиях». В течение дня он работал в аптекарском складе на главной улице, и я исхаживала целые мили, чтобы лишний раз пройти мимо него. Иногда я набиралась достаточно храбрости, входила и спрашивала: «Как вы поживаете?» Я разыскала также дом, в котором он жил, и убегала вечером посмотреть на свет в его окне. Это увлечение продолжалось два года, я считала, что страдаю очень сильно. К концу двух лет он объявил о своей предстоящей женитьбе на одной молодой девушке из Оклендского общества. Я излила свое мучительное отчаяние на страницы дневника. Помню день свадьбы и свои чувства, когда увидала, как Вернон спускается из церковного придела с некрасивой девушкой под белым покрывалом. После этого я больше не видела его.

Когда я недавно в последний раз танцевала в Сан-Франциско, в мою уборную вошел какой-то мужчина с белоснежными волосами, но кажущийся совершенно молодым и чрезвычайно красивым. Я узнала его сразу. Это был Вернон. Я решила, что после всех минувших лет я могу рассказать ему об увлечении своей молодости, надеясь, что это его позабавит. Однако он очень испугался и заговорил о своей жене, неинтересной девушке, которая, оказывается, еще была жива и любовь к которой у него никогда не прекращалась. Как бесхитростно может протекать жизнь некоторых людей!

Такова была моя первая любовь. Я была безумно влюблена и полагаю, что с тех пор никогда не переставала быть безумно влюбленной.

Глава третья

Под влиянием прочитанных мною книг я задумала покинуть Сан-Франциско и уехать за границу. У меня было намерение уехать с какой-либо большой театральной труппой. Однажды я отправилась к директору странствующей труппы, которая в течение недели давала спектакли в Сан-Франциско, и попросила разрешения протанцевать перед ним. Испытание проходило утром на большой, темной, необставленной сцене. Моя мать аккомпанировала мне. Я танцевала в короткой белой тунике на мотивы «Песен без слов» Мендельсона.

Когда музыка замолкла, директор хранил молчание в течение нескольких минут, а затем, повернувшись к моей матери, сказал:

— Подобная вещь непригодна для театра. Она подходит скорее для церкви. Я советую вам отвести вашу девицу домой.

Разочарованная, но не переубежденная, я составила другие планы отъезда. Созвала всю семью и в часовой речи привела им все доводы, показывающие, что жизнь в Сан-Франциско невозможна. Мать была несколько ошеломлена, но готова следовать за мной повсюду, и мы вдвоем отправились первыми, взяв два билета до Чикаго. Сестра и двое братьев остались в Сан-Франциско, предполагая последовать за нами, когда мне улыбнется судьба.

Мы прибыли в Чикаго в жаркий июньский день, с небольшим сундуком, несколькими старинными драгоценностями моей бабушки и двадцатью пятью долларами. Я надеялась, что немедленно получу ангажемент и все пойдет гладко и просто. Но не так было на деле. Захватив с собой свою короткую греческую тунику, я обошла всех директоров, одного за другим танцуя перед ними. Однако их мнение всегда совпадало с мнением первого! «Это очень красиво, — говорили они, — но не для театра».

Протекали недели, и наши деньги иссякли. Заклад бабушкиных драгоценностей многого не принес. Неизбежное случилось. Мы не могли внести квартирной платы за комнату, все наши пожитки удержали, и мы очутились без гроша на улице.

У меня еще сохранился небольшой воротничок из настоящих кружев вокруг ворота моего платья, и весь день я ходила под палящим солнцем, стараясь продать этот кружевной воротничок. Наконец, под самый вечер, я достигла успеха. (Кажется, я продала его за десять долларов.) Это был очень красивый кусок ирландских кружев, и я выручила за него достаточную сумму, чтобы заплатить за комнату. На оставшиеся деньги я решила купить коробку томатов, и в течение недели мы питались этими

томатами, без хлеба и соли. Моя бедная мать настолько ослабела, что больше не могла вставать. Я каждое утро пускалась рано в путь, стараясь встретиться с директорами. Наконец я решила взяться за любую работу, какую смогу найти, и обратилась в бюро найма.

— Что вы умеете делать? — спросила женщина, сидевшая за конторкой.

— Все, что угодно, — ответила я.

— Ну, у вас такой вид, словно вы ничего не умеете делать.

В отчаянии я обратилась к директору сада на крыше Мэйсоник Темпля. С большой сигарой во рту и в шляпе, надвинутой на один глаз, он смотрел с высокомерным видом, как я танцую, носясь взад и вперед под звуки «Весенней песни» Мендельсона.

— Так, вы очень миловидны и грациозны, — сказал он. — И если бы вы все это изменили и танцевали что-нибудь побойчее, с перцем, я бы принял вас.

Я подумала о своей бедной матери, теряющей силы дома над остатками томатов, и спросила у него, что он считает «чем-нибудь с перцем».

— Ну, — сказал он, — не то, что вы танцуете. Что-нибудь с юбками, оборками и прыжками. Вы могли бы сначала исполнить греческую штуку, а затем сменить ее на оборки и прыжки, — получилась бы интересная перемена.

Но где мне было достать оборки? Я понимала, что просить взаймы или аванс было бесполезно, и, сказав лишь, что вернусь на следующий день с оборками, прыжками и перцем, ушла. Стоял жаркий день — обычная чикагская погода. Я бродила вдоль улицы, усталая и ослабевшая от голода, когда увидела впереди один из больших магазинов Маршалля Филда. Я вошла и попросила управляющего. Меня провели в контору, где я нашла молодого человека, сидящего за бюро. У него было любезное выражение лица, и я объяснила ему, что мне нужна к следующему утру юбка с оборками, и если он предоставит мне кредит, я легко расплачусь с ним из ангажемента. Не знаю, что побудило этого молодого человека удовлетворить мою просьбу, но он это сделал. Несколько лет спустя я встретила его уже как мультимиллионера — м-ра Гордона Селфриджа.

Я купила материал: белый и красный для юбок и кружевную оборку. И с узелком под мышкой пришла домой, где нашла мать почти при последнем издыхании. Но она, сидя в постели, все же сшила мне костюм, работала всю ночь и утром пришила последнюю оборку. Я вернулась с костюмом к директору сада на крыше. Оркестр был наготове для испытания.

— Какая вам нужна музыка? — спросил директор.

Я еще не обдумывала этого, но попросила «Вашингтонскую почту», мотив которой был в то время популярен. Музыка заиграла, и я сделала все, что было в моих силах, чтобы показать директору танец с перцем, импровизируя каждое движение. Он был просто очарован, вынул сигару изо рта и сказал:

— Прекрасно! Вы можете начать завтра вечером, а я выпущу специальный анонс.

Он обязался платить мне пятьдесят долларов за неделю и оказался достаточно любезным, дав их мне авансом.

Я имела в этом крытом саду большой успех, выступая под вымышленной фамилией. Все это внушало мне отвращение, и когда в конце недели директор предложил мне продолжить ангажемент либо даже совершить турне, я отказалась. Мы были спасены от голодной смерти, и я не желала дольше забавлять публику тем, что противоречило моим идеалам. Это был первый и последний раз, когда я так поступила.

Считаю, что это лето было одним из самых горестных эпизодов в моей жизни, и с тех пор каждый раз, когда я оказывалась в Чикаго, вид улиц вызывал во мне болезненное ощущение голода.

В течение всех этих ужасных испытаний моя мужественная мать ни разу не намекнула мне, что нам следовало бы вернуться домой.

Однажды кто-то дал мне рекомендательную карточку к некой журналистке по фамилии Амбер, которая была помощником редактора одной из больших чикагских газет. Я пошла на встречу с нею. Это была высокая, сухощавая женщина, приблизительно пятидесяти пяти лет, с рыжими волосами. Я изложила ей свои идеи о танце. Выслушав меня очень любезно, она пригласила прийти вместе с матерью в «Богему», где, по ее словам, можно встретиться с артистами и литераторами.

Мы пошли в клуб в тот же вечер. Он находился на самом верху высокого здания и состоял из нескольких неукрашенных комнат, уставленных столами и стульями и переполненных самыми необычайными людьми, каких я когда-либо встречала. Среди них была Амбер, выкрикивающая голосом, похожим на мужской:

— Собирайтесь, добрые богемцы! Собирайтесь, добрые богемцы!

И всякий раз, когда она призывала богемцев к сбору, они подымали пивные кружки и отвечали рукоплесканиями и песнями.

Посреди всего этого я выступила со своим танцем. Богемцы

оказались в тупике. Они не знали, как его понимать. Но, несмотря на это, решили, что я славная девушка, и пригласили меня приходить каждый вечер на их собрания.

Богемцы представляли собой удивительнейшую группу людей — поэтов, артистов и актеров всех национальностей. Их, казалось, объединяла лишь одна общая черта: все они не имели ни единого цента. И я подозреваю, что многим из богемцев, как и нам самим, совершенно нечего было бы есть, если бы не сандвичи и пиво, которые они находили в клубе, доставленные главным образом благодаря великодушию Амбер.

Между богемцами был один поляк по фамилии Мироцкий. Ему было лет сорок пять, у него была копна рыжих курчавых волос, рыжая борода и проницательные голубые глаза… Он по большей части сидел в углу, курил трубку и со слегка иронической улыбкой глядел на «дивертисменты» богемцев. Но один он из всей толпы, перед которой я танцевала в те дни, понимал мои танцы и мое творчество. Он тоже был очень беден и все же часто приглашал меня с матерью пойти в какой-нибудь ресторанчик пообедать либо отвозил нас в фаэтоне за город, где мы завтракали в лесу.

Мироцкий был очень странным человеком. Будучи поэтом и художником, он пытался зарабатывать себе на жизнь, занимаясь какими-то делами в Чикаго, но никогда не мог справиться с ними и почти умирал здесь с голоду.

Я была тогда слишком молодой, чтобы понять его трагедию или его любовь. Мое представление о жизни было чисто лирическим и романтическим.

Прошло много времени, прежде чем я узнала о той страсти, которую я внушала Мироцкому. Этот человек, уже солидного возраста, влюбился бешено, безумно в наивную невинную девочку, какой я тогда была. Моя мать, очевидно, ничего не подозревала и не мешала нам подолгу оставаться наедине. Свидания и долгие прогулки по лесу оказали свое психическое воздействие. Когда наконец он не смог дольше противиться искушению поцеловать меня и попросил меня выйти за него замуж, я верила, что он окажется единственной великой любовью в моей жизни.

Но лето приходило к концу, а у нас совершенно не было капиталов. Я решила, что в Чикаго надеяться более не на что и мы должны уехать в Нью-Йорк. Но как? Как-то я прочла в газете, что великий Августин Дэли со своей труппой и Адой Реган в качестве примадонны находятся в городе. Я решила, что должна встретиться с этим великим человеком, который имел репутацию самого горячего приверженца искусства и эстетики среди

театральных директоров Америки. Я простаивала многие дни и вечера у артистического хода, многократно прося передать Августину Дэли о моей просьбе принять меня. Отвечали, что он слишком занят, и рекомендовали обратиться к его помощнику. Но последнее я отвергала, настаивая на том, что должна видеть самого Августина Дэли по очень важному делу. Наконец как-то вечером, в сумерки, я предстала перед лицом монарха. Августин Дэли был замечательно красивым мужчиной, но при виде незнакомых людей он умел напускать на свое лицо свирепейшее выражение. Я была напугана, но набралась мужества и произнесла длинную и необыкновенную речь.

— У меня есть великая идея, которую я изложу вам, м-р Дэли. Вы, наверное, единственный человек в стране, который может понять ее. Я открыла секрет танца. Я открыла искусство, которое утрачено уже две тысячи лет. Вы — высочайший артист, но вашему театру не хватает одного — того, что сделало великим античный греческий театр, — искусства танца, трагического хора. Я принесла вам танец. Я принесла вам идею, которая произведет переворот в нашей эпохе. Где я открыла ее? У Тихого океана, в сосновых лесах Сьерры-Невады. Я открыла танец, достойный поэмы Уолта Уитмена[8] — высочайшего поэта нашей страны. Я создам для детей Америки новый танец, который изобразит Америку. Я принесу вашему театру живую душу, которой ему не хватает, душу танцовщицы.

Августин Дэли не вполне понимал, что ему делать с этим худым, странным ребенком, у которого хватило отваги обратиться к нему с подобным воззванием. Тем не менее ответ его гласил:

— Ладно, у меня имеется небольшая роль в пантомиме, которую я ставлю в Нью-Йорке. Приходите на репетицию первого октября, и если вы подойдете, будете ангажированы. Как ваше имя?

— Мое имя Айседора.

— Айседора! Красивое имя, — сказал он. — Итак, Айседора, я встречусь с вами первого октября в Нью-Йорке.

Полная восторга, я помчалась домой к матери.

— Наконец-то, — сказала я, — меня оценили, мама. Я ангажирована великим Августином Дэли. Мы должны быть к первому октября в Нью-Йорке.

— Да, — сказала мать, — но что нам сделать, чтобы достать железнодорожные билеты?

Это был трудный вопрос, но тут у меня возникла идея. Я послала одному другу в Сан-Франциско следующую телеграмму:

Триумфальный ангажемент Августин Дэли Должна добраться до Нью-Йорка первого октября Переведите телеграфом сто долларов на проезд.

И произошло чудо. Деньги прибыли. Деньги прибыли, а с ними моя сестра Элизабет и брат Августин, которые, воодушевившись моей телеграммой, решили, что наше благополучие достигнуто. Все же нам всем, обезумевшим от возбуждения и счастливым от надежд, удалось сесть на поезд, следовавший в Нью-Йорк. Наконец, думала я, мир признает меня. Если бы я знала, сколько мытарств ждет меня впереди, прежде чем это наступит, я потеряла бы мужество.

Иван Мироцкий впал в отчаяние при мысли о разлуке. Мы поклялись в вечной любви, я уверяла его, что, как только достигну в Нью-Йорке удачи, мы сразу же поженимся. Я говорила так не потому, что верила в брак, просто считала в то время это необходимым, чтобы доставить удовольствие моей матери. Я еще не вполне вступила в борьбу для защиты свободной любви, за которую стойко сражалась впоследствии.

Глава четвертая

Первое мое впечатление от Нью-Йорка — это то, что он гораздо красивее Чикаго. Кроме того, я была рада опять оказаться у моря. Я всегда чувствовала себя подавленной в городах, находящихся внутри страны.

Мы остановились в пансионе, расположенном на одной из боковых улиц возле Шестой авеню. Его жильцы представляли собой довольно странное сборище людей. Им, подобно богемцам, было присуще одно общее свойство: никто из них не в состоянии был оплачивать счета, и все постоянно жили накануне изгнания.

Однажды утром я пришла к артистическому ходу театра Дэли и снова предстала перед великим человеком.

Я хотела объяснить ему вновь свои идеи, но он казался очень занятым и утомленным.

— Мы переманили из Парижа великую звезду пантомимы Джен Мэй, — сказал он. — Для вас есть роль, если вы умеете играть в пантомиме.

Пантомима никогда не казалась мне искусством. Однако мне ничего не оставалось, как принять роль. Я ухватила ее, чтобы разучить дома, но вся вещь целиком показалась мне очень глупой.

Первая репетиция принесла ужасное разочарование. Джен Мэй оказалась женщиной небольшого роста, с крайне буйным характером, не упускающая малейшей возможности разразиться гневом. Когда мне сказали, что при слове «вы» я должна указать на нее, при слове «любите» прижать руки к сердцу, а затем при слове «меня» яростно бить себя по груди, это показалось мне очень смешным. И, не вложив никакого чувства, я Проделала это так скверно, что Джен Мэй нашла меня отвратительной. Она обратилась к м-ру Дэли и заявила, что я не обладаю никаким талантом и никоим образом не могу исполнять роль. Когда я услыхала ее слова, я ясно представила себе, что для нас всех это будет означать быть брошенными в ужасном пансионе во власти безжалостной хозяйки. Я вспомнила все, что пришлось пережить моей матери в Чикаго. При мысли обо всем этом у меня на глаза навернулись слезы и покатились по щекам. Я полагаю, что у меня был очень трагический и несчастный вид, ибо лицо м-ра Дэли приняло более ласковое выражение. Он похлопал меня по плечу и сказал Джен Мэй:

— Видите, она очень выразительно плачет. Она научится.

Но репетиции были для меня мукой. Мне приказывали делать движения, которые я считала очень пошлыми и глупыми, не

связанными естественно с музыкой, под которую они проделывались. Но молодость легко приспосабливается, и мне удалось войти в дух роли.

Джен Мэй исполняла роль Пьеро. В одной из сцен я должна была объясняться в любви Пьеро. Под три различных такта музыки я должна была приблизиться и поцеловать Пьеро в щеку три раза. На генеральной репетиции я провела это с такой энергией, что оставила отпечаток своих красных губ на белой щеке Пьеро. Тут Пьеро превратился в Джен Мэй, совершенно рассвирепевшую, и дал мне пощечину. Восхитительное вступление в театральную жизнь!

И все же, по мере того как репетиции продвигались вперед, я не могла сдержать восхищения перед необыкновенной выразительностью этой мимической артистки. Если бы ее не поработили ложные и изжившие себя формы пантомимы, она могла бы стать великой танцовщицей. Но формы были слишком ограниченны.

Наступил первый вечер. На мне были костюм времен Директории из синего шелка, белокурый парик и большая соломенная шляпа. Я приняла совершенно иную личину и перестала быть самой собой. Дорогая моя мать, сидевшая в первом ряду, пришла в некоторое замешательство: я заметила, что она ужасно разочарована. После стольких усилий достигнуть такого жалкого результата?

В течение репетиций этой пантомимы у нас совершенно не было денег. Нас выставили из пансиона, и мы заняли две необставленных комнаты, где ровно ничего не было, на Сто Восьмидесятой улице. На уплату за проезд не было денег, и часто мне приходилось идти пешком до помещения Августина Дэли на Двадцать Девятой улице. Когда наступало время завтрака, за неимением денег я обычно пряталась в ложу у самой сцены и засыпала от истощения, а после полудня, ничего не съев, вновь приступала к репетиции. Таким образом репетировала шесть недель до начала спектаклей, а затем участвовала в них в течение одной недели до первой получки.

После трехнедельного пребывания в Нью-Йорке труппа отправилась на гастроли, давая в каждом городе по одному спектаклю. Я получала пятнадцать долларов в неделю на все свои расходы и половину отсылала домой матери на жизнь. Когда мы высаживались на вокзале, я направлялась не в гостиницу, а брата свой чемодан и шла пешком разыскивать пансион подешевле. Моим пределом являлось пятьдесят центов в день, включая все в эту плату, и иногда мне приходилось тащиться до изнеможения несколько миль, прежде чем я находила что-нибудь подходящее.

Порой в результате поисков я оказывалась в очень странном соседстве. Помню, как в одном месте мне дали комнату без ключа, и обитатели дома, в большинстве своем пьяные, делали беспрестанные попытки войти ко мне, от чего я приходила в ужас; перетащив через всю комнату тяжелый платяной шкаф, я забаррикадировала им дверь. Но даже после этого не отважилась лечь спать, а просидела всю ночь настороже. Не могу себе представить более безбожного существования, чем так называемые «гастроли» театральной труппы.

Джен Мэй была неутомима. Она ежедневно назначала репетиции, и никогда ее ничего не удовлетворяло. У меня были с собой несколько книг, я их непрерывно читала. Каждый день я писала длинные письма Ивану Мироцкому; не думаю, чтобы я полностью рассказывала ему о том, как я несчастна.

После двух месяцев скитаний пантомима вернулась в Нью-Йорк. Вся эта затея кончилась для м-ра Дэли прискорбной финансовой неудачей, и Джен Мэй вернулась в Париж.

Что мне было делать? Я опять встретилась с м-ром Дэли и попыталась заинтересовать его своим искусством. Но он казался совершенно глухим и равнодушным ко всему, что я могла ему предложить.

— Я выставляю труппу со «Сном в летнюю ночь». Если хотите, можете танцевать в сцене с феями.

Мои идеи танца заключались в изображении чувств и эмоций человека. Я совершенно не интересовалась феями. И все же согласилась, предложив танцевать сцену в лесу перед выходом Титании и Оберона[9] под музыку «Скерцо» Мендельсона.

Когда «Сон в летнюю ночь» начался, я была одета в длинную узкую тунику из белого и золотого газа с двумя бутафорскими крыльями, против которых очень возражала. Мне казались они смешными. Я пыталась доказать м-ру Дэли, что смогу изобразить крылья, не навешивая на себя сделанные из папье-маше, но он остался неумолимым. В первый вечер я вышла на сцену одна. Я была в восторге. Наконец-то я очутилась одна на большой сцене перед многочисленной публикой и могла танцевать. И протанцевала настолько хорошо, что публика непроизвольно разразилась аплодисментами. Я произвела, что называется, фурор. Когда я вышла со сцены в своих крыльях, надеясь найти м-ра Дэли в восхищении и принять его поздравления, то увидела, что он, вопреки ожиданиям, неудержимо взбешен.

— Здесь не мюзик-холл! — загремел он. — Неслыханно, чтобы публика аплодировала танцу!

Выйдя танцевать на следующий вечер, я обнаружила, что все лампы вывинчены. И каждый раз, исполняя «Сон в летнюю ночь»,

я танцевала во мраке. Ничего нельзя было разглядеть, кроме белой, порхающей фигуры.

После двухнедельного пребывания в Нью-Йорке труппа со спектаклем «Сон в летнюю ночь» снова отправилась на гастроли, и снова началось мое унылое путешествие и охота за гостиницами. Единственным утешением было то, что мне увеличили жалованье до двадцати пяти долларов в неделю.

Так прошел год.

Я была крайне несчастна. Мои мечты, мои идеалы, мое честолюбие — все казалось ничтожным. В труппе у меня было очень мало друзей. Большинство считало меня чудачкой: я обычно ходила за кулисами с томом Марка Аврелия[10]. Старалась усвоить стоическую философию, чтобы смягчить беспрерывные невзгоды, испытываемые мной. Тем не менее в эту поездку я нашла одного друга — молодую девушку по имени Мод Винтер, которая исполняла роль королевы Титании. Она была очень мила и симпатична. Но у нее была странная мания питаться лишь апельсинами, в ущерб иной пище.

Звездой труппы Августина Дэли являлась Ада Реган — великая актриса, хотя она и была для своих подчиненных в высшей степени несимпатичной личностью.

Продолжая турне со «Сном в летнюю ночь», мы в заключение прибыли в Чикаго. Я была чрезвычайно обрадована встречей с моим предполагаемым нареченным. Опять стояло лето, и каждый день, свободный от репетиций, мы уезжали в лес и предпринимали длительные прогулки. Я все больше ценила ум Ивана Мироцкого. Когда несколько недель спустя я уезжала в Нью-Йорк, мы условились, что он последует туда за мной, и мы поженимся. Мой брат, прослышав об этом, к счастью, навел справки и выяснил, что у Мироцкого уже есть жена в Лондоне. От этого известия моя мать пришла в ужас и настояла на нашей разлуке.

Глава пятая

Вся семья сейчас находилась в Нью-Йорке. Нам удалось нанять студию, и по моему желанию она оставалась свободной от всякой мебели, которая мешала бы танцам, купили лишь пять пружинных матрасов и развесили занавесы по всем стенам комнаты. В дневное время матрасы ставились вертикально. Мы спали на матрасах без всякой постели, прикрываясь лишь одним стеганым одеялом. В этой студии Элизабет открыла школу, как в Сан-Франциско. Августин успел вступить в театральную труппу и редко бывал дома. Он преимущественно уезжал на гастроли. Раймонд пробовал силы в журналистике. Чтобы покрыть расходы, мы сдавали студию по часам преподавателям красноречия, музыки, пения и т. д. Но поскольку она состояла лишь из одной комнаты, то вынуждены были всей семьей уходить на прогулку, и я помню, как в снег тащились мы по Центральному парку, стараясь не окоченеть.

В это время Августину Дэли пришла мысль поставить «Гейшу». Он включил меня в число участников, и, кроме танца, я должна была еще и петь в квартете. А ведь за всю свою жизнь я не сумела пропеть ни одной ноты. Остачьные трое участников заявляли, что я сбиваю их с тона. Поэтому обычно я мирно стояла рядом, раскрывая рот, но не издавая ни единого звука. Мать находила удивительным, что остальные во время пения делают страшные лица, между тем как я никогда не теряю приятного выражения.

Нелепость «Гейши» явилась последней каплей, переполнившей чашу терпения в моих отношениях с Августином Дэли.

Помню, как однажды он прошел через неосвещенный театр и нашел меня лежащей и плачущей на полу ложи. Он наклонился и спросил, в чем дело. Я заявила ему, что не могу дольше переносить скудоумие вещей, идущих в его театре. Дэли ответил, что ему «Гейша» нравится ничуть не больше, чем мне, но приходится думать о финансовой стороне дела. Затем, желая меня утешить, он просунул сзади руку за ворот моего платья, но его жест просто рассердил меня.

— Зачем вы меня тут держите, — спросила я, — если совершенно не используете моего гения?

Дэли лишь ошеломленно взглянул на меня и, сказав «гм!», ушел.

Это был последний раз, когда я видела Августина Дэли, ибо несколько дней спустя, собрав всю свою отвагу, я покинула его

труппу.

Я испытывала к театру подлинное отвращение.

Оставив Дэли, я вернулась в студию в Карнеги-холле. У нас было очень мало денег, но я опять надела свою короткую белую тунику, а мать опять аккомпанировала мне.

В это время я была очень увлечена музыкой Энгельберта Невина[11]. Сочинила танцы к его «Нарциссу» и «Офелии», «Русалкам» и так далее. Однажды, когда я упражнялась в студии, дверь отворилась и внутрь ворвался молодой человек со свирепыми глазами и волосами, стоящими дыбом. Несмотря на свою крайнюю молодость, он казался уже подверженным той ужасной болезни, которая впоследствии послужила причиной его смерти. Он бросился ко мне, восклицая:

— Я слышу, что вы танцуете под мою музыку. Я запрещаю это, запрещаю. Моя музыка не предназначена для танцев. Никто не должен под нее танцевать.

Я взяла его за руку и подвела к стулу.

— Сядьте, — сказала я, — а я станцую под вашу музыку. Если вам не понравится, то клянусь, что никогда больше не буду под нее танцевать.

И я протанцевала перед Невином его «Нарцисса». Последняя нота едва замерла, когда он вскочил со стула, бросился ко мне и стремительно обнял меня. Он взглянул на меня глазами, полными слез.

— Вы ангел, — сказал он. — Вы прорицательница. Именно эти движения я представлял себе, когда сочинял музыку.

Затем я протанцевала перед ним его «Офелию», а после этого — «Русалок». Его восторженное исступление нарастало. Под конец он сам сел за пианино и тут же сочинил для меня прекрасный танец, который он назвал «Весна». Я всегда испытывала сожаление, что этот танец, несмотря на то что Невин играл его для меня множество раз, никогда не был записан. Невин был совершенно увлечен мною и немедленно предложил, чтобы мы дали несколько совместных концертов в малом зале Карнеги-холла, где он сам станет играть для меня.

Невин устроил концерт, наняв помещение, сделав рекламу и т. д. Каждый вечер он приходил репетировать со мной. Я всегда считала, что Энгельберт Невин обладал всеми задатками великого композитора. Он мог бы стать Шопеном Америки, но ужасная борьба, которую ему приходилось вести для поддержания жизни в жестоких условиях, явилась, вероятно, причиной страшного недуга, вызвавшего его раннюю смерть. Первый концерт увенчался огромным успехом, за ним последовали другие, которые вызвали в Нью-Йорке полную

сенсацию, и, вероятно, если бы мы были достаточно практичны, чтобы найти в эту минуту хорошего импресарио, я бы начала успешную карьеру. Но мы были на диво простодушны.

В числе зрителей присутствовало много светских женщин, и мой успех повлек за собой приглашения в различные салоны Нью-Йорка. На этот раз я сочинила танец по поэме Омара Хайяма[12]. Августин, а иногда и моя сестра Элизабет читали ее вслух, когда я танцевала.

Приближалось лето. Я была приглашена м-с Астор танцевать на ее вилле в Ньюпорте. Мать, Элизабет и я поехали в Ньюпорт, который в то время являлся сверхфешенебельным курортом. М-с Астор была в Америке тем же, чем королева в Англии. Люди, находившиеся в ее присутствии, испытывали больше благоговения и страха, чем если бы они приблизились к особе королевского происхождения. Но со мной она всегда была очень приветлива, устраивала спектакль на своей площадке, и самое избранное общество Ньюпорта смотрело, как я танцую. У меня есть картина, изображающая этот спектакль, на которой почтенная м-с Астор сидит возле Гарри Лера, а вокруг нее шеренга Вандербильдов, Бельмонтов, Фишей и т. д. В дальнейшем я танцевала и на других виллах Ньюпорта, но владелицы их так экономили на гонораре, что нам едва хватало на расходы по поездкам и на еду. Любуясь моими танцами и восхищаясь ими, никто из них при этом не имел ни малейшего понятия о том, что я делаю. В общем же наше посещение Ньюпорта оставило отпечаток разочарования. Эти люди, казалось, настолько поглощены снобизмом и чванством, настолько пресыщены своим богатством, что совершенно не способны были воспринимать искусство.

В те дни артистов рассматривали как низшее сословие — вроде старших слуг. Это отношение с тех пор очень переменилось, в особенности после того, как Падеревский[13] стал премьер-министром Польской Республики.

Меня никоим образом не удовлетворяла жизнь в Калифорнии, впрочем, равно как и в Нью-Йорке; появилось сильное желание найти более близкую, родственную атмосферу. Я мечтала о Лондоне, о писателях и художниках, которых там можно встретить: о Джордже Мередите, Генри Джеймсе. Уоттсе, Суинберне, Берн-Джонсе, Уистлере… [14]. Это были магические имена, а говоря по правде, в течение всех своих нью-йоркских испытаний я не нашла ни разумного сочувствия, ни помощи моим идеям.

Между тем школа Элизабет разрослась, и мы переехали из студии в Карнеги-холле в две большие комнаты на нижнем этаже

Виндзор-отеля. Стоимость этих комнат достигала девяноста долларов в неделю, и вскоре стало ясно, что при тех ценах, которые платят за уроки танцев, невозможно собрать такую сумму на квартирную плату и тем более на другие расходы. Действительно, несмотря на внешний успех, наш банковский счет показывал дефицит. «Виндзор» был мрачной гостиницей и доставлял нам слишком мало радости, чтобы оплачивать такие тяжкие расходы.

Однажды вечером мы с сестрой сидели у камина, размышляя, что нам предпринять, чтобы раздобыть сумму, необходимую для погашения счета.

На третьем этаже, в комнатах, заставленных старинный мебелью и картинами, жила очень богатая старая дама. У нее была привычка каждое утро ровно в восемь часов спускаться вниз к завтраку в столовую. Мы составили план, что я встречусь с ней на следующее утро и попрошу у нее денег взаймы. Так я и поступила. Но старая дама находилась в отвратительном расположении духа и, отказав в займе, принялась жаловаться на кофе.

— Я живу в этой гостинице много лет, — сказала она, — но если мне не дадут лучшего кофе, я немедленно покину ее.

Она действительно ее «покинула» — в тот же день всю гостиницу охватило пламя, а сама дама превратилась в кучку пепла. Элизабет, благодаря присутствию духа, героически спасла своих учеников, гуськом выводя их из здания. Но мы ничего не смогли спасти из наших пожитков, включая семейные портреты, которые были нам очень дороги. Следующим пристанищем стала Букингемская гостиница, где через несколько дней мы очутились в таком же положении, в каком прибыли в Нью-Йорк, то есть без единого гроша.

— Это судьба, — сказала я. — Мы должны уехать в Лондон.

Глава шестая

Все эти несчастья выбросили нас на мель в Нью-Йорке в конце сезона. Именно тут я возымела мысль уехать В Лондон. После пожара в Виндзорской гостинице мы остались без пожитков, даже без необходимой перемены платья. Мой ангажемент у Августина Дэли и мой опыт, извлеченный из танцев перед нарядным обществом в Ньюпорте и «четырехстами» (прозвище, данное верхам высшей американской буржуазии. — Ред.) из Нью-Йорка, повергли меня в состояние горького разочарования. Я чувствовала, что если это все, что Америка может дать, то бесполезно дальше стучаться в двери, которые так плотно заперты. У меня было страстное желание добраться до Лондона.

Семья сейчас уменьшилась до четырех человек. Августин, находясь в одной из своих поездок с небольшой странствующей труппой и исполняя роль Ромео, влюбился в шестнадцатилетнюю девочку, исполнявшую роль Джульетты. Однажды, вернувшись домой, он объявил о своей женитьбе. Его слова были восприняты как предательство. По какой-то причине, которую я никогда не могла уяснить, мать пришла в ярость. Она вела себя совершенно так же, как при первом визите отца, который я уже описала: вышла в другую комнату и хлопнула дверью. Элизабет замкнулась в молчании, а Раймонд впал в истерику. Я, единственная, высказала некоторое сочувствие и сказала Августину, бледному от страдания, что хочу пойти с ним, чтобы повидать его жену.

Он привел меня в мрачную гостиницу на боковой улице, и, взобравшись на пятый этаж, в одной из комнат мы нашли Джульетту. Она была миловидна и хрупка и казалась больной. Они признались мне, что ждут ребенка. Таким образом, Августин был по необходимости исключен из наших лондонских планов.

Вновь в начале лета мы очутились без всяких средств в пустой студии. И тут у меня возникла блестящая идея ходатайствовать перед богатыми дамами, в чьих салонах я раньше танцевала, о предоставлении мне суммы, достаточной для проезда в Лондон. Прежде всего я посетила даму, которая жила в пышном дворце на Пятьдесят девятой улице, из которого открывался вид на Центральный парк. Я рассказала ей о пожаре в Виндзорской гостинице, во время которого мы потеряли все наши вещи, о том, что меня недостаточно оценили в Нью-Йорке, и о своей уверенности найти признание в Лондоне.

Наконец она подошла к конторке и, вынув перо, выписала чек

и передала мне. В слезах я поспешила выбраться из ее дома. Но увы! — достигнув Пятой авеню, я обнаружила, что чек был всего лишь на пятьдесят долларов — сумму, совершенно недостаточную для переезда семьи в Лондон.

Следующий опыт я произвела с женой другого миллионера, которая жила в конце Пятой авеню. Я прошла пешком пятьдесят кварталов между Пятьдесят девятой улицей и ее дворцом. Здесь меня еще холоднее встретила пожилая женщина и объяснила всю неисполнимость моей просьбы. Было четыре часа дня, а я еще не завтракала. Этот факт растрогал даму, и она позвонила великолепному дворецкому, который принес мне чашку шоколада и поджаренный хлеб. Мои слезы падали в шоколад и на поджаренный хлеб, но я все же продолжала убеждать даму в абсолютной необходимости нашего переезда в Лондон.

— Я стану когда-нибудь знаменитой, — сказала я ей, — и для вас будет честью, что вы оценили американский талант.

Наконец эта обладательница приблизительно шестидесяти миллионов также подарила мне чек — опять на пятьдесят долларов. Но прибавила:

— Когда вы разживетесь, вы мне их вернете.

Я никогда их не вернула, предпочитая лучше отдать их бедняку.

Таким образом я перебрала большинство жен миллионеров Нью-Йорка, и в результате у нас оказался целый капитал в триста долларов на поездку в Лондон. Этой суммы не хватало даже на билеты второго класса на обыкновенном пароходе, если мы хотели прибыть в Лондон хоть с какими-нибудь деньгами.

У Раймонда возникла блестящая идея предпринять поиски вокруг пристаней, наконец он нашел небольшое скотопромышленное судно, направляющееся в Гулль. Капитан этого судна был настолько тронут рассказом Раймонда, что согласился принять нас как пассажиров, хотя это и противоречило уставу его судна. И как-то утром мы вступили на его борт лишь с несколькими ручными сумками. Я считаю, что именно эта поездка оказала большое влияние на превращение Раймонда в вегетарианца, ибо вид нескольких сотен жалких животных, барахтающихся в трюме на пути от равнин Среднего Запада в Лондон, бодающих друг друга рогами и стенающих самым жалобным образом, произвел на нас глубокое впечатление.

Об этом путешествии на скотопромышленном судне я часто вспоминала впоследствии в своей роскошной каюте на одном из крупных пароходов, совершающих регулярные рейсы. Вспоминая о нашей неукротимой веселости и восторге, я задавалась вопросом, не вызывает ли постоянная атмосфера роскоши в конце

концов неврастению.

Все наше питание состояло из соленой говядины и чая, имевшего вкус соломы. Койки были жесткими, каюты маленькими, а стол скудным, но мы были очень счастливы в течение этого двухнедельного путешествия в Гулль. Ехать на таком судне под собственной фамилией нам казалось стыдным, поэтому мы записались под фамилией моей бабушки по матери О'Горман. Я назвалась Мэгги О'Горман.

Первым штурманом был ирландец, с которым я проводила лунные вечера. Он часто говорил мне:

— Наверняка, Мэгги О'Горман, я оказался бы для вас хорошим мужем, если бы вы пошли на это.

И вот майским утром семья О'Горман высадилась на берег в Гулле, села в поезд, а несколько часов спустя семья Дункан прибыла в Лондон. Помнится, что мы нашли квартиру вблизи Мраморной арки по объявлению в «Таймсе». Первые дни пребывания в Лондоне целиком ушли на разъезды по городу на пенсовых омнибусах в состоянии полного экстаза. Удивляясь и восхищаясь всем, что нас окружало, мы совершенно забыли о том, насколько ограничены были наши ресурсы. Мы пустились осматривать достопримечательности, проводя часы в Вестминстерском аббатстве, Британском музее, Южно-Кенсингтонском музее, Лондонском Тауэре, посещая сады Кью, Ричмондский парк и Гэмптонский дворец, возвращаясь домой возбужденными и усталыми. Действительно, мы вели себя так, словно были туристами, которым отец присылает деньги из Америки. Должно было пройти несколько недель, прежде чем мы очнулись от наших туристских грез, разбуженные раздраженной хозяйкой, требующей оплаты своего счета.

И наступил день, когда, вернувшись из Национальной галереи, где прослушали интереснейшую лекцию о «Венере и Адонисе» Корреджо[15], мы нашли дверь захлопнувшейся перед нашим носом, меж тем как все наши скудные пожитки остались внутри, а мы на пороге. Проверив сбои карманы и обнаружив, что у нас у всех осталось около шести шиллингов, мы отправились к Мраморной арке и Кенсингтонским садам, где уселись на скамье, чтобы обдумать ближайшие шаги.

Глава седьмая

Если бы мы могли просмотреть в кинематографе нашу собственную жизнь, разве мы не изумились бы и не воскликнули: «Неужели это было со мной?» Вероятно, четверо людей, которых я вспоминаю шагающими по лондонским улицам, вполне могли бы возникнуть и в воображении Чарлза Диккенса, и в настоящую минуту я едва могу поверить в их реальность. Неудивительно, что мы, молодежь, сохраняли веселость при таком скоплении неудач, но то, что моя мать, испытавшая столько трудностей и злоключений в своей жизни и уже немолодая, могла воспринимать их как обычный ход вещей, ныне, когда я вспоминаю эти дни, кажется мне невероятным.

Мы шагали по лондонским улицам, не имея ни денег, ни друзей и никаких надежд найти убежище на ночь. Мы совершили набег на две или три гостиницы, но владельцы их оказались твердыми, как гранит, в своих требованиях уплаты авансом, ввиду отсутствия у нас багажа. Под конец мы не пренебрегли и садовой скамьей в Грин-парке, но даже тут появился огромный полисмен и велел нам убраться.

Так продолжалось трое суток. Питались мы грошовыми лепешками, и все же наша изумительная жизненная сила была такова, что, невзирая ни на что, мы проводили целые дни в Британском музее. Помню, как я читала английский перевод «Путешествия в Афины» Винкельмана[16] и, совершенно позабыв о нашем бедственном положении, заплакала — не над собственными мытарствами, а над трагической смертью Винкельмана.

Но на рассвете четвертого дня я решила, что нужно что-нибудь предпринять. Предупредив свою мать, Раймонда и Элизабет, чтобы они следовали со мной, не произнося ни слова, я направилась прямо в одну из лучших лондонских гостиниц. Я сказала ночному швейцару, который наполовину спал, что мы только что приехали с ночным поездом, что наш багаж должен прибыть из Ливерпуля и чтобы он отвел нам пока что комнаты и заказал завтрак, состоящий из кофе, гречневых пирогов и прочих американских деликатесов.

Весь день мы проспали в роскошных постелях. Время от времени я телефонировала вниз швейцару, горько жалуясь, что наш багаж еще не прибыл.

— Нам ни в коем случае нельзя выйти, не переменив платья, — заявила я, и в этот вечер мы обедали в наших комнатах.

На рассвете следующего дня, рассудив, что хитрость достигла своего предела, мы выбрались тем же путем, каким и проникли, но на этот раз не разбудив ночного швейцара.

Мы снова очутились на улицах, однако уже хорошо подкрепленные и готовые опять стать лицом к лицу с миром. В это утро мы добрели до Челси и сидели на кладбище у старой церкви, тут я заметила газету, валявшуюся на дорожке. Подняв ее, я наткнулась взглядом на заметку, сообщавшую, что известная леди, в доме которой я танцевала в Нью-Йорке, наняла дом на Гросвеноре и дает большие приемы. Меня осенило внезапное вдохновение.

— Подождите здесь, — сказала я остальным.

Я одна нашла дорогу на Гросвенорскую площадь и застала даму дома. Она приняла меня очень ласково, я рассказала ей, что приехала в Лондон и танцую в гостиных.

— Это как раз подходит для моего приема с обедом в пятницу вечером, — сказала она. — Не могли бы вы исполнить после обеда некоторые из ваших интерпретаций?

Я согласилась и деликатно намекнула, что мне необходим небольшой аванс, чтобы закрепить ангажемент. Она была в высшей степени любезна и немедленно выписала чек на десять фунтов, с которым я помчалась сломя голову на кладбище в Челси, где застала Раймонда рассуждающим о платоновской идее души.

— Я буду танцевать в пятницу вечером в доме м-с Х. на Гросвенорской площади. Вероятно, будет присутствовать принц Уэльский. Мы разбогатели! — И я показала им чек.

Раймонд сказал:

— Мы должны взять эти деньги, найти студию и заплатить за нее вперед за месяц, чтобы никогда больше не подвергать себя оскорблениям со стороны этих низких, пошлых хозяев меблированных комнат.

Мы пустились в поиски и нашли небольшую студию, как раз у Кингс-Род в Челси. Эту ночь мы проспали в студии. В ней не было кроватей, и мы спали на полу, но чувствовали, что вновь живем, как артисты, и согласились с Раймондом, что никогда не поселимся больше в таких буржуазных жилищах, как меблированные комнаты. На деньги, оставшиеся после уплаты арендной стоимости студии, мы накупили консервов, заготовляя запасы на будущее, а я купила также несколько ярдов вуали, в которой появилась в пятницу вечером на приеме у м-с Х., где протанцевала «Нарцисса» Невина, изображая слабого отрока, влюбленного в свое отражение в воде, а также «Офелию» Невина. Я слышала, как шептались: «Откуда у этого ребенка такое

трагическое выражение?» К концу вечера я исполнила «Весеннюю песню» Мендельсона.

Моя мать аккомпанировала мне, Элизабет прочла несколько стихов Теокрита[17], переведенных Эндрью Лангом[18], а Раймонд дал краткое пояснение о предмете танца и его возможном влиянии на психологию грядущего человечества. Это было несколько выше понимания раскормленных зрителей, но в то же время снискало большой успех, и хозяйка была в восторге.

Собралось типичное английское благовоспитанное общество, никто не заметил, что я танцевала в сандалиях и с обнаженными ногами, под прозрачным покрывалом, хотя, скажем, несколько лет спустя мое появление в таком виде в Германии породило массу сплетен. Но англичане настолько удивительно воспитанные люди, что ни один из них даже не подумал сделать замечание об оригинальности моего костюма, хотя в то же время никто, увы, не сделал замечаний и об оригинальности моего танца. Все говорили: «Как красиво! Очень весело! Я вам так благодарен!» — или что-нибудь в том же роде, и этим все ограничивалось.

Однако, начиная с этого вечера, я стала получать множество приглашений танцевать в известных домах. Сегодня я танцевала перед особами королевской крови или же в саду у леди Лаутер, а завтра мне нечего было есть. Ибо иногда мне платили, но гораздо чаще не платили. Хозяйки имели склонность говорить:

— Вы будете танцевать перед герцогиней такой-то и такой-то и графиней такой-то и такой-то, и вас увидят столько выдающихся людей, что ваша фамилия станет известной в Лондоне.

Помню, как однажды я танцевала в течение четырех часов на благотворительном спектакле, и единственной наградой мне явилось то, что титулованная дама собственной рукой налила мне чай и дала клубники, однако я так ослабела от недоедания в течение нескольких дней, что эта клубника и густые сливки заставили меня действительно почувствовать себя очень несчастной. А другая дама подняла огромный кошелек, наполненный золотыми монетами, и сказала:

— Взгляните на кучу золота, которое вы заработали на приют для слепых девушек.

Мы с матерью были слишком деликатны, чтобы сказать этим людям, в какой неслыханной жестокости они повинны. Напротив, мы отказывали себе в еде, чтобы сберечь на наряды и казаться благоденствующими.

Мы купили для студии несколько коек и взяли напрокат пианино; но большую часть времени мы проводили в Британском музее и в его библиотеке, а завтракали в закусочной грошовыми

булочками и кофе с молоком.

Мы бредили красотами Лондона.

Миновал год с тех пор, как мы покинули Нью-Йорк и я в последний раз видела Ивана Мироцкого. Однажды я получила письмо из Чикаго от одного друга, сообщавшего мне, что Мироцкий пошел добровольцем на Испанскую войну[19], добрался до лагеря во Флориде, заболел там тифозной горячкой и умер. Это известие было для меня страшным ударом. Я не могла поверить в его реальность. Однажды днем я отправилась в Куперовский институт и, проглядев груды старых газет, нашла среди сотен других фамилий фамилию Мироцкого, напечатанную очень мелким шрифтом, в списке умерших.

Письмо сообщало мне также имя и адрес его жены в Лондоне. Я наняла кабриолет и поехала искать г-жу Мироцкую. Она жила очень далеко, где-то в Гаммерсмите. Я все еще отчасти находилась под пуританским влиянием Америки и считала ужасным, что Иван Мироцкий покинул в Лондоне жену, о которой он никогда мне не говорил; потому я никому не сообщила о своем намерении. Дав кучеру адрес, я проехала много миль, почти до предместья Лондона. Здесь шли бесконечные ряды серых домов, в точности похожих друг на друга. Я позвонила у одного из них. Дверь отворила угрюмая служанка. Я спросила г-жу Мироцкую, и меня провели в затхлую гостиную.

Я слышала топанье ног над головой и пронзительный ясный голос, произносящий: «Стройтесь, девочки, стройтесь!» — в доме помещалась школа для девочек. Меня угнетало тревожное, смешанное чувство страха и ревности, несмотря на трагическую смерть Ивана. Внезапно в комнату вошла одна из самых странных фигур, какую я когда-либо видела в своей жизни: не более четырех футов росту, худая до истощения, с сияющими серыми глазами и редкими седыми волосами, с белым личиком и тонкими сжатыми бледными губами.

Ее приветствие звучало не особенно радушно. Я попыталась объяснить, кто я такая.

— Я знаю, — сказала она. — Вы Айседора. Иван писал мне о вас во многих письмах.

— Мне так жаль, — запинаясь, произнесла я. — Он никогда не говорил мне о вас.

— Нет, — сказала она, — он и не стал бы говорить, но я должна была выехать к нему, а сейчас — он умер.

Она произнесла это с таким выражением в голосе, что я заплакала. Затем заплакала и она, и после этого мы почувствовали себя старыми друзьями.

Она провела меня в свою комнату, стены которой были

увешаны портретами Ивана Мироцкого. Среди них были портреты, изображающие его в молодости, — лицо необыкновенной красоты и силы, и один портрет в мундире, который Иван прислал жене, став солдатом. Она обвила этот портрет крепом. Из рассказа жены Ивана я узнала историю их жизни и то, как он один отправился искать удачу в Америку: у них не было достаточно денег для совместного переезда.

— Я должна была потом приехать к нему, — сказала она. — Он всегда писал мне: «Очень скоро у меня будут деньги, и ты приедешь».

Проходили годы, и она все еще продолжала служить воспитательницей в школе для девочек, ее волосы поседели, а Иван так никогда и не прислал ей денег на отъезд в Америку.

Я сопоставила судьбу этой терпеливой старой женщины, — ибо она казалась мне очень старой, — с моими смелыми путешествиями и не могла ее понять, как же она, будучи женой Ивана Мироцкого, не поехала к нему, ведь ей этого хотелось! Хотя бы палубной пассажиркой! Я никогда не могла понять, ни тогда, ни впоследствии, почему если кто-то что-нибудь хочет сделать, то почему не делает этого. Я никогда не хотела откладывать осуществление того, чего домогалась. Это часто приводило меня к мытарствам и невзгодам, но, по крайней мере, я чувствовала удовлетворение от того, что иду своим путем.

Я сидела в ее комнате, окруженная портретами Ивана. Она крепко сжимала мне руки и безумолкно говорила о нем, пока я не сообразила, что темнеет.

Она взяла с меня обещание прийти еще раз. А я попросила ее прийти повидаться с нами, но она сказала, что у нее нет ни одной свободной минуты, так как приходится работать с раннего утра до позднего вечера, давая уроки и исправляя упражнения учеников. Отпустив раньше кеб, я возвращалась домой на верхушке омнибуса. Помню, что всю обратную дорогу я проплакала над судьбой Ивана Мироцкого и его бедной жены. Но в то же время я испытывала странное, ликующее чувство силы и презрения к людям, которых постигают неудачи либо которые проводят свою жизнь в ожидании. Такова бесчеловечность ранней молодости.

До тех пор я хранила фотографию и письма Ивана Мироцкого у себя под подушкой, но с этого дня, запечатав в пачку, спрятала их в свой чемодан.

Первый месяц аренды нашей студии в Челси истек. Стояла очень жаркая погода, и мы наняли меблированную студию, которая сдавалась внаем в Кенсингтоне. Тут у меня было пианино, был простор для работы. Но очень скоро, в конце июля,

лондонский сезон закрылся, и мы остались с ничтожной суммой, отложенной за время сезона, и с перспективой безденежного августа впереди. Весь август мы провели в библиотеке, Кенсингтонском музее и Британском музее.

Наступил сентябрь. Элизабет, которая вела переписку с матерями наших бывших учеников в Нью-Йорке, получила от одной из них чек на обратный переезд и решила, что должна вернуться в Америку, дабы подработать немного денег.

— Если я заработаю, — сказала она, — я смогу посылать вам кое-что, а как только вы разбогатеете и прославитесь, я немедленно вернусь к вам.

Веселая и кроткая Элизабет уехала. Мы втроем провели в студии несколько дней в полном унынии.

Октябрь был холодным и угрюмым. Впервые мы испытали лондонский туман, а питание из дешевых похлебок, видимо, сделало нас малокровными. Даже Британский музей утратил свою прелесть. Бывали долгие дни, когда не хватало бодрости просто выйти из дому. Мы просиживали эти дни в студии, завернувшись в одеяла и играя в шашки кусками картона на самодельной шахматной доске.

Мы были в полном упадке духа. В иные дни утром не хватало мужества встать, и мы спали целый день.

Наконец от Элизабет прибыло письмо с приложением денежного перевода. Она прибыла в Нью-Йорк и остановилась в Букингемской гостинице на Пятой авеню, открыла школу, и дела ее шли отлично. Это нас приободрило. Срок аренды нашей студии истек, и мы наняли небольшой меблированный дом на Кенсингтонской площади.

Однажды вечером, когда стояла прекрасная погода и мы с Раймондом танцевали в саду, появилась чрезвычайно красивая женщина в большой черной шляпе и спросила:

— С какого места земли вы появились?

— Вовсе не с земли, — возразила я, — а с луны.

— Отлично, — сказала она, — с земли или с луны, вы мне очень нравитесь. Не хотите ли вы меня навестить?

Мы последовали за ней в ее красивый дом на Кенсингтонской площади, в котором чудесные портреты кисти Берн-Джонса, Россети[20] и Вильяма Морриса[21] запечатлели хозяйку дома.

Звали ее м-с Патрик Кемпбелл. Она села за фортепиано и начала играть и петь нам старинные английские песни, а затем прочла стихи. В заключение я станцевала перед ней. Она была величественно прекрасна, с роскошными черными волосами, огромными черными глазами, молочным цветом лица и шеей богини.

В нее невозможно было не влюбиться. Эта встреча явно избавила нас от мрачности и уныния, в которые мы впали; она знаменовала собой эпоху перемены в нашей судьбе, ибо м-с Патрик Кемпбелл выразила такое восхищение моими танцами, что дала мне рекомендательное письмо к м-с Джордж Виндгем. Она рассказала нам, что молодой девушкой дебютировала в доме м-с Виндгем в роли Джульетты. М-с Виндгем оказала мне восхитительный прием, и я впервые приняла участие в английском чаепитии днем перед горящим камином.

В доме царила атмосфера беззаботности и уюта, культуры и довольства. Я почувствовала себя здесь, как рыба, брошенная в воду. Прекрасная библиотека также очень меня прельщала.

М-с Виндгем устроила для меня в своей гостиной вечер танца, на котором присутствовал почти весь артистический и литературный Лондон. Здесь я встретила человека, оставившего значительный след в моей жизни. Ему было около пятидесяти лет. Я никогда не видела головы красивее, чем у него. Прекрасные глаза под выпуклым лбом, классический нос и изящный рот, высокая гибкая фигура с легкой сутуловатостью, седые волосы, разделенные пробором посередине и отброшенные за уши, замечательно приятное выражение лица. Таков был Чарлз Галле[22], сын знаменитого пианиста. Казалось странным, что из всех встреченных мною молодых людей, готовых охотно ухаживать за мной, ни один не привлек меня: я действительно даже не замечала их присутствия; и, однако же, с первого взгляда пылко привязалась к этому пятидесятилетнему мужчине.

Он был большим другом американской актрисы Мэри Андерсон в годы ее юности и пригласил меня на чашку чая в свою студию, где показал тунику, которую та носила в роли Виргилии в «Кориолане» и которую он бережно хранил. После первого посещения наша дружба стала очень тесной, и почти не было дня, когда бы я не приходила в его студию. Он много рассказывал мне о Берн-Джонсе, в свое время его задушевном друге, о Россети, Вильяме Моррисе и всей школе прерафаэлитов, об Уистлере и Теннисоне[23] — всех их он отлично знал. В его студии я проводила долгие часы, и отчасти дружбе этого артиста я обязана своим проникновением в искусство старых мастеров.

Чарлз Галле в это время был директором Новой галереи, где были представлены все современные художники. Это была небольшая галерея с центральной залой и фонтаном. Чарлзу Галле пришла мысль, чтобы я дала здесь вечер. Он познакомил меня со своими друзьями: сэром Вильямом Ригмондом, художником, м-ром Эндрью Лангом и сэром Губертом Парри, композитором, и каждый из них согласился выступить с

объяснительным словом: сэр Вильям Ригмонд — об отношении танца к живописи, Эндрью Ланг — об отношении танца к греческим мифам, а сэр Губерт Парри — об отношении танца к музыке. Я танцевала в центральном зале возле фонтана, окруженная редкими растениями, цветами и пальмами. Мое исполнение пользовалось огромным успехом. Газеты с энтузиазмом писали об этом. Чарлз Галле пришел в восторг от моих достижений. Все известные в Лондоне лица приглашали меня на чашку чая или на обед, и на короткий промежуток времени судьба нам улыбнулась.

Однажды на многолюдном приеме в небольшом доме м-с Рональд я была представлена принцу Уэльскому, впоследствии королю Эдуарду. Он сказал, что я красавица кисти Гейнсборо, и это прозвище укрепилось за мной.

Наше положение улучшилось, и мы наняли большую студию на Варвикской площади, где я проводила свои дни.

В это время в мою жизнь вторгся один молодой поэт с нежным голосом и мечтательными глазами, только что окончивший Оксфордский университет. Он происходил из рода Стюартов, и его имя было Дуглас Эйнслай. Каждый вечер с наступлением сумерек он появлялся в студии с тремя или четырьмя томами под мышкой и декламировал мне стихи Суинберна, Китса[24], Броунинга[25], Россети и Оскара Уайльда[26]. Он любил читать вслух, а я обожала его слушать. Моя бедная мать, считавшая совершенно необходимым в таких случаях присутствовать с целью надзора, несмотря на то, что знала и любила эти стихи, не могла постигнуть оксфордской манеры их декламировать. Прослушав около часа, в особенности Вильяма Морриса, она обычно засыпала, и в эту минуту молодой поэт наклонялся и слегка целовал меня в щеку.

Я была очень довольна новой дружбой, и, находясь между Эйнслайем и Чарлзом Галле, не желала никаких иных друзей. Заурядные молодые люди чрезвычайно мне надоели, и хотя многие, увидав мои танцы в лондонских гостиных, были бы очень рады навестить меня или куда-нибудь пригласить, я держала себя так высокомерно, что они совершенно остывали.

Чарлз Галле жил в небольшом старом доме на улице Кадоган с очаровательной незамужней сестрой. Мисс Галле также была в высшей степени ласкова со мной и часто приглашала меня на скромные обеды, на которых мы присутствовали только втроем. С ними же я впервые отправилась посмотреть Генри Ирвинга[27] и Эллен Терри[28]. В первый раз я увидела Ирвинга в «Колоколах», и его незаурядное искусство вызвало во мне такой восторг и восхищение, что я долго жила под его впечатлением и несколько

недель не могла спать. Что же катается Эллен Терри, она сделалась тогда идеалом моей жизни и осталась им навсегда. Тот, кто никогда не видал Ирвинга, не сможет понять всей красоты и благородства его исполнения. Невозможно описать силу его интеллектуальной и драматической мощи. Он был артистом с таким талантом, что даже заметные недостатки его становились качествами, вызывавшими восхищение. В его осанке было нечто от гения и величия Данте.

Однажды, тем же летом, Чарлз Галле повел меня к великому художнику Уоттсу, и я танцевала перед ним в саду. В его доме я увидала дивное лицо Эллен Терри, многократно воспроизведенное Уоттсом в портретах.

Эллен Терри находилась тогда в полном расцвете своей великолепной женственности. Она не была уже больше высокой, гибкой девушкой, которая пленяла некогда воображение Уоттса, но женщиной с высоким бюстом, выпуклыми бедрами и величественной осанкой, очень далекой от нынешнего идеала красоты.

Зима проходила, и число салонов стало меньше, чем во время сезона. Я вступила на время в труппу Бенсона, но так и не пошла дальше исполнения роли первой феи в пьесе «Сон в летнюю ночь». Оказалось, что театральные режиссеры не в состоянии были понять, насколько полезными для их постановок могли быть мои идеи. Это может показаться поразительным, если принять во внимание, сколько скверных подражаний моей школе появилось с тех пор в постановках Рейнгардта, Жемье и других людей театрального авангарда.

Однажды меня познакомили с леди (тогда м-с) Три. Я поднялась во время репетиции к ней в уборную и была встречена радушнейшим образом. Следуя ее указаниям, я надела свою танцевальную тунику, и она привела меня на сцену, чтобы я протанцевала перед Бирборном[29].

Однако в то время, как я танцевала ему «Весеннюю песню» Мендельсона, он едва глядел на меня, с рассеянным видом уставившись на пролетающих мух. Впоследствии я рассказала ему об этом случае в Москве, когда он поднял за меня тост на одном банкете как за одну из величайших артисток мира.

— Как, — воскликнул он, — я видел ваш танец, вашу красоту, вашу молодость — и не оценил их! Ах, каким дураком я был!

Действительно, тогда мне было трудно постигнуть, почему в то время как я возбуждала бешеный энтузиазм и восхищение в таких людях, как Эндрью Ланг, Уоттс, сэр Эдвин Арнольд[30], Остин Добсон[31], Чарлз Галле, и во всех художниках и поэтах, которых я встретила в Лондоне, театральные режиссеры

оставались безучастными, словно мое искусство было слишком спиритуалистическим для их грубого понимания театра.

Весь день я работала в своей студии, а к вечеру ко мне приходил поэт или же художник. Они уговорились никогда не приходить вместе, так как возымели друг к другу яростную антипатию. Поэт говорил, что он не может уразуметь, как я могу каким бы то ни было образом проводить столько времени с этим старцем, а художник говорил, что он не может понять, как это умная девушка может найти что-нибудь в этих щеголях. Но я была вполне довольна обоими друзьями и в самом деле не могла сказать, кого люблю больше. За Галле были все же закреплены все воскресенья, когда мы завтракали в его студии.

Однажды он позволил мне надеть знаменитую тунику Мэри Аддерсон, в которой я позировала ему для многих эскизов.

Так прошла зима.

Глава восьмая

Наши расходы и заработки редко совпадали, но тут наступил период мира. Однако мирная атмосфера сделала Раймонда непоседливым. Он уехал в Париж и весной стал нас бомбардировать телеграммами, умоляя приехать в Париж. И вот однажды мы с матерью упаковали наши вещи и сели на судно, пересекавшее Ламаншский канал.

После лондонских туманов весенним утром мы прибыли в Шербург. Франция показалась нам похожей на сад: от Шербурга до Парижа мы все время высовывались из окна нашего вагона третьего класса. Раймонд встретил нас на вокзале. Он отпустил себе длинные волосы до ушей и носил отложной воротник и развевающийся галстук. Мы несколько удивились этой метаморфозе, он же объяснил нам, что такова мода Латинского квартала, в котором он жил. Раймонд привел нас в свою квартиру, где мы встретили маленькую мидинетку, сбегавшую по лестнице, и попотчевал нас бутылкой красного вина, стоившего, по его словам, тридцать сантимов. Выпив вино, мы отправились на поиски студии.

Наконец только в сумерки мы нашли студию с мебелью за необычайную цену в пятьдесят франков в месяц, от чего пришли в восторг и заплатили за месяц вперед. Мы не могли понять, почему цена была такой низкой, но причина выяснилась в ту же ночь. Лишь только мы расположились на отдых, ужасное землетрясение, казалось, потрясло студию, и все вещи подскочили в воздух, а затем попадали плашмя. Это повторялось бесконечно. Раймонд спустился вниз, чтобы исследовать причину, и обнаружил, что мы нашли себе убежище над ночной типографией, чем и объяснялась дешевизна студии. Наше настроение несколько омрачилось, ведь в те дни пятьдесят франков являлись для нас большой суммой, но я заявила, что шум этот напоминает морской прибой, и мы должны вообразить, что находимся на морском берегу. Консьержка доставляла нам еду, считая тридцать пять центов за завтрак и один франк с души за обед, включая вино.

Раймонд отказался от мидинетки и посвятил себя мне. Наше возбуждение от пребывания в Париже было таково, что обычно мы вставали в пять часов утра и начинали день танцами в Люксембургском саду, затем исхаживали целые мили по всему Парижу и часами проводили время в Лувре. Раймонд уже собрал целый портфель рисунков со всех греческих ваз. Мы так подолгу задерживались в зале греческих ваз, что смотритель стал

относиться к нам с подозрением.

Но когда я, не зная языка, объяснила ему пантомимой, что я прихожу туда только танцевать, он решил, что имеет дело с безвредными лунатиками, и оставил нас в покое.

Кроме Лувра, мы посетили музей Клюни, музей Карнавале, Собор Парижской богоматери и все остальные музеи Парижа.

Весна перешла в лето, в Париже открылась Всемирная выставка 1900 года (Всемирная выставка в Париже в 1900 г. привлекла 48 миллионов посетителей), и, к моей великой радости, но к неудовольствию Раймонда, однажды утром в нашей студии на Рю Гайете появился Чарлз Галле. Он приехал на выставку, и я стала его постоянной спутницей. Более восхитительного и умного гида трудно было себе представить. Целый день мы бродили по павильонам, а вечером обедали на Эйфелевой башне. Я часто уставала, но чувствовала себя вполне счастливой, ибо обожала Париж и обожала Чарлза Галле.

По воскресеньям мы садились в поезд и уезжали за город, блуждали по садам Версаля либо по Сен-Жерменскому лесу. Я танцевала перед Галле в лесу, а он делал с меня наброски. Так прошло лето. Для моей матери и Раймонда оно, разумеется, не было таким счастливым.

Величайшее впечатление от выставки 1900 года оставили во мне танцы Сада-Якко, великой трагической танцовщицы Японии. Много вечеров подряд меня и Чарлза Галле заставляло трепетать чудесное искусство этой великой артистки. Другое, даже более сильное впечатление, оставшееся у меня на всю жизнь, произвел на меня «Павильон Родена», в котором полное собрание произведений замечательного скульптора было впервые показано публике. Когда я вошла в этот павильон, то застыла в благоговении перед творениями великого мастера. Не зная в то Бремя Родена, я чувствовала, что попала в новый мир.

Приближалась осень, а с нею последние дни выставки. Чарлз Галле должен был возвратиться в Лондон, но перед отъездом он познакомил меня со своим племянником Чарлзом Нуффларом.

— Я оставляю Айседору на твое попечение, — сказал он уезжая.

Нуффлар был молодым человеком около двадцати пяти лет, но уже достаточно пресыщенным. Он совершенно пленился наивностью юной американской девушки, которую доверили его попечению, и взялся пополнить мое образование в области французского искусства. Рассказывая подробно о готическом стиле, Чарлз впервые по достоинству заставил меня оценить эпохи Людовиков XIII, XIV, XV, XVI.

Мы покинули студию на Рю Гайете и на остатки былых

сбережений наняли большую студию на Авеню де Виллье.

Здесь моя мать воскресила свою музыку и, как в дни нашего детства, в течение долгих часов играла Шопена, Шумана и Бетховена. В студии у нас не было ни спальни, ни ванной. Раймонд нарисовал на стенах греческие колонны, а матрасы мы хранили в нескольких резных ящиках. Ночью мы вытаскивали их из ящиков и спали на них.

К этому времени Раймонд изобрел свои знаменитые сандалии, утверждая, что всякая обувь приносит вред. У него была склонность к изобретательству, и три четверти ночи он проводил, разрабатывая свои изобретения и стуча молотком.

Чарлз Нуффлар стал у меня завсегдатаем. Однажды он привел в нашу студию двух своих товарищей — красивого юношу по фамилии Жак Бонье и молодого литератора по фамилии Андрэ Бонье. (При одинаковом произношении фамилий между ними имеется существенная разница в транскрипции, в русском языке неуловимая, а именно: фамилия Жака Beaugnies, а Андрэ — Beaunier. — Пер.) Чарлз Нуффлар очень гордился мной и был рад продемонстрировать меня своим друзьям. Я изучала тогда музыку прелюдий, вальсов и мазурок Шопена. И тут у Жака Бонье возникла мысль попросить свою мать, мадам де Сан-Марсо, супругу скульптора, пригласить меня как-нибудь вечером протанцевать перед ее друзьями.

У мадам де Сан-Марсо был один из самых артистических и шикарных салонов в Париже. Репетиция была устроена в студии ее мужа. За фортепиано сидел замечательнейший человек с пальцами чародея. Он привлек меня к себе с первого взгляда.

— Замечательно! — воскликнул он. — Какая прелесть! Какой красивый ребенок!

И, обняв меня, поцеловал по французскому обыкновению в обе щеки. Это был Мессаже, великий композитор.

Наступил вечер моего дебюта. Я танцевала перед группой людей, любезность и энтузиазм которых меня совершенно пленили. Едва дождавшись завершения танца, они закричали: «Браво! Браво! Как она изящна!»

В конце первого танца поднялся высокий человек со сверлящим взором и обнял меня.

— Как твое имя, девочка? — спросил он.

— Айседора, — ответила я.

— А твое сокращенное имя?

— Когда я была маленькой девочкой, меня называли Доритой.

— О, Дорита, — воскликнул он, целуя меня в глаза, в щеки и в губы, — ты восхитительна!

А затем мадам де Сан-Марсо взяла меня за руку и сказала:

— Это великий Сарду![32]

В самом деле, в этой комнате присутствовали те, кто имел определенный вес в Париже, и когда я покинула ее, осыпанная цветами и комплиментами, трое молодых моих кавалеров, Нуффлар, Жак Бонье и Андрэ Бонье, эскортировали меня, сияя от гордости и удовольствия оттого, что их феномен имел такой успех.

Из этих трех юношей моим лучшим другом стал не высокий и веселый Чарлз Нуффлар и не привлекательный Жак Бонье, а низкорослый и невыразительный Андрэ Бонье. Он был бледный и круглолицый, носил очки, но какой же он был умница! Я всегда жила больше рассудком, и хотя этому не поверят, мои многочисленные любовные приключения, рожденные рассудком, были мне совершенно так же дороги, как и сердечные. Андрэ, в это время писавший свою первую книгу «Петрарка», ежедневно навещал меня, и благодаря ему я познакомилась со всем, что есть лучшего во французской литературе.

Каждый день после полудня у дверей студии раздавался робкий стук. Это был Андрэ Бонье, всегда с новой книжкой или журналом под мышкой. Моя мать не могла понять моего восторга перед этим человеком, не соответствовавшим ее идеалу любовника, ибо, как я уже говорила, он был толстый и маленький, с маленькими глазками, и надо было обладать проницательностью, чтобы понять, что эти глаза искрились острым умом и сметливостью. Часто мы ходили с ним гулять при лунном свете, и я чувствовала на своей руке робкое пожатие пальцев Андрэ.

Полагаю, что имя Андрэ Бонье, одного из самых изысканных писателей своего времени, не пропадет в веках. Однажды Андрэ Бонье пришел в большом душевном смятении. Оно было вызвано смертью Оскара Уайльда. Он пришел ко мне бледный и дрожащий, в совершенно подавленном состоянии. Я уже читала и наслышана была об Оскаре Уайльде, но знала о нем все же очень мало. Я прочла некоторые из его стихов, они мне понравились, а Андрэ рассказал мне кое-что из его жизни. Но когда я спросила его, за что Оскара Уайльда заключили в тюрьму, Андрэ покраснел до корней волос и отказался ответить.

Эта наша причудливая и пылкая дружба продолжалась уже свыше года, когда, по наивности своей души, я задумала придать ей иное выражение. Как-то вечером я отослала мать и Раймонда в оперу и осталась одна, днем я тайком купила бутылку шампанского. Вечером расставила на маленьком столике цветы, шампанское, два стакана, надела прозрачную тунику, вплела в

волосы розы и в таком виде ожидала Андрэ, чувствуя себя совершенной Тайс. Войдя, он, видимо, очень удивился и пришел в ужасное замешательство — он едва прикоснулся к шампанскому. Я танцевала перед ним, но он казался рассеянным и, наконец, внезапно ушел, сказав, что должен в этот вечер еще много написать.

Оставшись одна с розами и шампанским, я горько заплакала.

Если вспомнить, что я в то время была молода и весьма миловидна, то трудно найти объяснение этому эпизоду; и в самом деле объяснения этому я так и не нашла. Тогда же я могла лишь в отчаянии думать: «Он меня не любит!»

* * *

Я проводила долгие дни и ночи в студии, стараясь создать такой танец, который передавал бы движениями тела различные эмоции человека. Часами я простаивала совершенно безмолвно, скрестив руки на груди. Мою мать часто охватывала тревога при виде моей полной неподвижности в течение долгих промежутков времени, словно я была в трансе; но я пыталась найти и наконец нашла первоначало всякого движения, чашу движущей силы, единство, из которого рождены все разновидности движений, созидающие танец, — из этого открытия родилась теория, на которой я основала свою школу.

Классическая балетная школа утверждала, что такое первоначало находится в центре спины у основания позвоночного столба. Вокруг этой оси, говорит балетный учитель, руки, ноги и туловище должны свободно двигаться, создавая впечатление движущейся марионетки. Этот метод порождает искусственное механическое движение, недостойное подлинного танца. Я же, напротив, искала такой источник танцевального движения, который проникал бы во все поры тела. По прошествии многих месяцев, научившись сосредоточивать всю свою силу в этом единственном центре, я обнаружила, что когда я слушаю музыку, вибрации ее устремляются потоком к этому единственному источнику танца, находящемуся как бы внутри меня. Вслушиваясь в эти вибрации, я могла претворять их в танце. Я часто пыталась объяснить артистам эту изначальную мысль теории своего искусства. Станиславский упоминает о моем рассказе в своей книге «Моя жизнь в искусстве».

В это время «королевой общества» была графиня Греффуль. Я получила приглашение танцевать в ее салоне, где собралась фешенебельная публика, включавшая всех знаменитостей

парижского общества.

Графиня соорудила в своей гостиной небольшую сцену, поддерживаемую решеткой, и в каждое отверстие решетки была вдета красная роза. Этот фон из красных роз отнюдь не подходил к простоте моей туники.

Поэтому в этот вечер в доме графини Греффуль среди дивно одетых, украшенных драгоценностями женщин я, задыхаясь от запаха тысяч красных роз, чувствовала себя крайне несчастной и считала, что все идет неудачно. Но на следующее утро я получила от графини благосклонную записку, выражавшую благодарность и предлагавшую зайти в швейцарскую к консьержке за получением гонорара. Мне было не по душе заходить в швейцарскую, ибо я была сверхщепетильна в денежных вопросах, но в конце концов эта сумма погасила арендную плату за студию.

Более приятным явился вечер в студии знаменитой мадам Маделены ле Марр, где я танцевала под музыку Орфея. Среди зрителей я впервые увидала вдохновенное лицо французской Сафо — графини де Ноайль. Присутствовал также Жан Лорен. Он описал свои впечатления в «Journal».

Как-то, в один пасмурный день, у дверей в студию раздался стук. Вошла женщина.

— Я — княгиня де Полиньяк, — сказала она, — подруга графини Греффуль. Когда я увидала, как вы танцуете, ваше искусство заинтересовало меня, и в особенности моего мужа — композитора.

У нее было прекрасное лицо, которое несколько искажал слишком тяжелый, выступающий вперед властный подбородок. Когда она заговорила, ее металлический голос звучал резко.

Я рассказала ей о своем искусстве, о надеждах, и княгиня сразу же предложила устроить мой концерт в своей студии. Она рисовала и в то же время была прекрасной музыкантшей, играла на фортепиано и на органе. Княгиню, по-видимому, поразила бедность нашей пустой, холодной студии и наши исхудалые лица, ибо при своем внезапном уходе она тайком положила на стол конверт, в котором мы нашли две тысячи франков.

На следующий день я отправилась к ней на дом, где встретила князя Полиньяка, прекрасного музыканта, обладавшего значительным талантом, а на вид хилого господина, который всегда носил черную бархатную шапочку, оттенявшую его тонкое, красивое лицо. Я надела свою тунику и протанцевала перед ним в концертном зале. Он пришел в восторг и приветствовал меня, как долгожданную мечту. Моя теория отношения движения к звукам глубоко его заинтересовала, как и все мои надежды на возрождение танца как искусства.

Концерт в студии княгини прошел с большим успехом, и у нее возникла великодушная мысль открыть свою студию для публики, не ограничивая аудиторию своими друзьями. После этого интерес к моему искусству стал всеобщим: мы устроили ряд концертов по подписке также и в нашей студии, которые собирали аудиторию от двадцати до тридцати человек. Князь и княгиня Полиньяк являлись на все эти концерты, и помню, как однажды князь, придя в восхищение, снял бархатную шапочку и, размахивая ею, закричал:

— Да здравствует Айседора!

Глава девятая

Несмотря на то, что мои танцы были известны и оценены множеством влиятельных людей, мое финансовое положение продолжало зависеть от случая, и мы часто терзались, не зная, чем уплатить за студию. Не имея подчас угля для печи, страдали от холода. И все же, среди этой бедности и лишений, я вспоминаю, как я простаивала часами одна в нашей холодной, мрачной студии, ожидая минуты, когда меня посетит вдохновение и я смогу отобразить себя в движениях.

Однажды, когда я стояла таким образом, нас посетил цветущего вида господин в шубе с дорогим меховым воротником и брильянтовым кольцом. Он сказал:

— Я приехал из Берлина. Мы слышали о ваших танцах босиком. (Можете себе представить, как это определение моего искусства меня возмутило!) Я представитель самого крупного мюзик-холла и приехал, чтобы немедленно предложить вам ангажемент.

Он потирал руки и сиял, словно он принес мне удивительное счастье, но я сухо ответила:

— О, благодарю вас. Я никогда не соглашусь ввести свое искусство в мюзик-холл.

— Но вы не понимаете! — воскликнул он. — Величайшие артисты появляются в нашем холле и получают много денег. Я уже предлагаю вам пятьсот марок за вечер. Впоследствии гонорар увеличится. Вы будете великолепно представлены как «Первая босая танцовщица в мире». Вы, разумеется, согласны?

— Конечно, нет. Конечно, нет, — твердила я гневно. — Ни на каких условиях.

— Но это невозможно. Я не могу принять отрицательного ответа. У меня с собой готовый контракт.

— Нет, — сказала я, — мое искусство не для мюзик-холла. Когда-нибудь я приеду в Берлин и надеюсь там танцевать, но не в холле вместе с акробатами и дрессированными животными. Какой ужас! Нет, ни на каких условиях. Желаю вам всего хорошего, — и прощайте!

Глядя на нашу обстановку и убогую одежду, этот германский импресарио едва верил своим ушам. Он пришел на следующий день, и на третий, и, наконец, предложил мне по тысяче марок за вечер в течение одного месяца. Рассердившись, он назвал меня «Dummes Madchen!»[33]. Я с криком накинулась на него, заявив, что я приехала в Европу осуществить великое возрождение танца, привить сознание красоты человеческого тела, а не танцевать для

развлечения разжиревшей буржуазии.

— Уйдите, пожалуйста! Уйдите!

— Вы отказываетесь от тысячи марок за вечер? — разинул он рот.

— Конечно, — непреклонно ответила я, — и я бы отказалась и от десяти тысяч, от ста тысяч. Я ищу нечто, что вы не понимаете. — И когда он уходил, я добавила: — Когда-нибудь я приеду в Берлин. Я буду танцевать перед соотечественниками Гете и Вагнера, но в театре, который будет их достоин, и, вероятно, больше, чем за тысячу марок.

Мое пророчество сбылось: три года спустя тот же импресарио учтиво принес мне цветы в Оперный театр Кроля, где для меня играл оркестр Берлинской филармонии, а спектакль был продан больше чем за 25 000 марок. Он признал свою ошибку с дружескими словами: «Sie hatten Recht, gnadige Frau. Kusse die Hand!»[34]

Однако пока мы были очень стеснены в средствах. Ни высокая оценка князей, ни моя растущая слава не обеспечивали нас средствами для пропитания.

В нашу студию часто приходила какая-то тщедушная дама, напоминавшая собой египетскую принцессу. Она пела, как волшебница. Я заметила, что в ранние утренние часы под дверь часто просовывались пахнущие фиалкой записочки, вслед за которыми Раймонд тайком исчезал. Так как у него не было в обыкновении совершать прогулки перед завтраком, я сопоставила все факты и сделала из них свое заключение. А затем Раймонд однажды объявил нам, что он ангажирован в качестве кого-то в концертное турне по Америке. Итак, мы с матерью остались одни в Париже. Матери нездоровилось, и мы переехали в маленькую гостиницу на Рю Маргерит, где мать наконец могла заснуть в постели, не продуваемой сквозняком от холодного пола, как в нашей студии, и где она могла правильно принимать пищу, так как мы были на полном пансионе.

За столом пансиона я заметила чету, которая привлекла к себе всеобщее внимание. Она — женщина около тридцати лет, с большими глазами, — таких чудных глаз я никогда не видывала, — мягкие, глубокие, привлекательные глаза, полные огня и в то же время с каким-то выражением кроткой покорности, напоминающим большого ньюфаундлендского дога. У нее были каштановые волосы, обрамлявшие ее лицо. Помню, я подумала, что когда смотришь в ее глаза, то кажется, что входишь в кратер вулкана.

Он — тщедушный, с прекрасным лбом и слишком усталым для такого молодого человека лицом. Обыкновенно их

сопровождало еще третье лицо. Они всегда были настолько поглощены живой беседой, что, казалось, это трио не знает ни одной минуты отдыха или скуки, свойственной обыкновенным людям.

Однажды утром молодая женщина подошла к моему столу и сказала:

— Это — мой друг, Анри Батайль. А это — Жан Лорен, который писал о вашем искусстве, а я — Берти Бэди. Мы бы хотели как-нибудь вечером прийти к вам в студию, если вы согласитесь протанцевать перед нами.

Конечно, меня охватила дрожь восторга. Я никогда не слышала прежде и впоследствии голоса такой теплоты, как голос Берти Бэди. Как я любовалась ее красотой! В те дни, когда женские моды были так неэстетичны, она всегда появлялась одетой в чудесное переливающееся платье в обтяжку, увешанное блестящими цехинами. Однажды я видела ее в таком платье и с волосами, украшенными пурпурными цветами. Она выступала на вечере, где должна была читать стихи Батайля. Я подумала, что, наверное, ни у одного поэта никогда не было более прекрасной музы.

После этой встречи они часто приходили в нашу студию, и однажды Батайль прочел нам тут свои стихи. Таким образом, я, простая юная американская девушка, нашла каким-то таинственным путем ключ, открывший мне сердце и разум представителей интеллектуальных и артистических кругов Парижа, являющихся в наши дни тем же, чем Афины в эпоху расцвета античной Греции.

Я с Раймондом имела обыкновение предпринимать длинные прогулки пешком вокруг Парижа. Во время этих прогулок мы часто попадали в интереснейшие места. Например, как-то мы нашли в округе парка Монсо Китайский музей (так наз. музей Чернуски. — Пер.), собранный эксцентричным французским миллионером.

Во время наших скитаний мы пришли однажды в Трокадеро. Наш взгляд привлек плакат, возвещавший о выступлении в этот день Мунэ-Сюлли в трагедии Софокла «Царь Эдип». Имя Мунэ-Сюлли было нам тогда неизвестно, но нас охватило странное желание увидеть спектакль. Взглянув на цены внизу плаката, мы сопоставили их с содержимым наших карманов. У нас было ровно три франка, а самые дешевые билеты на верхние трибуны равнялись семидесяти пяти сантимам. Это означало остаться без обеда, но мы вскарабкались на места для стояния позади трибун.

Сцена Трокадеро не имела занавеса. Обстановка ее являла собой ту жалкую имитацию, которую иные современники считают

греческим искусством. Появился хор, скверно одетый в тот вид одежды, который некоторые книги по истории костюма описывают как греческий. Из оркестра лилась посредственная музыка, сладкий, пошлый мотив. Мы с Раймондом обменялись взглядами: похоже, потеря нами обеда ничем не оправдывалась и была напрасной жертвой. Но вот из портика слева, представлявшего собой дворец, появилась мужская фигура.

Ах, как мне описать волнение, вызванное первыми звуками его голоса! Я сомневалась, существовал ли такой голос в прославленные дни древности. И, начиная с этого момента, образ Мунэ-Сюлли и голос Мунэ-Сюлли, все усиливаясь, поглотил собой все слова, все пляски и достиг такой необъятной силы, что весь Трокадеро и в высоту и в ширину казался слишком малым для этого гиганта искусства. Мы с Раймондом, затаив дыхание на наших местах на трибуне, то бледнели, то робели, слезы текли у нас из глаз, и когда закончился первый акт, мы смогли лишь обняться в восторженном экстазе.

Начался второй акт, и перед нами развернулась великая трагедия.

Уверенность победоносного молодого царя впервые была поколеблена сомнениями, появились первые признаки беспокойства. Им овладело страстное желание узнать истину любой ценой — наступил наивысший момент действия. Мунэ-Сюлли начал танцевать.

И опять антракт. Я взглянула на Раймонда. Он был бледен, глаза его горели. Мы шатались. Третий акт. Его нельзя описать. Только тот, кто видел его, видел великого Мунэ-Сюлли, может понять наши чувства.

Мы с Раймондом спускались по длинной лестнице так медленно и неохотно, что сторожам наконец пришлось нас выставить. Именно тогда я осознала, что стала свидетелем великого зрелища подлинного искусства. Отныне я знала свой путь. Мы шли пешком домой, пьяные от вдохновения. В продолжение многих недель мы жили под этим впечатлением. Мечтала ли я, что когда-нибудь наступит день и я буду стоять на той же сцене рядом с великим Мунэ-Сюлли?..

* * *

С тех пор как я увидала на Всемирной выставке работы Родена, меня преследовала мысль о его гении. Однажды я проникла в его студию на Рю де л-Юниверсалите.

Роден был небольшого роста, коренастый, сильный, с гладкой

остриженной головой и пышной бородой. Он показал свои работы с простотой истинно великого человека. Иногда он бормотал названия своих статуй, но чувствовалось, что названия значат для него немного. Под конец он взял небольшой кусок глины и сжал его между ладонями. Работая, он тяжело дышал. От него полыхало жаром, как от пылающего горна. В несколько минут он вылепил женскую грудь, которая трепетала под его пальцами.

Он взял меня под руку, нанял извозчика, и мы поехали в мою студию. Там я проворно переоделась в свою тунику и протанцевала перед ним идиллию Теокрита, которую Андрэ Бонье перевел для меня следующими словами:

> Пан любил нимфу Эхо,
> Эхо любила Сатира… — и т. д.

Затем я остановилась, чтобы объяснить ему мою теорию нового танца, но вскоре поняла, что он меня не слушает. Он пристально смотрел на меня сверкающими глазами, а затем, с тем же выражением, которое было на его лице, когда он стоял перед своими работами, подошел ко мне. Его руки заскользили по моей шее, груди, погладили мои плечи и скользнули по бедрам, по обнаженным коленям и ступням. Он начал мять все мое тело, словно оно было из глины. От него исходил жар, опалявший и разжигавший меня. Возникло желание покориться ему всем своим существом, и действительно, я бы так и поступила, если бы не испуг — результат моего нелепого воспитания. Я отступила, набросила платье поверх туники и, придя в замешательство, прогнала его. Как жаль! Как часто я раскаивалась в этом ребяческом ложном понимании, которое лишило меня случая отдать свою девственность самому великому Пану, могучему Родену.

Я встретилась с Роденом лишь спустя два года, когда вернулась из Берлина в Париж. Впоследствии в течение многих лет он был моим другом и учителем.

Совершенно различной, но не менее радостной была встреча с другим великим артистом Эженом Каррьером. Меня привела в его студию жена писателя Кайзера, которая часто жалела нас за наше одиночество и приглашала за свой семейный стол, где ее маленькая дочка, обучавшаяся игре на скрипке, и талантливый сын Луи, ныне широко известный молодой композитор, сидя по вечерам вокруг зажженной лампы, создавали совершенную гармонию. Я заметила на стене причудливый, очаровательный темный портрет. Мадам Кайзер сказала:

— Это мой потрет кисти Каррьера.

Однажды она повела меня в дом Каррьера. Мы взобрались в мастерскую на верхнем этаже, где Каррьера окружали книги, семья и друзья. Великая нежность ко всему была присуща этому человеку. Вся красота, сила, прелесть его картин были непосредственным выражением его возвышенной души.

Спустя многие годы мадам Йорская так описала эту встречу:

«Я прекрасно помню тот день, когда встретила ее в студии Эжена Каррьера. Лицо и имя запали мне в душу. Как всегда, я постучала у дверей Каррьера с бьющимся сердцем. Всегда, приближаясь к этому святилищу нищеты, я делала отчаянное усилие, чтобы заглушить волнение.

Айседора стояла между скромным маэстро и его другом, невозмутимым Мечниковым из Пастеровского института. Она казалась еще более смущенной, чем они оба. Исключая Лилиан Гиш[35], я никогда не встречала американской девушки, которая выглядела бы такой же застенчивой, как в тот день Айседора. Взяв меня за руку, как берут ребенка, чтобы подвести его поближе к чему-либо, чем он мог бы полюбоваться, Эжен Каррьер сказал: «Это Айседора Дункан!» Затем он замолчал, чтобы подчеркнуть это имя.

Внезапно Каррьер, который всегда говорил очень тихо, провозгласил глубоким, громким голосом: «Эта молодая американка произведет революцию в мире!»

Я никогда не могу пройти без слез мимо семейного портрета Каррьера в Люксембурге, вспоминая ту студию, где вскоре я стала частой гостьей. Это одно из самых дорогих воспоминаний моей молодости.

Глава десятая

Соловей Запада однажды сказала мне:

— Какая жалость, моя дорогая, что такую великую артистку, как Сара Бернар, нельзя назвать хорошей женщиной. Но ведь есть Луа Фуллер[36]. Она не только великая артистка, но и непорочная женщина. Ее имя никогда не было связано ни с каким скандалом.

Как-то вечером она привела Луа Фуллер ко мне в студию. Естественно, я протанцевала перед ней и изложила свою теорию, что, впрочем, я делала с каждым. Луа Фуллер выразила свое полное восхищение и, сообщив, что на следующий день уезжает в Берлин, предложила мне присоединиться к ней в Берлине. Она сама была не только великой артисткой, но также импресарио Сада-Якко[37], искусством которой я так восхищалась. Фуллер предложила мне давать концерты в Германии вместе с Сада-Якко. Конечно, я с восторгом согласилась.

Итак, было решено, что я должна буду присоединиться в Берлине к Луа Фуллер.

Перед отъездом пришел проститься Андрэ Бонье. Мы совершили последнее паломничество в Собор Парижской богоматери, и он проводил меня на вокзал. На прощанье он поцеловал меня со своей обычной сдержанностью, но мне показалось, что за стеклами его очков мелькнул проблеск страдания.

В Берлине я застала Луа Фуллер с ее окружением в отеле «Бристоль» в великолепной комнате. Около десятка красивых девушек толпились возле нее, поочередно гладя ей руки и целуя ее. Тут царила атмосфера такой сердечной теплоты, какой я никогда еще не встречала. Щедрость Луа Фуллер не имела границ. Она позвонила и заказала такой обед, что я не могла не задуматься о его цене. Она должна была танцевать в этот вечер в Винтергартене, но, наблюдая за ней, я недоумевала, как она может выполнять ангажемент, — оказалось, она страдала ужасными болями в позвоночнике. Время от времени красивые девушки приносили пузыри со льдом и клали их между ее спиной и спинкой стула.

— Еще один пузырь со льдом, — просила она, — кажется, от них боль проходит.

Вечером мы все расселись в ложе, чтобы посмотреть, как танцует Луа Фуллер. Неужели светлое видение, представшее перед нами, имело что-то общее со страдающей больной, которую мы видели за несколько минут до этого? На наших глазах она превращалась в разноцветные, сияющие орхидеи, в качающийся и

развевающийся морской цветок и, наконец, в спиралевидную лилию… Какой необычайный талант! Ни одной из подражательниц Луа Фуллер никогда не удавалось даже намеком воспроизвести ее талант. На глазах зрителей она превращалась в тысячу цветистых образов. Нельзя было поверить! Нельзя повторить или описать! Я вернулась в гостиницу ослепленная, увлеченная этой чудесной артисткой.

На следующее утро я отправилась в первый раз осматривать Берлин. Поначалу я, столько мечтавшая о Греции и греческом искусстве, мгновенно поддалась впечатлению, производимому архитектурой Берлина.

— Но ведь это Греция! — воскликнула я.

Однако, приглядевшись внимательнее, поняла, что у Берлина нет сходства с Грецией. Эти колонны не были дорическими колоннами, вздымающимися высоко в небеса олимпийской лазури. Они как бы выражали представление о Греции германских педантов, профессоров археологии.

Мы пробыли в Берлине несколько дней, а затем покинули отель «Бристоль», последовав за труппой Луа Фуллер в Лейпциг. Уехали без чемоданов, и даже мой скромный чемодан, привезенный из Парижа., остался вместе со всеми остальными. Я не могла тогда понять, как это случилось с преуспевающей артисткой мюзик-холла. Почему после роскошной жизни с обедами и с шампанским в пышных хоромах отеля мы вынуждены были уехать, оставив все свои вещи. Позднее я выяснила, что причина заключалась в Сада-Якко, чьим администратором являлась Луа Фуллер. Ее постигла неудача, и касса Луи Фуллер была опустошена из-за покрытия убытков.

Между этими нереидами, нимфами, радужными привидениями находилась одна причудливая особа в черном, гладко сшитом платье. Она была застенчива, молчалива, с прекрасно очерченным и при этом энергичным лицом, черными волосами, гладко зачесанными назад, и печальными, умными глазами. Она неизменно держала руки в карманах платья. Интересовалась искусством и особенно красноречиво говорила о таланте Луа Фуллер. Она вращалась вокруг сборища ярко раскрашенных бабочек, как какой-то скарабей древнего Египта. Эта особа сразу привлекла меня к себе, но я почувствовала, что восхищение перед Луа Фуллер целиком владеет ее душевными силами, и, стало быть, для меня у нее ничего не остается…

В Лейпциге я опять-таки каждый вечер отправлялась в театр, чтобы посмотреть из ложи на Луа Фуллер, и исполнялась все большим восторгом перед ее дивным искусством.

Помню, как в Лейпциге однажды меня разбудили в два часа

ночи доносившиеся голоса, и, хотя они были невнятными, я узнала один из них. Он принадлежал рыжеволосой девушке, которую мы называли Нянюшкой, ибо она всегда была готова нежить и нянчить всякого, кто страдал от головной боли. Из обрывков возбужденного шепота я смогла понять, что Нянюшка намерена вернуться в Берлин посоветоваться кое с кем, как раздобыть денег на переезд нас всех в Мюнхен. А затем, в середине ночи, эта рыжеволосая девушка подошла ко мне и, страстно меня поцеловав, сказала пылким тоном:

— Я уезжаю в Берлин.

Все это путешествие должно было продолжаться лишь два часа, и я не могла понять, почему она была так возбуждена и потрясена тем, что покидает нас. Вскоре она вернулась с деньгами на проезд в Мюнхен.

Из Мюнхена мы хотели поехать в Вену. Но опять у нас не хватало денег, и, так как на этот раз казалось совершенно невозможным их раздобыть, я добровольно вызвалась обратиться к американскому консулу за помощью. Я заявила, что он должен снабдить нас билетами в Вену, и только благодаря тому, что мне удалось его убедить, мы наконец приехали туда. В отеле «Бристоль» нас устроили в роскошнейшем помещении, несмотря на то, что мы прибыли без всякого багажа. К этому времени, вопреки моему преклонению перед искусством Луа Фуллер, я стала спрашивать себя, зачем я оставила свою мать одну в Париже и что я, собственно, делаю в этой труппе прекрасных и рехнувшихся дам. До сих пор я оставалась лишь беспомощной и сочувственной зрительницей всех этих драматических событий в пути.

В отеле «Бристоль», в Вене, меня поместили вместе с рыжеволосой девушкой Нянюшкой. Как-то в четыре часа ночи Нянюшка встала, зажгла свечу и, двинувшись к моей постели, объявила:

— Бог велел мне задушить вас!

В свое время я слышала, что если человек сходит с ума, никогда не нужно вступать с ним в пререкания. При всем ужасе моего положения мне удалось достаточно овладеть собой, чтобы ответить:

— Отлично! Но дайте мне сначала помолиться.

— Хорошо, — согласилась она и поставила свечку на столик возле моей постели.

Я выскользнула из постели и, словно за мной гнался дьявол, распахнула дверь, промчалась по длинным коридорам, по широкой лестнице и, ворвавшись в ночном костюме с развевающимися кудрями в контору отельного клерка,

воскликнула:

— Дама рехнулась!

Нянюшка следовала за мной по пятам. На нее бросилось шесть клерков и удерживали ее в тисках, пока не прибыли врачи. Результат их консультаций привел меня в такое замешательство, что я тут же решила телеграфировать матери, чтобы она приехала из Парижа, что она и сделала. Я рассказала ей все подробности обстановки, в которой мне приходилось жить, и мы с матерью решили покинуть Вену.

Случилось так, что, находясь в Вене с Луа Фуллер, я однажды вечером танцевала в Доме искусств перед артистами. Каждый из них пришел с букетом красных роз, и, когда я танцевала «Вакханалию», меня всю забросали этими розами. Среди публики присутствовал венгерский импресарио Александр Гросс. Он подошел ко мне и сказал:

— Если вы пожелаете создать себе будущее, отыщите меня в Будапеште.

Вот почему в ту минуту, когда я, до смерти напуганная окружающей меня обстановкой, стремилась вырваться с матерью из Вены, я, естественно, вспомнила о предложении м-ра Гросса и направилась в Будапешт в надежде на лучшее будущее. Он предложил мне заключить контракт на тридцать вечеров танцев, одной, в театре «Урания».

Это был первый контракт на танцы перед публикой в театре, и я заколебалась.

— Мои танцы, — пыталась я объяснить, — предназначены для избранных артистов, скульпторов, художников, музыкантов, но не для обыкновенной публики.

Но Александр Гросс возразил: артисты самые требовательные зрители, и если им нравятся мои танцы, то публике они понравятся во сто крат больше.

Меня убедили подписать контракт, и пророчество Александра Гросса сбылось. Первый же вечер в театре «Урания» сопровождался неописуемым триумфом. В течение тридцати вечеров я танцевала в Будапеште при аншлаговых сборах.

О, Будапешт! Стоял апрель месяц. Была весна. Однажды вечером, вскоре после первого представления, Александр Гросс пригласил нас поужинать в ресторане, где играли цыганскую музыку. О, цыганская музыка! Она оказалась первым призывом к пробуждению моих юных чувств. Помню, спустя годы я беседовала с Джоном Венемекером. Мы находились в отделе граммофонов его магазина, и он обратил мое внимание на дивную музыку, которую воспроизводили его механизмы. Я сказала ему:

— Из всех этих прекрасно сконструированных произведений искусных изобретателей ни одно не может заменить цыганский напев простого венгерского крестьянина, играющего и поющего на пыльных дорогах Венгрии. Один венгерский цыган стоит всех граммофонов мира.

Глава одиннадцатая

Прекрасный город Будапешт в эту пору был изумительно украшен цветами. За рекой на холмах в каждом саду цвела сирень. А вечерами бурная венгерская публика бешено мне аплодировала, бросая шапки на сцену. Как-то во время одного из выступлений я, вспомнив о впечатлении и настроении, возникшем накануне утром, когда я наблюдала за быстро скользящими, подернутыми рябью водами Дуная, написала записку дирижеру оркестра и в конце представления сымпровизировала «Голубой Дунай» Штрауса. Эффект был сродни электрическому заряду. Публика вскочила на ноги, охваченная порывом восторга, и мне пришлось многократно повторять вальс, прежде чем зрители перестали походить на толпу сумасшедших.

В этот вечер среди тех, кто громко вызывал меня на бис, находился молодой венгр, которому суждено было превратить целомудренную нимфу, какой я была, в вакханку. Все способствовало этому. Весна, нежные лунные ночи, благоухание, носившееся в воздухе, отяжелевшем от запаха сирени. Необузданный энтузиазм зрителей и первые ужины в обществе совершенно безмятежных людей: музыка цыган, венгерский гуляш и крепкие венгерские вина — в самом деле, впервые в своей жизни я была сыта и возбуждена изобилием пищи, — все приводило меня к новому сознанию, что мое тело есть еще и нечто иное, нежели только инструмент для выражения музыки.

Как-то днем в дружеской компании за стаканом токайского я столкнулась взглядом с большими черными глазами, сверкавшими таким безграничным поклонением и такой венгерской страстью, что в одном взгляде таился весь смысл весны в Будапеште. Человек, который смотрел на меня, был высок, великолепно сложен, его голову покрывали черные волосы — он вполне мог бы позировать в качестве Давида для самого Микеланджело.

С первого же взгляда мы уже были в объятиях друг друга, и не было силы на земле, которая могла бы этому помешать.

Он передал мне небольшой кусок бумаги, на котором было написано: «Ложа в Королевский национальный театр». В этот вечер мы с матерью пошли, чтобы увидать его в роли Ромео. Он тогда уже был прекрасным актером, а со временем стал величайшим актером Венгрии. Исполнение роли Ромео завершило его победу надо мной. После спектакля я зашла к нему в уборную. Вся компания следила за мной с улыбками любопытства. Казалось, они все уже знали и были рады. Лишь

одна из актрис вовсе не казалась довольной. Он проводил мою мать и меня в гостиницу, где мы перекусили, ведь актеры никогда не обедают перед спектаклем.

Затем, когда мать решила, что я сплю, я вернулась и встретилась со своим Ромео в гостиной нашего помещения, отделенной от спальни длинным коридором. Там он продекламировал передо мной, сцену за сценой, всю роль Ромео, пока рассвет не озарил окно.

Я смотрела и слушала с упоением. Время от времени я даже отваживалась подавать ему реплику или делать жест, а в сцене перед монахом мы оба преклонили колени и поклялись в верности до гроба.

О молодость, весна, Будапешт и Ромео! Когда я вспоминаю вас, мне кажется, что все произошло недавно — прошлой ночью.

Однажды вечером, после окончания наших спектаклей, мы зашли в гостиную без ведома матери, полагавшей, что я мирно сплю. Сначала Ромео довольствовался чтением своей роли и беседой о своем искусстве, театре, и я чувствовала себя вполне счастливой, слушая его, но постепенно заметила, как он волнуется, временами казалось, что он совершенно утрачивал дар речи.

Наконец, потеряв всякое самообладание, он внес меня в комнату. В испуге и в то же время в упоении я поняла, что все свершилось. Признаюсь, моим первым впечатлением был ужасный испуг.

Утром, на рассвете, мы вышли из гостиницы и, наняв запоздавшего извозчика, поехали на много миль прочь в деревню; остановились в лачуге крестьянина, в которой его жена предоставила нам комнату со старомодной кроватью и балдахином. Весь этот день мы оставались в деревне. Ромео несколько раз успокаивал меня и осушал мои слезы, когда я начинала плакать.

Боюсь, что в тот вечер я показала публике очень слабое исполнение, так как чувствовала себя очень несчастной. Однако когда по окончании его я встретилась в гостиной с Ромео, он был в состоянии такой радости и гордости, что я была вознаграждена за все мои страдания.

У Ромео был прекрасный голос, и он пел мне песни своей страны и цыганские песни, объясняя их смысл. Однажды вечером, когда Александр Гросс устроил мой парадный спектакль в Будапештском оперном театре, у меня возникла мысль после программы из музыки Глюка вывести на сцену простой венгерский оркестр из цыган и протанцевать под цыганские песни. Одна из них звучала, как песня любви, мне запомнились ее

слова:

В мире есть молодая девушка,
Милый голубь мой.
Любит, видно, меня господь,
Если он дал мне ее.

Неясный мотив, полный страсти, желания, слез, преклонения. Я танцевала с таким воодушевлением, что вызвала слезы у многочисленной публики, а закончила маршем Раковского, который я протанцевала в красной тунике как революционный гимн героям Венгрии.

Парадный спектакль заключил сезон в Будапеште, и на следующий день мы с Ромео убежали на несколько дней в деревню, поселившись в крестьянской лачуге. Здесь мы впервые познали наслаждение спать всю ночь в объятиях друг друга, и я испытала непревзойденную радость, проснувшись на рассвете, увидеть, что мои волосы запутались в его черных душистых кудрях, и чувствовать вокруг своего тела его руки. После возвращения в Будапешт первым облаком, омрачившим наше блаженство, было сокрушение моей матери. Элизабет, которая вернулась из Нью-Йорка, считала, что я совершила преступление. Душевное беспокойство их обеих было настолько невыносимо, что я, дабы отвлечься, убедила их предпринять небольшую поездку по Тиролю.

Александр Гросс организовал мое турне по Венгрии. Я давала спектакли во многих городах, включая Зибенкирхен, где на меня произвел большое впечатление рассказ о семерых повешенных революционных генералах. На большом открытом поле за городом я сочинила марш в честь этих генералов на героическую и мрачную музыку Листа.

В течение всей поездки во всех маленьких венгерских городках публика встречала меня овациями. В каждом из них меня ожидала карета с белыми лошадьми в упряжке, наполненная белыми цветами. Под крики приветствий меня, одетую во все белое, провозили через весь город. Но, несмотря на восторги, которые вызывало мое искусство, и на лесть публики, я бесконечно страдала от тоски по Ромео. Я чувствовала, что отдала бы весь этот успех и даже свое искусство за одну минуту, вновь проведенную в его объятиях, я томилась в ожидании того дня, когда снова вернусь в Будапешт. Наконец этот день наступил. Ромео с пылкой радостью встретил меня на вокзале, но я заметила нем какую-то странную перемену, позже он рассказал мне, что репетирует роль Марка Антония и дебютирует в ней.

Неужели же перемена роли так повлияла на его артистический, сильный темперамент? Не знаю, но ясно одно — первая наивная страсть и любовь Ромео изменились. Он говорил о нашей женитьбе, словно она являлась уже окончательно решенным делом, и даже повел меня смотреть квартиры, чтобы выбрать ту, в которой мы поселимся.

— Что станем мы делать, живя в Будапеште? — допытывалась я.

— Как, — ответил он, — у тебя каждый вечер будет ложа, из которой ты будешь смотреть на мою игру, а затем ты научишься подавать мне все мои реплики и помогать мне при разучивании.

Он прочел мне роль Марка Антония, — сейчас все его интересы сосредоточивались на римской черни, а я, его Джульетта, уже оставалась в стороне.

Однажды, во время долгой прогулки по деревне, сидя возле скирды сена, он наконец спросил меня, не думаю ли я, что поступлю правильнее, если продолжу свою карьеру, а его предоставлю самому себе. Это неточно его слова, но таков был их смысл. Я до сих пор помню скирду сена, расстилавшееся перед нами поле и холодный озноб, пронзивший мою грудь. В этот же день я подписала контракт с Александром Гроссом на Вену, Берлин и все города Германии.

Я видела дебют Ромео в роли Марка Антония. Последнее, что я запомнила, — ликование зрительного зала, а я сидела в ложе, глотая слезы, словно груды битого стекла. На следующий день я уехала в Вену. Ромео уже исчез. Я попрощалась с Марком Антонием, который казался настолько суровым и озабоченным, что путешествие из Будапешта в Вену было для меня самым горестным и печальным, какое я когда-либо испытала. Вся радость, казалось, внезапно покинула вселенную.

В Вене я заболела, и Александр Гросс поместил меня в клинику.

Я провела несколько недель в состоянии крайнего упадка и в ужасных страданиях. Приехал Ромео. Он даже устроился на койке в моей комнате, был нежен и внимателен, но однажды, проснувшись на рассвете и увидав лицо сиделки — закутанной в черное католической монахини, отделяющее меня от моего Ромео, спавшего на койке у противоположной стены, я услыхала погребальный звон над нашей любовью.

Выздоравливала я медленно, и Александр Гросс отвез меня на поправку во Франценсбад. Я была вялой и грустной, не проявляя интереса ни к прекрасной местности, ни к окружавшим меня добрым друзьям. Приехавшая жена Гросса ласково ухаживала за мной в течение бессонных ночей. Вероятно, на мое

счастье, дорогие доктора и сиделки истощили счет в банке, и Гросс вынужден был организовать мои концерты во Франценсбаде, Мариенбаде и Карлсбаде.

Итак, я снова открыла свой чемодан и вытащила танцевальные туники. Помню, как разразилась слезами, целуя мою короткую красную тунику, в которой я танцевала все свои революционные танцы, и поклялась никогда больше не покидать искусства ради любви. К этому времени мое имя стало в стране магическим; вспоминаю, как однажды вечером, когда я обедала со своим директором и его женой, перед зеркальным окном ресторана сгрудилась такая толпа, что в конце концов, к отчаянию управляющего гостиницей, она разбила огромное окно.

Скорбь, муку и разочарование любви я перенесла в свое искусство. Я создала историю Ифигении, ее прощание с жизнью на алтаре смерти. Наконец, Александр Гросс подготовил все для моего выступления в Мюнхене, где я встретилась с матерью и Элизабет. Они были в восторге, увидав меня без Ромео, но нашли, что я переменилась и стала грустной.

В эти дни вся жизнь Мюнхена сосредоточивалась вокруг Дома искусств, где группа таких мастеров, как Карлбах, Лембах, Штук[38], и других собиралась каждый вечер, чтобы насытиться прекрасным мюнхенским пивом и потолковать о философии и искусстве. Гросс захотел устроить мой дебют в Доме искусств. Лембах и Карлбах были согласны; лишь Штук утверждал, что танцы не соответствуют храму искусства, подобному мюнхенскому Дому искусств. Я направилась к Штуку на дом, чтобы убедить его в достоинствах своего искусства. Сняв в его студии платье и надев тунику, я протанцевала перед ним, а затем четыре часа без перерыва беседовала с ним о возможностях танца как искусства. Позже он часто рассказывал своим друзьям, что никогда в своей жизни не был так удивлен. Он говорил, что чувствовал, будто внезапно явилась дриада Олимпа. Он дал свое согласие, и мой дебют в мюнхенском Доме искусств стал большим артистическим событием и сенсацией, каких город не видел уже много лет.

Затем я танцевала в Каймзаале. Студенты просто сходили с ума. Каждый вечер они выпрягали лошадей из моей кареты и везли меня по улицам, распевая свои студенческие песни и прыгая по обеим сторонам с зажженными факелами. Часто, в продолжение нескольких часов, они простаивали под окном гостиницы и пели, пока я не бросала им цветы и свои носовые платки, которые они раздирали на части, причем каждый прикреплял свою долю к шапке.

Как-то вечером они отнесли меня в свое студенческое кафе,

где я танцевала на столах, переходя с одного на другой. Всю ночь они пели, и часто раздавался припев:

— Айседора, Айседора, ах, как жизнь хороша!

Сообщение об этой ночи, появившееся в прессе, возмутило некоторых благонравных людей, но в действительности она была невиннейшей «оргией», невзирая даже на тот факт, что студенты разодрали мое платье и шаль на полосы, которыми обвязали свои шапки, когда на рассвете уносили меня домой.

Мюнхен в то время являлся настоящим центром артистической и интеллектуальной жизни. Улицы были переполнены студентами. Каждая молодая девушка несла под мышкой портфель либо сверток нот. Каждая магазинная витрина была настоящей сокровищницей редких книг, старинных гравюр и восхитительных новых изданий. Все это, в сочетании с чудесными коллекциями музеев, с посещениями студий седовласого Мейстера, Лембаха, частыми приездами таких метров философии, как Карвельгорн и других, побудило меня вернуться к своему прерванному интеллектуальному развитию. Я приступила к изучению немецкого языка, к чтению в подлинниках Шопенгауэра, Канта, и вскоре я могла с огромным наслаждением следить за долгими дискуссиями артистов, философов и музыкантов, собиравшихся каждый вечер в Доме искусств. Я научилась также пить отличное мюнхенское пиво, словом, недавнее потрясение чувств немного сгладилось.

Однажды вечером на специальном парадном представлении для артистов в Доме искусств я обратила внимание на силуэт человека, сидевшего в первом ряду и аплодировавшего. Он напомнил мне внешне великого мастера, произведения которого тогда впервые мне открылись. Тот же выдающийся лоб, выступающий нос. Только рот казался мягче и выражал меньшую силу. После представления я узнала, что это был Зигфрид Вагнер, сын Рихарда Вагнера. Он присоединился к нашему кружку, и я имела удовольствие в первый раз встретить и восхищаться человеком, который с того времени вошел в число самых дорогих мне друзей.

Я тогда в первый раз читала Шопенгауэра, и меня увлекало философское освещение отношения музыки к воле, явившееся для меня откровением.

Замечательные творения итальянских мастеров, находившиеся в мюнхенских музеях, также явились для меня новостью, и, сообразив, как близко мы от границы с Италией, моя мать, Элизабет и я, следуя непреодолимому порыву, сели в поезд, направлявшийся во Флоренцию.

Глава двенадцатая

Я никогда не забуду изумительных впечатлений от переезда через Тироль и спуска по солнечной стороне гор на Умбрийскую равнину.

Мы вышли с поезда во Флоренции и провели там несколько недель, блуждая по галереям, садам, оливковым рощам. На этот раз мое воображение пленил Боттичелли. Я просидела несколько дней перед знаменитой картиной «Примавера». Вдохновившись ею, я создала танец, в котором старалась воплотить нежные побуждения, внушаемые ею.

Я думала: «Танцуя эту картину, я пошлю всем весть о любви, о весне, о рождении жизни, о том, с чем я познакомилась в таких страданиях».

Таковы были мои размышления перед «Примаверой» Боттичелли, которую я впоследствии пыталась претворить в танец, названный мной «Танцем будущего».

Во Флоренции, в залах старого дворца, я танцевала перед артистическим обществом города под музыку Монтеверди[39] и некоторые мотивы ранних неизвестных мастеров.

Благодаря нашему обычному беззаботному пренебрежению к практическим вопросам деньги опять исчерпались, и мы оказались вынужденными телеграфировать Александру Гроссу, чтобы он выслал нам необходимую сумму на переезд к нему в Берлин, где он готовил мой дебют.

Приехав в Берлин, я пришла в замешательство оттого, что все улицы представляли собой сплошной сверкающий плакат с моим именем, заметила я и объявление о моем дебюте в Оперном театре Кроля в сопровождении оркестра филармонии. Александр Гросс доставил нас в прекрасные апартаменты отеля «Бристоль» на Унтер-ден-Линден, куда явилась вся германская пресса в ожидании моего первого интервью. После мюнхенских размышлений и флорентийских опытов я находилась в такой задумчивости, что крайне удивила этих представителей прессы, изложив им на своем американо-немецком языке наивное и пышное толкование искусства танца как «великого, серьезного искусства», которое принесет всем остальным видам искусства новое пробуждение.

Совершенно иначе слушали меня немецкие журналисты, чем те, которым я впоследствии объясняла свои теории в Америке. Они слушали меня с почтительнейшим вниманием и интересом, и на следующий день в германских газетах появились длинные статьи, придававшие моим танцам серьезное, философское

значение.

Александр Гросс был отважным пионером в своем деле. Он рискнул всем своим капиталом ради моего концерта в Берлине. Он не пожалел никаких расходов на рекламу, наняв лучший оперный театр и прекрасного дирижера. Поэтому если бы при поднятии занавеса, открывшего скромные голубые драпировки, служившие декорациями, и одинокую тонкую фигурку на огромной сцене, мне не удалось бы в первую же минуту вызвать аплодисменты пришедшей в недоумение берлинской публики, это означало бы для Гросса полное разорение. Но он был хорошим пророком: я совершила то, что он предсказывал.

Я взяла Берлин штурмом. После двухчасового выступления публика отказалась покинуть оперный театр, требуя бесконечных повторений, и под конец в порыве исступления зрители взобрались на рампу. Сотни молодых студентов в самом деле вскарабкались на сцену, и мне грозила опасность быть раздавленной насмерть слишком пылким поклонением. В течение многих последующих вечеров они выпрягали лошадей из моей кареты и с триумфом везли меня по улицам к моей гостинице.

В один из таких вечеров неожиданно вернулся из Америки Раймонд. Он слишком истосковался за нами и заявил, что больше не может жить отдельно. Затем мы воскресили проект, который мы уже давно лелеяли: съездить в Афины. Я чувствовала, что нахожусь лишь у порога изучения своего искусства, и после непродолжительного сезона в Берлине настояла, несмотря на просьбы и сетования Александра Гросса, на отъезде из Германии.

С сияющими глазами и бьющимися сердцами мы вновь сели в поезд, направляющийся в Италию, чтобы через Венецию совместно совершить долгожданную поездку в Афины.

Мы остановились в Венеции на несколько недель, осматривая церкви и галереи. Но, естественно, в это время Венеция не могла нам должным образом понравиться.

Я горела от нетерпения сесть на пароход и направиться в Афины. Раймонд решил, что наша поездка в Грецию должна проходить как можно примитивнее. Поэтому, отказавшись от больших, комфортабельных пассажирских пароходов, мы сели на борт небольшого почтового судна, совершавшего рейсы между Бриндизи и Санта Маурой. В Санта Мауре мы сошли на берег, ибо тут было местоположение античной Итаки, а также скала, с которой Сафо в отчаянии бросилась в море.

В Санта Мауре на рассвете мы сели на небольшое парусное судно с экипажем, состоявшим лишь из двух человек, и знойным июльским днем пересекли синее Ионическое море, вошли в Амбрасианский залив и высадились в маленьком городке

Карвазарасе.

Нет более изменчивого моря, чем Ионическое. Мы рисковали жизнью, предпринимая путешествие на утлом судне.

К моменту нашей высадки обитатели городка сбежались к берегу. Первая высадка Христофора Колумба в Америке не вызвала такого удивления среди туземцев. Они смотрели с немым любопытством, как мы с Раймондом преклонили колени и поцеловали землю.

Действительно, мы почти обезумели от радости.

В Карвазарасе не было ни гостиницы, ни железной дороги.

Эту ночь мы провели в одной комнате — единственной, которую нам смогли предоставить на постоялом дворе. Спали не слишком много. Во-первых, потому, что Раймонд всю ночь рассуждал о мудрости Сократа, а во-вторых, потому, что кровати состояли из голых досок, а Элладу населяло много тысяч крошечных обитателей, которые хотели попировать нами.

На рассвете мы выехали из деревни. Мать сидела в карете, в которой находились наших четыре чемодана, а мы эскортировали ее, успев нарезать палок из лаврового дерева. Вся деревня сопровождала нас добрую часть пути. Мы проехали по древней дороге, которую две тысячи лет тому назад протоптал Филипп Македонский со своей армией.

К вечеру подъехали к древнему городу Стратосу, построенному на трех холмах. Мы впервые очутились среди греческих развалин. Вид дорических колонн поверг нас в экстаз.

На следующее утро мы спустились в дилижансе к. Миссолонгам, где отдали должную дань Байрону, погребенному под руинами этого героического города, почва которого пропитана кровью мучеников.

Город все еще целиком сохраняет трагическую атмосферу знаменитой картины Делакруа «Вылазка из Миссолонгов», когда почти все жители — мужчины, женщины и дети — были перебиты при своей отчаянной попытке прорвать турецкие линии.

С тяжелым сердцем покинули мы Миссолонги, наблюдая, как в угасающем свете город убегал от маленького парохода, направлявшегося в Патрас.

Прибыв в Патрас, мы не могли решить, ехать ли нам в Олимпию или в Афины, но великое, страстное нетерпение поскорее увидать Парфенон, наконец, восторжествовало, и мы сели в поезд на Афины. Поезд мчался через сверкающую Элладу. На минуту мы мельком увидали Олимп со снежной вершиной. Наш восторг не знал пределов. На маленьких станциях нас с удивлением разглядывали крестьяне. Они, вероятно, считали, что мы пьяны или помешаны.

В тот же вечер мы прибыли в Афины. Утренняя заря застала нас подымающимися по ступеням храма. Когда мы всходили, мне казалось, что вся жизнь, которую я знала вплоть до этой минуты, отпала, как шутовской наряд.

Перешагнув последнюю ступеньку Пропилеев, увидели храм, сиявший в утреннем свете. Мы хранили молчание, ибо перед нами была красота поистине могущественная. Красота эта вселила странный ужас в наши сердца. В течение нескольких часов мы пребывали в созерцании.

Когда разглядывали Парфенон, нам казалось, что это и есть само совершенство, и спрашивали себя, зачем нам покидать Грецию, если мы нашли в Афинах все, что удовлетворяет наше эстетическое чувство. Может показаться удивительным, что, после выпавшего мне публичного успеха и пламенной интермедии в Будапеште, я не чувствовала никакого влечения вернуться обратно ни к тому, ни к другому. Суть заключается в том, что, пускаясь в это паломничество, я не жаждала ни славы, ни стяжания денег.

Итак, мы решили, что семья Дункан должна остаться навеки в Афинах и выстроить здесь храм, который подходил бы нашему характеру.

После моих берлинских концертов в банке хранилась некоторая сумма, казавшаяся мне неистощимой. Мы принялись за поиски подходящего для нашего дома места. Единственно, кто остался не совсем доволен, был Августин. Он долго не решался высказаться, но наконец признался, что чувствует себя очень одиноким без жены и ребенка. Мы приняли его слова как проявление малодушия, но, поскольку он уже был женат и имел ребенка, ничего не оставалось, как послать за ними.

Его жена приехала с маленькой девочкой. Она была одета по моде и носила ботинки на французских каблуках. Мы косо глядели на ее каблуки, так как перешли к сандалиям, чтобы не осквернять белого мраморного пола Парфенона. Но она энергично возражала против ношения сандалий. Что касается нас, то мы еще раньше решили, что даже мои платья Директории и короткие штаны, отложные воротники и развевающиеся галстуки Раймонда являются дегенеративной одеждой, и мы должны вернуться к тунике античных греков, что и сделали, к вящему изумлению современных греков.

Обзаводясь туникой, хламидой, пеплумом и надев на волосы повязку, мы приступили к поискам места для нашего храма. Исследовали Колонос, Фалерон и все долины Аттики, но не могли найти ничего, что оказалось бы достойным нашего дома. Наконец однажды, когда мы пересекали какое-то возвышение почвы,

Раймонд внезапно положил свою палку на землю и воскликнул:

— Взгляни, мы находимся на одном уровне с Акрополем.

И действительно, поглядев на запад, мы увидали храм Афины в поразительной от нас близости, хотя на самом деле мы находились от него на расстоянии четырех километров.

Но с местом возникли затруднения. Прежде всего никто не знал, кому принадлежит земля. Оно было расположено очень далеко от Афин и посещалось лишь пастухами. Мы потеряли много времени, прежде чем выяснили, что земля принадлежит пяти семьям крестьян, владеющим ею свыше ста лет. После долгих поисков мы нашли старшин этих пяти семейств и спросили их, не продадут ли они землю. Это вызвало большое удивление у крестьян, ибо никто никогда не выказывал никакого интереса к этой земле. Она находилась далеко от Афин и представляла собой скалистую почву, производящую лишь чертополох. Кроме того, нигде поблизости горы не было воды. До этого времени никто не полагал, что эта земля имеет какую-нибудь ценность. Крестьяне, владевшие ею, собрались вместе и решили, что земля эта бесценна. Они запросили совершенно непомерную сумму. Тем не менее, семья Дункан пришла к решению купить эту местность, и мы продолжали в таком направлении вести переговоры с крестьянами. Пригласили пять семей на обед, состоявший из ягненка, зажаренного на вертеле, и прочих заманчивых съестных вещей, а также приготовили много раки — туземного коньяку. Во время пиршества, с помощью одного мелкого афинского адвоката, мы подсунули купчую, на которой крестьяне, не умея писать, поставили кресты. Хотя мы и заплатили за землю дороговато, все же считали, что наш обед увенчался большим успехом. Бесплодный пригорок, находившийся на одном уровне с Акрополем и известный с древних времен под названием Копаноса, отныне принадлежал семейству Дункан.

Следующим шагом было раздобыть бумагу и чертежные принадлежности, составить план дома. Раймонд отыскал точную модель того, к чему мы стремились, в плане дворца Агамемнона. Он пренебрег помощью архитекторов и сам нанял рабочих и перевозчиков камня. Мы решили, что единственным камнем, достойным нашего дома, является камень, добытый на горе Пантелик, из сверкающих склонов которой были вытесаны великолепные колонны Парфенона.

Наконец наступил многозначительный день, когда должен быть заложен первый камень нашего дома. Мы чувствовали, что это великое событие необходимо соответственно отпраздновать достойной церемонией. Никто из нас не имел церковного склада

мыслей, все мы совершенно освободились от него. Все же сочли более красивым и подходящим, чтобы первый камень был заложен по греческому обычаю с церемонией, которую проведет греческий священник. Мы пригласили принять в ней участие все крестьянство округа.

Явился старый священник, одетый в черную рясу, в черной шляпе, с черным покрывалом, развевающимся с ее широкой тульи. Священник попросил у нас черного петуха, чтобы принести его в жертву. Этот обряд перешел от византийских священников со времен храма Аполлона. С некоторым трудом мы нашли черного петуха и предоставили его священнику, вооружившемуся жертвенным ножом. Тем временем из всех частей округа прибыли толпы крестьян. Вдобавок из Афин явилось несколько аристократических лиц. К заходу солнца в Копаносе собралась огромная толпа.

Старый священник с впечатляющей торжественностью приступил к церемонии. Он попросил нас указать точную границу фундамента дома. Мы исполнили его просьбу, протанцевав вдоль нее по четырехугольнику, который Раймонд ранее начертил на земле. Затем священник отыскал ближайший к дому камень и как раз в ту минуту, когда заходило огромное, красное солнце, перерезал горло черному петуху, и его алая кровь брызнула струей на камень. Держа в одной руке нож, а в другой зарезанную птицу, священник торжественно прошелся три раза вокруг четырехугольника фасада. Затем последовали молитва и чары колдовства. Он благословил все камни дома и, спросив наши имена, прочел молитву, в которой мы часто улавливали имена Айседоры Дункан (моей матери), Августина, Раймонда, Элизабет и младшей Айседоры (мое собственное). Многократно он увещевал нас жить благочестиво и мирно в этом доме. Он молился, чтобы наши потомки также жили благочестиво и мирно в этом доме. Когда он покончил с молитвой, появились музыканты со своими местными примитивными инструментами. Вскрыли большие бочки вина и раки. На горе разожгли бушующий праздничный костер, и мы вместе с нашими соседями — крестьянами танцевали, пили и веселились всю ночь напролет.

Мы решили навсегда остаться в Греции. Мало того, мы поклялись, что никто из нас больше не вступит в брак. Состоящие уже в браке в нем остаются.

Мы приняли жену Августина с худо скрытой сдержанностью. А для себя выработали правила нашей жизни в Копаносе. Было решено вставать с восходом солнца и приветствовать восходящее солнце песнями и танцами. Затем подкрепляемся скромной чашей козьего молока. Утро посвящается обучению жителей

танцам и пению. Их надо заставить отказаться от ужасных современных костюмов. Затем после легкого завтрака из сырых овощей, ибо решили отказаться от мяса и стать вегетарианцами, мы проводим дни в размышлении, а вечера отдаем языческим церемониям под соответствующую музыку.

Постройка в Копаносе началась. Стены дворца Агамемнона имели в толщину около двух футов, следовательно, стены Копаноса также должны были иметь в толщину два фута. Лишь когда уже воздвигали стены, я сообразила, сколько понадобится красного камня из Пантелика, а также сколько будет стоить каждая телега. Несколько дней спустя мы решили расположиться на месте лагерем на ночь. И тут внезапно и явственно в наше сознание проникла мысль, что ведь на многие мили вокруг не достать ни единой капли воды. Мы взглянули на вершины Гиметта, и перед нашими глазами предстало множество источников и быстрых речек. Перевели взгляд на Пантикул, из вечных снегов которого по склону горы изливались водопады. Увы! Мы ясно поняли, что Копаное совершенно безводен и сух.

Но Раймонд, ничуть не устрашившись, нанял новых рабочих и заставил их рыть артезианский колодец. Во время земляных работ Раймонд натыкался на различные останки людей и настаивал на том, что на этих высотах находилась некогда античная деревня, но у меня были свои основания полагать, что тут было лишь кладбище, ибо чем глубже становился артезианский колодец, тем почва становилась все суше и суше. Наконец после нескольких недель бесплодных поисков воды на Копаносе мы вернулись в Афины, чтобы спросить совета у пророческих духов, которые, как мы верили, населяли Акрополь. Мы запаслись специальным разрешением от города и благодаря ему могли отправляться туда в лунные вечера. У нас вошло в привычку сидеть в амфитеатре Диониса, где Августин декламировал отрывки из греческих трагедий, а мы часто танцевали.

Наша семья, наша жизнь нас совершенно удовлетворяли. Мы совсем не смешивались с жителями Афин. Даже когда однажды услыхали от крестьян, что греческий король выехал осмотреть наш храм, то остались равнодушными. Ибо жили в царстве других королей — Агамемнона, Менелая и Приама!

Глава тринадцатая

Однажды, сидя лунным вечером в театре Диониса, мы услыхали пронзительный детский голос. Внезапно к нему присоединился второй голос и третий. Они пели какие-то старинные местные греческие песни. Мы сидели очарованные.

На следующий вечер концерт повторился. Мы раздали множество драхм, благодаря чему на третий вечер хор увеличился, и постепенно афинские мальчишки создали себе сборное место, являясь в лунные вечера в театр Диониса, чтобы петь нам.

Тогда у нас зародилась мысль воскресить подлинный греческий хор из этих греческих мальчиков. Каждый вечер мы проводили состязания в театре Диониса и давали призы тем, кто умел исполнить наиболее древние греческие песни. Мы также завербовали на службу профессора византийской музыки, юного семинариста. Таким путем мы образовали хор из десяти мальчиков, обладавших самыми красивыми голосами во всех Афинах.

Изучая Акрополь, строя Копаное и танцуя хоры Эсхила, мы совершенно погрузились в свою работу. За исключением случайных экскурсий в отдаленные деревни, мы ничего больше не делали.

Каждая заря заставала нас всходящими на Пропилеи. Мы приходили знакомиться с историей холма последовательно по эпохам. Приносили с собой книги и исследовали историю каждого камня, изучали теории выдающихся археологов о происхождении и значении некоторых знаков и предзнаменований.

После состязания двух сотен оборванных афинских мальчишек мы с помощью юного семинариста отобрали десятерых с совершенно божественными голосами и, с его же помощью, начали приучать их петь хоры. В Афинской библиотеке мы отыскали в различных книгах, посвященных античной греческой музыке, гармонические гимны Зевсу, богу-отцу, громовержцу и защитнику. Мы жили в состоянии лихорадочного возбуждения. Наконец-то, по прошествии двух тысяч лет, мы могли принести миру эти утраченные сокровища.

Отель «Д'Англетер», где мы остановились, великодушно предоставил в мое распоряжение большую залу, где я могла ежедневно работать. Я проводила целые часы, приспособляя к хору движения и жесты, внушенные ритмом музыки греческой церкви. Мы были настолько увлечены, что не замечали в этом

комического смешения различных религий.

Афины находились в то время в состоянии революции. На этот раз причиной революции явилось различие мнений королевского дома и студентов о том, какое наречие греческого языка должно применяться на сцене — античное или современное. Толпы студентов дефилировали по улицам со знаменами в честь древнегреческого языка. В день нашего возвращения из Копаноса они окружили нашу карету и, приветствуя одобрениями наши эллинские туники, попросили примкнуть к их демонстрации в честь античной Эллады, на что мы охотно согласились. Благодаря этой встрече студенты устроили мой концерт в Общественном театре. Десять греческих мальчиков и византийский семинарист, все наряженные в разноцветные развевающиеся туники, пели хоры Эсхила на древнегреческом наречии, а я танцевала. Это вызвало у студентов полный восторг.

Король Георг, услыхав про эту манифестацию, выразил желание, чтоб представление повторилось в королевском театре. Но представлению, данному в королевском театре перед королевской фамилией и всеми посольствами Афин, недоставало огня и энтузиазма, которые сопровождали его в народном театре перед студентами. Аплодисменты рук в белых перчатках не воодушевляли. Когда король Георг пришел за кулисы в мою уборную и попросил меня посетить королеву в ее ложе, я осознавала, что хотя они и вполне, казалось, мне рады, у них нет любви к моему искусству и понимания его.

Эти события совпали с тем, что я вдруг обнаружила: наш счет в банке иссяк. Помню, как ночью после представления в королевском театре я не могла заснуть и на рассвете отправилась одна в Акрополь. Я вошла в театр Диониса и начала танцевать. Я чувствовала, что это в последний раз. Затем я поднялась по Пропилеям и остановилась перед Парфеноном. Внезапно мне показалось, словно все наши мечты рассеялись, как прекрасная химера, и мы ничем не отличаемся, да никогда и не могли бы отличаться, от современников. Нам не свойственны чувства древних греков. Этот храм Афины, перед которым я стояла, знал в те давние времена иные краски. В конце концов, я была лишь помесью шотландки, ирландца и американки, быть может, связанная каким-либо родством с краснокожими индейцами больше, чем с греками. Прекрасная иллюзия, тянувшаяся весь год, проведенный в Элладе, внезапно, казалось, рухнула. Звуки византийской греческой музыки становились все слабее и слабее, и вместо них мой слух заполняли мощные аккорды смерти Изольды.

Спустя три дня, среди огромной толпы энтузиастов и плачущих родителей десяти греческих мальчиков, мы сели в Афинах на поезд, идущий в Вену.

Итак, мы покинули Элладу и утром прибыли в Вену с нашим хором из греческих мальчиков и их византийским духовным профессором.

Глава четырнадцатая

Наше желание воскресить греческое хоровое пение и античный трагический танец было, безусловно, очень похвальным и в то же время маловыполнимым. Но после финансовых успехов, достигнутых мною в Будапеште и Берлине, я не испытывала никакого желания совершить кругосветное турне и истратила все заработанные деньги на постройку греческого храма и возвращение к жизни греческого хора. Оглядываясь назад, я вижу, что наши юношеские стремления были действительно любопытны.

Итак, однажды утром мы прибыли в Вену и поднесли удивленной австрийской публике хоровое пение «Просителей» Эсхила в исполнении наших греческих мальчиков, под которое я танцевала.

Вена находится всего лишь в четырех часах пути от Будапешта, но необыкновенным может показаться то, что год, проведенный возле Парфенона, настолько разлучил меня с Будапештом, что я не находила ничего странного в том, что Ромео ни разу не предпринял этой четырехчасовой поездки, чтобы повидаться со мной. В самом деле, я и не считала, что он должен был это сделать. Я была совершенно увлечена греческим хором, и моя приверженность к нему поглощала всю мою энергию и эмоции. Говоря по правде, я никогда и не вспоминала о Ромео. В то время всем моим существом овладела дружба, возникшая у меня с человеком, обладавшим незаурядным интеллектом, — Германом Баром[40].

Герман Бар видел мои танцы два года тому назад, когда я выступала в венском Доме искусств перед артистами. После моего возвращения в Вену с хором греческих мальчиков он очень мной заинтересовался и написал чудесную газетную рецензию в венскую «Нойе Прессе».

Герману Бару в то время было, вероятно, около тридцати лет, темноволосый, с бородой. Несмотря на то, что он не раз приходил ко мне после представления в отель «Бристоль» и вел со мной беседы до рассвета, во время которых я часто вставала и танцевала, дабы иллюстрировать свои мысли, все же между нами не было ни малейшего намека на какое-нибудь чувство сентиментального, эмоционального порядка. Вероятно, скептики отнесутся к сказанному с недоверием, однако это чистая правда, что после моего будапештского опыта все мои эмоциональные реакции претерпели такое изменение, что мне на самом деле в течение многих лет казалось, будто я покончила с этой фазой

своей жизни и отныне стану отдаваться лишь своему искусству. И действительно, все было сосредоточено на нем.

В Вене мои выступления в театре Карла снова прошли с успехом. Зрители, встречавшие вначале довольно холодно хор «Просителей» из десяти греческих мальчиков, в конце, когда я танцевала «Голубой Дунай», устраивали овации. После представления я произносила речь, разъясняя, что это отнюдь не то, чего я добивалась, что мне хотелось бы выразить дух греческой трагедии, воскресить красоту хора. Однако раздавались крики:

— Нет. Не надо. Танцуйте! Протанцуйте прекрасный «Голубой Дунай». Протанцуйте еще раз!

И они принимались бесконечно аплодировать.

Итак, нагруженные новым запасом золота, мы покинули Вену и вновь посетили Мюнхен. Прибытие моею греческого хора в Мюнхен вызвало большое волнение в профессиональных и интеллектуальных кругах.

Профессор Фуртванглер прочел соответствующую лекцию о греческих гимнах.

Студенты пришли в крайнее возбуждение.

Берлин отнесся к нашему греческому хору с меньшим восторгом, и несмотря на то, что известный мюнхенский профессор Корнелиус приехал читать доклады о нем, берлинцы, подобно венцам, кричали:

— Протанцуйте прекрасный «Голубой Дунай» и бросьте восстанавливать эти греческие хоры.

Между тем маленькие греческие мальчики сами тяготились непривычной для них обстановкой. Ко мне поступило несколько жалоб от достойного владельца нашей гостиницы на дурные манеры и необузданность их нрава. Кажется, они беспрерывно требовали черного хлеба, черных спелых маслин и сырого лука, и если эти приправы не входили в их ежедневное меню, они приходили в ярость, доходя до того, что бросали в голову лакеев и официантов бифштексы и нападали на них с ножами. После того как мальчиков выгнали из нескольких первоклассных гостиниц, я оказалась вынужденной оборудовать гостиные комнаты своего помещения в Берлине десятью койками и поместить их вместе с нами.

Все еще считая их детьми, мы обычно торжественно водили их на прогулку в Тиргартен обутыми в сандалии и выряженными, как античные греки. Элизабет и я возглавляли эту странную процессию. Однажды вечером мы встретили супругу кайзера, ехавшую верхом. Она была так поражена и изумлена, что на первом же повороте упала с лошади, ибо прекрасный прусский

конь также никогда не видывал ничего подобного и, испугавшись, шарахнулся в сторону.

Прелестные греческие дети оставались с нами лишь в течение шести месяцев. Мы не могли не заметить сами, что их небесные голоса становятся фальшивыми, и даже преклоняющаяся передо мной берлинская публика начинала в смущении переговариваться. Я мужественно продолжала танцевать перед алтарем Зевса, но это становилось все трудней, в особенности когда греческие мальчики фальшивили более обычного, а их византийский профессор приходил во все более явное беспокойство.

Кульминационная минута наступила, когда полицейские власти сообщили нам, что наши греческие мальчики тайком удирали ночью через окно, и в то время, как мы полагали, что они мирно спят, они навещали дешевые кафе и заводили знакомства с подонками из среды своих соотечественников, живущих в городе.

Кроме того, с тех пор, как они оказались в Берлине, они совершенно утратили свое простодушное и небесное ребяческое выражение, которое было свойственно им на вечерах в театре Диониса, и выросли на пол-аршина. С каждым вечером в театре хор «Просителей» фальшивил все сильнее. Нельзя было дольше прощать подобное пение под тем предлогом, что это византийская песня. Она была просто ужасным, неприятным шумом. Итак, однажды, после многих тревожных совещаний, мы пришли к решению повести весь наш греческий хор в универсальный магазин Вертгейма. Мы купили им всем изящные готовые штанишки для низких мальчиков и длинные брюки для высоких, затем сели с ними в такси, поехали на вокзал и, посадив их всех в вагон второго класса и дав каждому билет до Афин, нежно попрощались с ними. После их отъезда мы отложили воскрешение античной греческой музыки до иных времен и вернулись к изучению «Ифигении и Орфея» Христофора Глюка.

Еженедельные приемы в нашем доме на улице Виктории стали центром артистического и литературного мира. Здесь происходили ученые дискуссии о танце как об изящном искусстве — известно, что немцы каждую дискуссию об искусстве воспринимают самым серьезным образом и относятся к ней с глубочайшим вниманием. Мои танцы стали предметом ожесточенных и даже яростных споров. Во всех газетах постоянно появлялись целые столбцы, иногда приветствующие меня как гения вновь открытого искусства, а иногда провозглашающие меня разрушительницей подлинно классического танца, то есть балета. Вернувшись со спектаклей, где публика от восторга

приходила в исступление, я просиживала с поставленным возле меня стаканом молока до глубокой ночи в своей белой тунике, изучая страницы Кантовой «Критики чистого разума», откуда, бог знает почему, я рассчитывала почерпнуть вдохновение для выражения чистой красоты.

Между артистами и писателями, навещавшими наш дом, был молодой человек с высоким лбом и проницательными глазами, прикрытыми очками; он решил, что на него возложена миссия открыть мне гений Ницше. Лишь при помощи Ницше, говорил он, придете вы к полному пониманию танца, которое вы ищете. Он приходил ко мне каждый день и читал по-немецки «Заратустру», объясняя все те слова и фразы, которые оставались мне непонятными. Философия Ницше захватила меня, и те часы, которые каждый день мне посвящал Карл Федерн, таили в себе столько очарования, что с величайшей неохотой я поддавалась убеждениям своего импресарио совершать даже краткие турне в Гамбург, Ганновер, Лейпциг и т. д., где моего прибытия дожидались возбужденная, жадная публика и много тысяч марок. У меня не было никакого желания предпринять триумфальное всемирное турне, о котором мне часто говорил импресарио. Я хотела учиться, продолжать свои искания, создать танец и движения, ранее не существовавшие, все сильнее мной овладевала мечта о собственной школе, преследовавшая меня в течение всего детства. Это стремление остаться в своей студии и учиться повергло моего импресарио в полное отчаяние. Он беспрерывно бомбардировал меня просьбами пуститься в путь и постоянно являлся, сокрушенный и сетующий, показывая мне газеты, в которых говорилось, что в Лондоне и повсюду, где печатались снимки моих занавесов, костюмов и танцев, они снискали себе определенный успех своею оригинальностью. Но даже это не оказывало на меня никакого действия. Его раздражение достигло предела, когда с приближением лета я объявила о своем намерении провести его целиком в Байрейте (город в северной Баварии, где по преимуществу протекала музыкальная деятельность Рихарда Вагнера и где им построен собственный «Театр Вагнера». — Пер.), чтобы пить, наконец, из подлинного источника музыку Рихарда Вагнера. Мое решение окончательно утвердилось, когда однажды меня посетил никто иной, как сама вдова Рихарда Вагнера.

Я никогда не встречала женщины, которая бы произвела на меня большее впечатление, нежели Козима Вагнер с ее высокой, величественной фигурой, прекрасными глазами и лбом, дышавшим умом. Она говорила о моем искусстве в самых одобрительных и прекрасных выражениях, а затем рассказала мне

об отвращении Вагнера к балетной школе танца и костюму, о его мечте о вакханалии и о невозможности согласовать с мечтой Вагнера исполнение берлинского балета, ангажированного на этот сезон в Байрейт. Она спросила меня, не соглашусь ли я танцевать в представлениях «Тангейзера». Вот тут и возникло затруднение. Мой идеал делал для меня невозможным иметь что-либо общее с балетом, каждое движение которого оскорбляло мое чувство прекрасного и изобразительные средства которого казались мне механическими и вульгарными.

— О, почему у меня нет школы, о которой я мечтаю! — воскликнула я в ответ на ее просьбу. — Тогда я могла бы привезти с собой в Байрейт тех нимф, фавнов, сатиров и граций, о которых мечтал Вагнер. Между тем одна — что я смогу сделать?

И все же я обещала приехать.

Глава пятнадцатая

Я прибыла в Байрейт в погожий майский день и наняла помещение в гостинице «Черный Орел». Одна из комнат была достаточно велика и пригодна для работы, в ней я поставила пианино. Ежедневно я получала записки от фрау Козимы с приглашением позавтракать, или пообедать, или провести вечер на вилле Ванфрид, где всем оказывали гостеприимство. Ежедневно там собиралось, по крайней мере, пятнадцать человек.

Могила Рихарда Вагнера находится в саду виллы Ванфрид и видна из окон библиотеки. После завтрака фрау Вагнер брала меня под руку, и мы выходили в сад сделать прогулку вокруг могилы.

Вечером часто выступали квартеты, в которых на каждом инструменте играл какой-либо знаменитый виртуоз. Огромная фигура Ганса Рихтера[41], обаятельный Моттль[42], Гумпердинк[43] и Генрих Тоде[44] — все современные артисты встречали равно любезный прием на вилле Ванфрид.

Я очень гордилась, что меня, в моей короткой, белой тунике, принимает такое избранное собрание выдающихся и блестящих людей. В это время я приступила к изучению «Тангейзера».

С утра до вечера в красном кирпичном доме на холме я присутствовала на всех репетициях, ожидая первого представления «Тангейзера», «Кольца Нибелунгов» и «Парсифаля», пока не пришла в состояние полного опьянения музыкой. Чтобы лучше ее понимать, я выучила наизусть весь текст опер, пропитав свое сознание этими легендами. Я достигла того состояния, когда весь внешний мир кажется чужим, бестелесным и нереальным; единственной действительностью для меня было то, что происходило в театре.

Я успела позабыть мудрую, голубоглазую Афину и ее храм совершенной красоты на Афинском холме. Другой храм, на Байрейтском холме, целиком вытеснил воспоминания о храме Афины.

Гостиница «Черный Орел» была переполнена и неудобна. Однажды, блуждая по садам Эрмитажа, построенного помешанным Людовиком Баварским, я наткнулась на ветхий каменный домик изысканной архитектуры. Прежде это был охотничий домик маркграфа. Он вмещал в себя очень большую и прекрасно соразмеренную жилую комнату, ветхие мраморные ступени вели отсюда вниз, в сад. Сад был в совершенно запущенном состоянии. Большая семья крестьян проживала тут уже около двадцати лет. Я предложила им большую сумму, чтобы

они выехали, хотя бы на лето. Затем я привела маляров и плотников, велела им оштукатурить и выкрасить нежной светло-зеленой краской все внутренние стены и, помчавшись в Берлин, заказала там диваны, подушки, глубокие плетеные из ивы кресла и книги. И вот я оказалась обладательницей тихого пристанища.

В Байрейте я была одна. Мать и Элизабет проводили лето в Швейцарии. Раймонд вернулся в свои возлюбленные Афины, чтобы продолжать постройку Копаноса. Он часто присылал мне телеграммы, гласившие: «Дело с артезианским колодцем движется. Обещают воду на следующей неделе. Шли деньги». Так продолжалось до тех пор, пока сумма расходов на Копаное не возросла до размеров, которые меня потрясли.

В течение двух лет, прошедших со времени Будапешта, я жила целомудренно, вернувшись, как ни странно, к тому состоянию, в котором находилась, когда была девушкой. Каждый атом моего существа, мозга и тела, был поглощен энтузиазмом. Раньше я восхищалась Грецией, теперь — Рихардом Вагнером. Мой сон был легок, и я просыпалась, напевая мотивы, заученные накануне вечером. Но любовь вновь проснулась во мне, хотя и в совершенно ином виде.

Моя подруга Мэри и я жили в домике одни, так как в нем не было помещения для прислуги, а повар и слуги жили в небольшой гостинице поблизости. Как-то вечером Мэри позвала меня:

— Айседора, я не хочу тебя пугать, но подойди к окну. Там, напротив, под деревом каждую ночь после полуночи какой-то мужчина следит за нашими окнами. Боюсь, что это вор.

Действительно, невысокий, сухощавый мужчина стоял под деревом и глядел на мое окно. Я задрожала от страха, но внезапно выглянула луна и осветила его лицо. Мэри обхватила меня руками. Мы обе узнали лицо Генриха Тоде. Мы отступили от окна. Признаюсь, нами овладел припадок типично ребяческой смешливости — может быть, как реакция после первоначального страха.

— Целую неделю он ежевечерне стоял тут, как сейчас, — прошептала Мэри.

Я велела Мэри подождать. Надев пальто поверх ночного костюма, я бесшумно выбежала из дому, прямо к тому месту, где стоял Генрих Тоде.

— Мой дорогой, верный друг, — сказала я, — неужели ты меня так любишь?

— Да, да, — запинаясь пробормотал он.

Я взяла его за руку и тихо повела по лестнице в виллу. Внезапно Тоде наклонился и стал целовать меня в глаза, в лоб, но

в его поцелуях не было ничего от земной страсти. Трудно поверить, однако и это правда, что ни этой ночью, когда мы расстались лишь на рассвете, ни в одну из следующих, когда Тоде приходил на виллу, он не сделал ни единого жеста грубого насилия.

Каждую ночь Тоде приходил в охотничий домик. Он никогда не ласкал меня как любовник, никогда не пытался даже коснуться меня, хотя я знала, что каждый удар моего сердца принадлежит только ему. Чувства, о существовании которых я прежде не знала, пробуждались под взглядом его глаз.

С блеском тех часов, когда Тоде беседовал со мной об искусстве, я могу сравнить лишь беседы с Габриэлем д'Аннунцио. Тоде кое в чем походил на Габриэля д'Аннунцио. Он был небольшого роста, с широким ртом и странными зелеными глазами.

Глава шестнадцатая

В бытность мою в Лондоне я прочитала в Британском музее произведения Эрнста Геккеля в английском переводе. На меня произвела глубокое впечатление его прозрачная и ясная изобразительная манера. Я написала ему письмо с изъявлением благодарности за удовольствие, полученное мною от его книг. В этом письме, должно быть, содержалось нечто, что привлекло его внимание, ибо впоследствии, когда я танцевала в Берлине, он прислал мне ответ.

За свои откровенные речи Эрнст Геккель в то время был сослан кайзером и не мог приехать в Берлин, но наша переписка продолжалась, и, когда я жила в Байрейте, я написала ему письмо с просьбой навестить меня и присутствовать на премьере.

Как-то дождливым утром я наняла парную открытую карету, — тогда еще не было автомобилей, — и поехала на вокзал встречать Эрнста Геккеля. И вот великий человек вышел из поезда. Несмотря на то, что ему было свыше шестидесяти лет, он обладал великолепной, атлетической фигурой. Его борода и волосы были седыми. На нем был странный, мешковатый костюм, а в руках он держал дорожный мешок. Мы никогда еще не встречались, но сразу узнали друг друга. Он тут же обнял меня своими большими руками, и мое лицо оказалось в его бороде. Все его существо распространяло прекрасный аромат здоровья, силы и ума, если только можно говорить об аромате ума.

Мы отправились в охотничий домик, где для него заранее приготовили комнату, убрав ее цветами. Затем я кинулась на виллу Ванфрид, чтобы сообщить фрау Козиме приятную весть о приезде ко мне в гости Эрнста Геккеля, который придет слушать «Парсифаля». К моему удивлению, эта новость была встречена в высшей степени холодно. Я не сообразила, что распятие над постелью фрау Козимы и четки, висящие на ночном столике, являлись не только украшениями. В самом деле, она была глубоко верующей католичкой, посещающей церковь. Человек, написавший «Историю вселенной» и являвшийся величайшим иконоборцем со времени Чарлза Дарвина, теории которого он поддерживал, не мог встретить теплого приема на вилле Ванфрид. С простодушием и прямолинейностью я распространялась о величии Геккеля и моем преклонении перед ним. Фрау Козима с неохотой предоставила мне для него место, которого я домогалась в Вагнеровской ложе. Я была довольно близким ее другом, и она не могла мне отказать.

В этот день я прогуливалась в течение антракта перед

изумленными зрителями в своей греческой тунике с обнаженными до колен ногами, рука об руку с Геккелем, седая голова которого возвышалась над толпой.

Геккель оставался вполне спокойным во время представления «Парсифаля». До самого третьего акта я не понимала, что все эти мистические страсти не доходили до него. Его ум был сугубо научного склада, и легенды его не впечатляли.

Ввиду того, что он не получил приглашения на обед или на чествование на вилле Ванфрид, я сама решила устроить праздник в честь Эрнста Геккеля. Пригласила изумительное собрание людей, начиная от болгарского короля Фердинанда, посетившего в то время Байрейт, и принцессы Саксо-Мейнингенской, сестры кайзера, и кончая княгиней Анри Рейсс, Гумпердинком, Генрихом Тоде и т. д.

Я произнесла речь, восхваляя величие Геккеля, а затем протанцевала в его честь. Геккель сделал замечания о моем танце, уподобляя его остальным универсальным истинам природы, сказал, что он является выражением монизма, происходит из одного источника с ним и эволюционирует в одном направлении. Затем пел фон Барри, знаменитый тенор. Мы поужинали. Геккель вел себя с мальчишеской живостью. Мы пировали, пили и пели до утра.

Несмотря на это, Геккель на следующий день, как и каждое утро в течение своего пребывания в Байрейте, встал с восходом солнца. Он обычно заходил ко мне в комнату и приглашал меня на прогулку с ним к вершине горы, к чему, признаюсь, я не питала особой охоты. Тем не менее эти прогулки были чудесны. Геккель сопровождал комментариями каждый встречный камень, каждое дерево, каждый геологический пласт земли.

Наконец, добравшись до вершины, он застывал на ней, как человек, восторженно и одобрительно осматривающий творения природы. На спине он носил мольберт и ящик с красками, делал множество набросков с высокоствольных деревьев и каменных наслоений гор. Хотя он был прекрасным художником, его творчеству все же недоставало воображения артиста. Я не хочу этим сказать, что Эрнст Геккель не умел ценить искусство, просто для него оно было проявлением естественной эволюции. Когда я, по обыкновению, рассказывала о нашем восторге перед Парфеноном, его больше интересовало качество мрамора, из какого пласта и с какого склона горы Пантикул он был добыт, нежели мое восхваление творения Фидия.

На вилле Ванфрид я встретила нескольких молодых офицеров, которые пригласили меня совершать с ними по утрам прогулки верхом. Я садилась в седло в своей греческой тунике и

сандалиях, с обнаженными ногами и кудрями, развевающимися по ветру. Так как охотничий домик отстоял на некотором расстоянии от Вагнеровского театра, то я купила лошадь у одного из офицеров. Это была офицерская лошадь, привыкшая к шпорам, и ею было очень трудно управлять. Очутившись наедине со мной, она пустилась на различнейшие причуды, — она останавливалась по дороге возле каждого кабака, где обычно пьянствовали офицеры, и стояла как вкопанная, отказываясь сдвинуться с места, пока товарищи ее прежнего владельца со смехом не выходили из кабака.

При первом представлении «Тангейзера» моя прозрачная туника, выявлявшая все части моего пляшущего тела, вызвала некоторую суматоху среди одетых в телесное трико танцовщиц, и в последнюю минуту даже бедная фрау Козима потеряла мужество. Она прислала ко мне с одной из своих дочерей длинную белую рубашку, которую просила меня надеть под неплотный шарф, служивший мне костюмом. Но я была тверда, как гранит. Я оденусь и буду танцевать только по-своему или совсем не стану танцевать.

— Вы увидите, что пройдет немного лет, как все ваши вакханки и цветочницы станут одеваться, как я сейчас.

Пророчество сбылось.

Но тогда возникло много ссор и горячих споров о моих ногах, о том, достаточно ли нравственен вид моей собственной кожи, или ее должно прикрывать жуткое шелковое трико цвета семги. Множество раз я до хрипоты ратовала, доказывая, как пошло и неблагопристойно это трико цвета семги и как прекрасно и целомудренно нагое человеческое тело, когда его воодушевляют прекрасные помыслы.

Лето прошло. Наступили последние дни. Тоде уехал в лекционное турне. У меня также началось турне по Германии. Я покинула Байрейт, но унесла с собой в крови могущественный яд. Я успела услыхать призыв вагнеровской музыки. Беспокойная скорбь, преследования совести, печальное жертвоприношение, тема любви, призывающей смерть, — все это отныне должно было навсегда изгладить видения дорических колонн и убедительную мудрость Сократа. Первый пункт моего турне — Гейдельберг. Там я услыхала, как Тоде читает лекцию своим студентам. Голосом, попеременно переходившим от мягкости к резкости, он беседовал с ними об искусстве. Внезапно в середине своей лекции он произнес мое имя и принялся рассказывать этим мальчикам о новой эстетической форме, принесенной в Европу одной американкой. Его похвала заставила меня задрожать от счастья и гордости. Вечером я танцевала перед студентами, и они устроили

торжественное шествие по улицам, после которого я очутилась стоящей на ступеньках гостиницы рядом с Тоде, разделяя с ним этот триумф. Вся молодежь Гейдельберга преклонялась перед ним, как и я. Любая витрина магазина содержала его портрет, и любой магазин на полках имел мою небольшую книжку «Танец будущего». Наши имена постоянно связывали вместе.

Фрау Тоде устроила для меня прием. Она была милая женщина, но слишком практичная, чтобы быть духовным товарищем Тоде. И действительно, к концу жизни она его покинула.

У фрау Тоде один глаз был коричневый, а другой серый, что придавало ей выражение постоянного беспокойства. Впоследствии в знаменитом процессе возник фамильный спор о том, была ли она дочерью Рихарда Вагнера или фон Бюлова. Так или иначе, она была очень любезна со мной, и если и питала какую-либо ревность, то не проявляла ее.

Всякая женщина, которая ревновала бы Тоде, обрекла бы себя на жизнь мученицы, ибо все, как женщины, так и мужчины, обожали его. Он становился центром любого общества.

Вскоре директор принес мне контракт на поездку в Россию. Петербург находится всего лишь в двух днях пути от Берлина, но с момента переезда границы попадаешь как бы в совершенно иной мир: страна погружена в великие снежные равнины и громадные леса. Снег, такой холодный — вокруг сияющие, безмерные пространства — они, казалось, охладили мой раскаленный мозг.

Генрих! Генрих! Он остался позади, там, в Гейдельберге. А я была здесь, удаляясь от него все дальше в страну безграничной холодной белизны, нарушаемой лишь жалкими избами, в замерзших окнах которых мерцал тусклый свет. Я еще слышала его голос, но он уже ослабевал.

Глава семнадцатая

Поезд, который вез меня в Петербург, вместо того чтобы прибыть согласно расписанию в четыре часа дня, был задержан снежными заносами и прибыл в четыре часа на следующее утро, с опозданием на двенадцать часов. На вокзале меня никто не встречал. Когда я вышла из поезда, термометр показывал десять градусов ниже нуля. Я никогда еще не испытывала такого холода. Закутанные в ватные армяки русские кучера хлопали себя по плечам руками в перчатках, чтобы заставить кровь быстрее течь в жилах. Я оставила свою горничную возле багажа и, наняв извозчика, велела ехать в гостиницу «Европа». Я была совсем одна в пасмурном русском рассвете, когда внезапно увидала зрелище, равносильное по своему ужасу любому, созданному воображением Эдгара Аллана По.

Я увидела на некотором расстоянии длинную процессию. Мрачную и печальную. Она приближалась. Один за другим шли нагруженные люди, согнувшись под своим грузом — гробами. Кучер замедлил шаг лошади, нагнулся и перекрестился. В неотчетливом рассвете я глядела на это, пораженная ужасом. Я спросила у него, что это такое? Несмотря на то, что я не знала русского языка, ему удалось дать мне понять, что это несли рабочих, расстрелянных накануне перед Зимним дворцом — в роковой день девятого января 1905 года за то, что, невооруженные, они пришли просить у царя помощи, просить хлеба для своих жен и детей. Я велела кучеру остановиться. Слезы струились по моему лицу и замерзали на щеках, пока печальная, бесконечная процессия проходила мимо. Но отчего же их хоронили на рассвете? Оттого, что среди дня похороны могли бы вызвать революцию. Слезы сжимали мне горло. С беспредельным негодованием я смотрела на несчастных, убитых горем рабочих, которые несли своих замученных товарищей. Если бы поезд не опоздал на двенадцать часов, я бы никогда этого не увидала.

Если бы я никогда не увидала этого, вся моя жизнь сложилась бы иначе. Там, перед этой казавшейся бесконечной процессией, перед этой трагедией, я поклялась посвятить себя служению народу, угнетенным. О, какими же незначительными и напрасными казались мне сейчас все мои личные желания и страдания! Как бесполезно мое искусство, если оно не могло ничем здесь помочь!

Наконец, последние печальные фигуры прошли мимо. Кучер с удивлением обернулся и увидал мои слезы. С терпеливым

вздохом он опять перекрестился и погнал лошадь к гостинице.

Я поднялась в свои пышные комнаты и, скользнув в постель, плакала, пока не уснула. Но жалости и ярости, пережитым мною на рассвете, в будущем предстояло принести плоды.

Комната в гостинице «Европа» была огромной, с высоким потолком. Окна были замазаны и никогда не отворялись. Воздух проходил через вентиляторы, вделанные высоко в стене. Я проснулась поздно. Пришел мой директор и принес цветы.

Спустя два дня я выступила перед «верхами» петербургского общества в зале дворянского собрания. Как странно, должно быть, было этим любителям пышного балета с его расточительными декорациями и обстановкой видеть, как молодая девушка, одетая в тунику из паутинки, появляется и танцует перед простым голубым занавесом под музыку Шопена. И все же даже после первого танца раздалась буря аплодисментов. Моя душа, которая скорбела и страдала от трагических звуков прелюдий, моя душа, моя душа, которая плакала от праведного гнева, вспоминая о мучениках погребальной процессии на рассвете, — моя душа вызвала у этой богатой, развращенной аристократической публики отклик в виде одобрительных аплодисментов. Как странно!

На следующий день меня посетила маленькая дама, закутанная в соболя, украшенная брильянтами, свисающими с ушей, и жемчужным ожерельем вокруг шеи. К моему изумлению, она объявила, что она танцовщица Кшесинская и пришла приветствовать меня от имени русского балета, а также пригласить на торжественный спектакль в опере в тот же вечер. Я успела привыкнуть в Байрейте встречать лишь холод и вражду со стороны балета. Танцовщицы балета доходили до того, что рассыпали гвозди на моем ковре, о которые я ранила себе ноги. В данном случае эта перемена отношения была для меня одновременно и лестной, и удивительной.

Вечером великолепная карета, отапливаемая и полная дорогих мехов, отвезла меня в оперу; в ложе первого яруса, предназначенной для меня, были цветы и конфеты. Я все еще носила мою короткую белую тунику и сандалии и, должно быть, выглядела странно среди этого сборища богачей и аристократов Петербурга.

Я враг балета, который считаю фальшивым и нелепым искусством, стоящим в действительности вне лона всех искусств. Но нельзя было не аплодировать русским балеринам, когда они порхали по сцене, скорее похожие на птиц, чем на человеческие существа.

В антракте я осмотрелась и увидела прекраснейших в мире

женщин в дивных декольтированных платьях, обвешанных драгоценностями и сопровождаемых мужчинами в ослепительных мундирах. Все это выставленное напоказ пышное великолепие так трудно было понять в его контрасте с погребальной процессией на рассвете минувшего дня.

После спектакля я была приглашена на ужин во дворец Кшесинской и там встретила великого князя Михаила, который с удивлением слушал, как я рассказывала о своем плане танцевальной школы для детей из народа. Я, должно быть, казалась крайне непонятной личностью, однако все принимали меня с самым ласковым радушием и щедрым гостеприимством.

Несколько дней спустя меня посетила прекрасная Павлова, и опять мне предоставили ложу, чтобы наблюдать Павлову в восхитительном балете «Жизель». Несмотря на то, что движения этих танцев противоречили моему артистическому и человеческому чувству, я не могла удержаться от горячих аплодисментов Павловой.

За ужином в доме балерины, который был скромнее дворца Кшесинской, я сидела между художниками Бакстом и Бенуа. Здесь я впервые встретила Сергея Дягилева и тут же вступила с ним в горячий спор об искусстве танца, противостоящем, с моей точки зрения, балету.

Вечером, за ужином, художник Бакст сделал небольшой эскиз с меня, который теперь помещен в его книге и изображает мою крайне серьезную физиономию с кудряшками, сентиментально свисающими на одну сторону.

После ужина, к удовольствию своих друзей, неутомимая Павлова танцевала спять. И хотя мы разошлись лишь в пять часов утро, она пригласила меня приехать в половине девятого в то же утро, если я пожелаю посмотреть, как она работает. Я приехала, несколько опоздав (признаюсь, я была сильно утомлена), и застала ее в тюлевом платье, делающей у станка сложнейшую гимнастику. Старый господин со скрипкой отмечал Бремя и уговаривал Павлову стараться. Это был знаменитый балетмейстер Петипа.

В течение трех часов я сидела в напряжении и замешательстве, наблюдая изумительную ловкость Павловой. Ее прекрасное лицо приняло суровое выражение мученицы. Ни разу она не остановилась ни на минуту.

Когда наступило двенадцать часов, был приготовлен завтрак: за столом Павлова сидела белая и бледная и почти не прикасалась к еде и вину. Признаюсь, я успела проголодаться и съела много пожарских котлет. Павлова отвезла меня обратно в гостиницу, а затем поехала в Императорский театр на одну из

бесконечных репетиций. Очень утомленная, я бросилась на кровать и заснула крепким сном, благословляя свою звезду, что милостивая судьба не наградила меня карьерой балетной танцовщицы.

На следующий день я проснулась в восемь часов утра, чтобы посетить императорскую балетную школу. Там я увидала всех маленьких учеников, стоящих рядами и проделывающих все свои мучительные упражнения. Они стояли в течение нескольких часов на носках, похожие на жертв жестокой и бесполезной инквизиции. Огромные, пустые танцевальные залы, лишенные всякой красоты, с большим портретом царя на стене, походили на комнату пыток. Я сильнее, чем когда-либо, испытывала убеждение, что императорская балетная школа враждебна природе и искусству.

После недельного пребывания в Петербурге я поехала в Москву. Публика там вначале не проявляла такого энтузиазма, как в Петербурге, но я приведу отзыв великого Станиславского[45].

«Приблизительно в этот период времени, в 1908 или 1909 году, не помню точно даты, мне посчастливилось узнать два больших таланта того времени, которые произвели на меня сильное впечатление: это были Айседора Дункан и Гордон Крэг.

Я попал на концерт Дункан случайно, ничего дотоле не слыхав о ней и не прочтя ни одного из объявлений, возвещавших о ее приезде в Москву. Поэтому меня удивило, что среди немногочисленных зрителей был большой процент артистов и скульпторов с С. И. Мамонтовым во главе, много артисток и артистов балета, завсегдатаев премьер и любителей исключительных по интересу спектаклей. Первое появление Дункан не произвело особого впечатления. Непривычка видеть на эстраде почти обнаженное тело помешала разглядеть и понять самое искусство артистки. Первый, начальный номер ее танцев был встречен наполовину жидкими хлопками, наполовину брюзжанием и робкими попытками к свисту. Но после нескольких номеров танцев, из которых один был особенно убедителен, я уже не мог оставаться хладнокровным к протестам рядовой публики и стал демонстративно аплодировать. Когда наступил антракт, я, как новоокрещенный энтузиаст знаменитой артистки, бросился к рампе, чтобы хлопать. К моей радости, я очутился почти рядом с С. И. Мамонтовым, который проделывал то же, что и я, а рядом с ним был известный художник, потом скульптор, писатель и т. д. Когда рядовые зрители увидели, что среди аплодирующих находились известные в Москве художники и артисты, произошло сильное смущение. Шикание прекратилось, но рукоплескать пока

тоже еще не решались. Лишь только публика поняла, что хлопать можно, что хлопать не стыдно, начались сначала громкие аплодисменты, потом вызовы и в заключение — овация.

После первого вечера я уже не пропускал ни одного концерта Дункан. Потребность видеть ее часто диктовалась изнутри артистическим чувством, близко родственным ее искусству. Впоследствии, познакомившись с ее методом, так же как и с идеями ее гениального друга Крэга, я понял, что в разных концах мира, в силу неведомых нам условий, разные люди, в разных областях, с разных сторон ищут в искусстве одних и тех же очередных, естественно нарождающихся творческих принципов. Встречаясь, они поражаются общности и родству своих идей. Именно это и случилось при описываемой мной встрече: мы с полуслова понимали друг друга.

Я не имел случая познакомиться с Дункан при первом ее приезде. Но при последующих ее наездах в Москву она была у нас на спектакле, и я должен был приветствовать ее как почетную гостью. Это приветствие стало общим, так как ко мне присоединилась вся труппа, которая успела оценить и полюбить ее как артистку.

Дункан не умеет говорить о своем искусстве последовательно, логично, систематически. Большие мысли приходят у нее случайно, по поводу самых неожиданных обыденных фактов. Так, например, когда ее спросили, у кого она училась танцам, она ответила:

— У Терпсихоры. Я танцевала с того момента, как научилась стоять на ногах. И всю жизнь танцевала. Человек, все люди, весь свет должен танцевать, это всегда было и будет так. Напрасно только этому мешают и не хотят понять естественной потребности, данной нам самой природой. Et voila tout, — закончила артистка на своем неподражаемом американско-французском языке.

В другой раз, рассказывая о только что закончившемся концерте, во время которого приходившие в уборную посетители мешали ей готовиться к танцам, она объяснила:

— Я не могу так танцевать. Прежде чем идти на сцену, я должна вложить себе в душу какой-то мотор; он начинает внутри работать, и тогда сами ноги, и руки, и тело помимо моей воли будут двигаться. Но раз мне не дают времени вложить в душу мотор, я не могу танцевать…

В то время я как раз искал этот творческий мотор, который должен класть в свою душу актер перед тем, как выходить на сцену. Понятно, что, разбираясь в этом вопросе, я наблюдал за Дункан во время спектаклей, репетиций и исканий, — когда она

от зарождающегося чувства сначала менялась в лице, а потом со сверкающими глазами переходила к выявлению того, что вскрылось в ее душе. Резюмируя все наши случайные разговоры об искусстве, сравнивая то, что говорила она, с тем, что делал я сам, я понял, что мы ищем одного и того же, но лишь в разных отраслях искусства.

Во время наших разговоров об искусстве Дункан постоянно упоминала имя Гордона Крэга, которого она считала гением и одним из самых больших людей в современном театре.

— Он принадлежит не только своему отечеству, а всему свету, — говорила она, — он должен быть там, где всего лучше проявится его талант, где будут наиболее подходящие для него условия работы и наиболее благотворная для него общая атмосфера. Его место в вашем Художественном театре, — заключила она свою фразу.

Я знаю, что она много писала ему обо мне и о нашем театре, убеждая его приехать в Россию. Я со своей стороны уговаривал дирекцию нашего театра выписать великого режиссера, чтобы тем дать толчок нашему искусству и влить в него духовные дрожжи для брожения как раз в то время, когда удалось как будто немного сдвинуть театр с мертвой точки. Должен отдать справедливость товарищам — они рассуждали как настоящие артисты и, чтобы сдвинуть наше искусство вперед, пошли на большой расход. Гордону Крэгу была заказана постановка «Гамлета», причем он должен был работать и как художник, и как режиссер, так как действительно он был и тем, и другим, а в молодые годы служил в лондонском театре Ирвинга и в качестве актера и пользовался большим сценическим успехом».

Насколько балет привел меня в ужас, настолько же театр Станиславского исполнил меня энтузиазмом. Я отправлялась туда каждый вечер, когда сама я не была занята в концерте, и вся труппа встречала меня с величайшей любовью. Станиславский очень часто приходил повидаться со мной и полагал, что, основательно расспросив меня, он сможет претворить все мои танцы в новой танцевальной школе при своем театре. Но я заявила ему, что это может быть достигнуто, если занятия будут начаты с детьми. Кстати, при моем следующем посещении Москвы я увидала нескольких молодых красивых девушек из его труппы, которые пытались танцевать, но результат оказался плачевным.

Будучи чрезвычайно занятым на репетициях в своем театре, Станиславский имел обыкновение часто приходить ко мне после спектакля. В своей книге он говорит о наших беседах:

«Думаю, что я должен был надоесть Дункан своими

расспросами».

Нет, он не надоел мне. Я горела желанием делиться своими идеями.

Резкий снежный воздух, русская пища действительно совершенно исцелили мой изнурительный недуг, вызванный бесплотной любовью Тоде. И сейчас все мое существо жаждало общенья с сильной личностью. Когда Станиславский стоял передо мной, я видела ее в нем. Как-то вечером я взглянула на его прекрасную, статную фигуру, широкие плечи, черные волосы, лишь на висках тронутые сединой, и что-то восстало во мне против того, что я всегда исполняю роль Эгерии[46]. Когда он собирался уходить, я положила руки ему на плечи притянув его голову к своей, поцеловала его в губы. Он с нежностью вернул мне поцелуй. Но принял крайне удивленный вид, словно менее всего этого ожидал.

Когда я пыталась привлечь его ближе, он отринул и, недоуменно глядя на меня, воскликнул:

— Но что мы станем делать с ребенком?

— С каким ребенком? — спросила я.

— Да, разумеется, с нашим ребенком! Что мы станем с ним делать? Видите ли, — глубокомысленно продолжал он, — я никогда не соглашусь, чтобы кто-либо из моих детей воспитывался вне моего надзора, а это оказалось бы затруднительным при моем настоящем семейном положении.

Его необычайную серьезность при упоминании о ребенке пересилило мое чувство юмора, и я разразилась смехом. Он со скорбью посмотрел на меня, вышел из комнаты и быстро зашагал по коридору гостиницы. Я смеялась, однако, с перерывами всю ночь. Но тем не менее, несмотря на свой смех, я была раздосадована и даже рассержена.

Много лет спустя я рассказала про этот случай со Станиславским его жене. Она очень развеселилась и воскликнула:

— О, но это на него так похоже. Ведь он относится к жизни очень серьезно.

Сколько я его ни атаковала, я добилась лишь нескольких нежных поцелуев, а в остальном встречала твердое и упорное сопротивление, которого нельзя было преодолеть. Станиславский больше не рисковал заходить ко мне после спектакля, но однажды он доставил мне большое удовольствие, повезя меня в открытых санях в загородный ресторан, где мы позавтракали в отдельном кабинете. Мы пили водку и шампанское и вели разговор об искусстве, и я окончательно убедилась, что только Цирцея могла бы разрушить твердыню добродетели Станиславского.

Я часто слышала об ужасных опасностях, которым

подвергаются молодые девушки, вступая в театральную жизнь, но, как видят читатели по моей жизни, до сих пор со мной было как раз наоборот. В действительности я страдала от чрезмерного благоговения, уважения и преклонения, которые я вселяла в своих поклонников.

* * *

В период кратковременного посещения Киева, после Москвы, орда студентов собралась на городской площади перед театром и не давала мне проехать, пока я не пообещала дать концерт специально для студентов, так как цены на мои спектакли были слишком высоки для них. Когда я уезжала из театра, они все еще не разошлись, демонстрируя свой протест против моего директора. Я встала в санях и обратилась к ним, сказав, что я очень горда и счастлива, если мое искусство могло воодушевить интеллектуальную молодежь России, ибо нигде в мире студенты так не интересуются искусством, как в России.

Первое посещение России было прервано предыдущими ангажементами, призывающими меня обратно в Берлин. Перед отъездом я подписала контракт на возвращение весной в Россию. Несмотря на кратковременность своих выступлений, я оставила сильное впечатление. Произошло много ссор за и против моих танцев, и одна даже завершилась дуэлью между фанатиком балетоманом и энтузиастом Дункан. Начиная с этой эпохи, русский балет начал вводить в свой репертуар музыку Шопена и Шумана и носить греческое платье. Некоторые балетные танцовщицы дошли даже до того, что сняли обувь и чулки.

Глава восемнадцатая

Я вернулась в Берлин с решимостью, не откладывая дальше, немедленно открыть свою школу, о которой давно мечтала. Я поверила свои планы матери и Элизабет, они встретили их с одинаковым энтузиазмом. Мы безотлагательно принялись искать помещение для будущей школы с поспешностью, отмечавшей все, что мы делали. В течение недели нашли виллу на Трауденштрассе в Грюневальде, постройка которой еще не была завершена, и купили ее.

Мы действовали точно в сказках Гримма. Отправившись в универсальный магазин Вертгейма, купили сорок кроваток. У каждой был белый кисейный полог, подобранный голубыми лентами. Мы принялись превращать нашу виллу в настоящий детский дом. В центральном зале поставили слепок героической фигуры амазонки вдвое больше натуральной величины. В большом танцевальном зале — барельефы Луки де ла Роббиа[47] и танцующих детей Донателло[48]. В спальной — большие голубые и белые куклы и Мадонну с младенцем, одетыми также в голубое и белое, с инкрустациями в виде гирлянд фруктов — работы Луки де ла Роббиа.

Я разместила также в своей школе изображения танцующих, бегающих, прыгающих молодых девушек Спарты, которых в гимназиях тренировали суровыми упражнениями, чтобы они могли стать матерями героических воинов — быстроногих бегунов, выигрывавших ежегодные призы. Это были изящные фигуры из терракоты, с развевающимися покрывалами и одеждой.

Они воплощали будущий идеал, которого надлежало достигнуть. Ученики моей школы, научившись чувствовать любовь к этим образам, с каждым днем станут все больше походить на них и постепенно проникнутся тайной этой гармонии, ибо я восторженно верила, что, только пробудив волю к красоте, можно ее достигнуть.

Чтобы воплотить ту гармонию, к которой я стремилась, ученикам моим надлежало также каждый день совершать определенные, целеустремленно выбранные упражнения. Но эти упражнения понимались мною как совпадающие с собственными желаниями учеников, дабы они выполняли их радостно и охотно. Каждое упражнение должно было быть не только средством для достижения цели, но и самоцелью, и эта самоцель делала бы каждый день жизни полным и счастливым.

Гимнастика должна стать базой всего физического воспитания: телу надо предоставлять много воздуха и света;

необходимо методически направлять его развитие. Необходимо вызывать все жизненные силы тела к наиболее полному развитию — таков долг профессора гимнастики. После этого наступает очередь танца. В тело, гармонически развитое и доведенное до высшей своей силы, проникает дух танца. Для гимнаста движение и культура тела являются самоцелью, но для танца они служат лишь средством. Само тело должно быть потом забыто — оно представляет лишь инструмент, гармонизированный и приспособленный, и его движения не выражают, как в гимнастике, одно лишь движение тела, а посредством тела выражают также чувства и помыслы человека.

Упражнения начинаются простой гимнастической подготовкой, развивающей в мышцах гибкость и силу. Лишь после этих гимнастических упражнений приходят первые шаги танца. Эти первые шаги заключаются в том, чтобы научить простой ритмической ходьбе или маршу, медленно подвигаясь под простой ритм, затем ходьбе или маршу побыстрее под ритмы более сложные, затем бегу, сперва медленному, и, наконец, медленным прыжкам в определенный момент ритма. Такими упражнениями выучивают ноты звуковой гаммы, а мои ученики выучили бы и ноты гаммы движения. Эти ноты, следовательно, могут служить основой для разнообразнейших положений тела. Упражнения, кроме того, являлись лишь частью занятий моих учеников. Во время своих игр на площадке и на прогулках в лесу дети были всегда одеты в свободные изящные туники. Они непринужденно прыгали, бегали, привыкая изъясняться движениями так же легко, как остальные изъясняются речью или песней.

Их занятия и наблюдения не должны были замыкаться в ложных формах искусства, но прежде всего исходить из движений в природе. Движения гонимых ветром облаков, качающихся деревьев, полет птицы и колыхание листьев — все должно было иметь для них первостепенное значение. Они должны были научиться замечать особенности, свойственные каждому движению. Все члены их гибкого, тренированного тела откликались бы на мелодии природы и пели бы вместе с нею.

Чтобы набрать детей для нашей школы, мы объявили в главных газетах о том, что школа Айседоры Дункан открыта для приема талантливых детей, дабы они стали последователями того искусства, которое А. Дункан надеется преподать тысячам детей из народа. Конечно, внезапное открытие этой школы без соответствующего предварительного обсуждения и без капитала было в высшей степени опрометчивым начинанием, которое повергло моего директора в тревогу. Он беспрерывно замышлял

для меня всемирное турне, а я беспрерывно настаивала сперва на том, чтобы провести год в Греции, который он называл потерянным временем, а сейчас на полном прекращении своей карьеры ради приема и обучения детей тому, что он считал совершенно бесполезным. Но это полностью соответствовало всем нашим начинаниям, в высшей степени непрактичным, несвоевременным и импульсивным.

Из Копаноса Раймонд присылая нам все более тревожные вести. Стоимость колодца возрастала. С каждой неделей надежды на появление в нем воды ослабевали. Расходы на сам дворец Агамемнона увеличились до таких ужасающих размеров, что я наконец была вынуждена от него отказаться. Копаное остался навсегда красивыми развалинами на горе, и с тех пор греческие революционеры пользовались ими как крепостью. Он и сейчас стоит там, быть может, в ожидании лучших времен.

Я решила, что должна сосредоточить все свои средства на учреждении школы для молодежи всего мира, а местом для нее избрала Германию, как центр философии и культуры, каким, я тогда полагала, она являлась.

На объявление отозвалось множество детей. Я вспоминаю, как однажды, возвращаясь с утреннего концерта, я застала улицу осажденной родителями со своим потомством. Немецкий кучер обернулся ко мне и сказал:

— Одна сумасшедшая дама, которая живет в этом доме, дала объявление в газете, что она охотно примет к себе детей.

Я была этой «сумасшедшей» дамой. До сих пор точно не знаю, как мы отобрали детей. Я так жаждала заполнить Грюневальд и сорок кроваток, что брала детей без разбора, иногда просто за приятную улыбку и красивые глаза. Я не задавалась вопросом, способны они или нет стать будущими танцовщиками.

Так, например, однажды в Гамбурге в мою гостиную в отеле вошел мужчина в высокой шляпе и сюртуке, держа в руках узел, завернутый в шаль. Он положил узел на стол, и я, развернув его, увидала два больших внимательных глаза, глядевших на меня, — девочку, приблизительно четырех лет, самого молчаливого ребенка, какого я когда-либо встречала. Она не издала ни единого звука, не произнесла ни одного слова. Сам господин, казалось, очень спешил. Он спросил меня, возьму ли я ребенка, и едва дождался ответа. Переведя взгляд с лица ребенка на его лицо, я уловила в них большое сходство, которое могло объяснить его поспешность и желание сохранить тайну.

Со свойственной мне непредусмотрительностью я согласилась принять девочку на содержание, после чего он исчез, и я никогда его больше не видала.

В поезде из Гамбурга в Берлин я обнаружила, что у девочки была сильная лихорадка — тяжелый случай воспаления миндалевидных желез. В Грюневальде в продолжение трех последующих недель мы отвоевывали ее у смерти с помощью двух сиделок и великолепного доктора Гоффа, знаменитого хирурга, который был полон такого восторга перед идеей моей школы, что оказывал свои услуги бесплатно.

Доктор Гоффа часто говорил мне:

— Это не школа. Это больница. Все эти дети несут в себе наследственную заразу. Вы увидите, что окажется необходимым проявить величайшие заботы, чтобы сохранить их в живых, а не обучать их танцам.

Доктор Гоффа был крупнейшим человеком. Знаменитый хирург, которому платили за его услуги баснословные деньги, он целиком тратил свое состояние на больницу для бедных детей, которую содержал за собственный счет. Со дня возникновения моей школы он сделался нашим врачом. Без его неусыпной помощи я никогда не смогла бы привести всех детей в то великолепное состояние здоровья и гармонии, которого они впоследствии достигли. Он был высокий, дородный и привлекательный мужчина, с красными щеками и такой дружеской улыбкой, что все дети любили его не меньше, чем я.

Отбор детей, организация школы, начало уроков и распорядок жизни учеников отнимали все наше время. Несмотря на предостережения моего директора, утверждавшего, что удачные подражатели моего творчества в танце составили целые состояния в Лондоне и повсюду, ничто не заставило бы меня уехать из Берлина. Ежедневно с пяти до семи я учила детей танцевать.

Дети делали феноменальные успехи, и я полагаю, что своим хорошим здоровьем они были обязаны здоровой вегетарианской диете, установленной доктором Гоффа.

* * *

К этому времени моя популярность в Берлине стала почти невероятной. Меня называли «божественной Айседорой». Я никогда не носила иной одежды, кроме короткой белой туники и сандалий, оставляя ноги обнаженными. Зрители приходили на моих представлениях в состояние совершенного экстаза.

Однажды вечером, когда я возвращалась со спектакля, студенты выпрягли лошадей из моей кареты и повезли меня по знаменитой «Аллее побед». На середине аллеи они потребовали,

чтобы я произнесла речь. Я встала в карете и обратилась к студентам со следующими словами:

— Нет высшего искусства, — сказала я, — нежели искусство скульптора. Но почему же вы, любители искусства, допускаете это ужасное поругание над ним в самом центре вашего города? Взгляните на эти статуи! Вы изучаете искусство, но если бы вы в самом деле изучали искусство, то должны были бы сегодня же ночью вооружиться камнями и разрушить их. Разве они являются искусством? Они и искусство! Нет! Они воплощают мечты кайзера.

Студенты разделяли мое мнение воем и выражали свое одобрение. Если бы не прибыла полиция, нам удалось бы выполнить мое желание и разрушить эти ужасные статуи города Берлина.

Глава девятнадцатая

Однажды вечером, в 1905 году, я танцевала в Берлине. Хотя, как правило, я во время танца никогда не обращаю внимания на зрителей, в этот вечер я увидела человека, сидящего в первом ряду. Я не глядела и не знала, кто он такой, но физически чувствовала его присутствие. По окончании спектакля в мою уборную вошло прекрасное существо. Но прекрасное существо было очень сердито.

— Вы чудесны! — воскликнул он. — Вы удивительны! Но зачем вы украли мои идеи? Откуда вы достали мои декорации?

— О чем вы говорите? Это мои собственные голубые занавесы. Я придумала их, когда мне было пять лет, и с тех пор я всегда танцую перед ними.

— Нет! Они принадлежат мне! Это мои идеи. Но вы именно та исполнительница, которую я себе представлял перед моими декорациями. Вы воплотили в жизнь все мои мечты.

— Однако кто вы такой?

Тут он произнес удивительные слова:

— Я сын Эллен Терри.

Эллен Терри, моего идеала совершеннейшей женщины! Эллен Терри!..

— Вы должны поехать с нами домой и поужинать у нас, — сказала моя мать в простоте своего сердца. — Раз вы питаете такой интерес к искусству Айседоры, вы должны поехать к нам домой ужинать.

И Крэг поехал к нам домой ужинать.

Он находился в состоянии необузданного возбуждения и пытался объяснить все идеи своего искусства, своих исканий…

Я была чрезвычайно заинтересована. Крэг говорил и говорил о своем искусстве театра. Он разъяснял свое искусство жестами.

Внезапно в середине разговора он сказал:

— Но что вы делаете здесь? Вы — великая артистка и живете в семейной среде? Ведь это нелепо! Я единственный, кто увидал и изобрел вас. Вы принадлежите моим декорациям.

Крэг был высок и гибок, с лицом, напоминающим лицо его чудной матери, но с еще более нежными чертами. Несмотря на его высокий рост, было нечто женственное в нем, в особенности в линиях губ, чувственных и тонких. Его глаза, очень близорукие, сверкали стальным огнем под стеклами очков. Он производил впечатление некоторой почти женственной слабости и нежности. Лишь его руки с обезьяньими четырехугольными большими пальцами и широкими остальными обнаруживали силу. Он всегда

со смехом говорил о них как о пальцах убийцы, «годных, чтобы задушить тебя, моя дорогая!».

Словно загипнотизированная, я позволила ему одеть плащ поверх моей короткой белой туники. Он взял меня за руку, мы сбежали вниз по лестнице на улицу. Он окликнул такси и сказал на прекрасном немецком языке:

— Эта дама и я, мы хотим поехать в Потсдам.

Несколько такси отказались везти нас, но наконец один шофер согласился, и мы помчались в Потсдам. Туда мы прибыли на рассвете и, остановившись в небольшой гостинице, которая только успела открыться, напились кофе. Затем, когда солнце поднялось высоко на небе, отправились обратно в Берлин.

В Берлин прибыли около девяти часов и тут опомнились — что же мы станем дальше делать? Вернуться к моей матери мы не могли и направились к одному другу по имени Эльза де Бругер. Эльза де Бругер принадлежала к кругу богемы. Она встретила нас с деликатным сочувствием, дала позавтракать и уложила меня спать в своей спальне. Я заснула и не просыпалась до вечера.

Затем Крэг отвел меня в свою студию на вышке высокого берлинского здания. В ней был черный, навощенный пол, весь усыпанный лепестками роз, искусственными лепестками роз.

Лицо Крэга излучало блистательную юность, красоту, гений. Вся воспламененная внезапной любовью, я кинулась в его объятия и нашла в Крэге ответную страсть, достойную моей. Он был плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Часто он кричал мне:

— Ты моя сестра.

В его студии нельзя было найти ни дивана, ни глубокого кресла, ни обеда. В эту ночь мы спали на полу. У Крэга не было ни гроша, а я не отваживалась пойти домой за деньгами. Я спала так в течение двух недель. Когда мы хотели пообедать, Крэг распоряжался, чтобы обед прислали наверх в кредит, я же пряталась на балкон, пока его не приносили, а затем прокрадывалась внутрь и получала свою долю.

Моя бедная мать обошла все полицейские участки и все посольства, рассказывая, что какой-то подлый соблазнитель увел ее дочь; между тем мой импресарио обезумел от беспокойства, вызванного моим внезапным исчезновением. Многочисленной публике, собиравшейся на концерт, отказывали, и никто не знал, что случилось. В газетах, однако, благоразумно поместили объявление, что мисс Айседора Дункан серьезно заболела воспалением миндалевидных желез.

По прошествии двух недель мы вернулись в дом моей матери. Говоря по совести, мне, несмотря на мою неугасающую страсть, немного надоело спать на жестком полу и ничего не есть, правда,

иногда Крэгу удавалось доставать кое-какие деликатесы или же мы делали вылазку с наступлением темноты.

Когда моя мать увидала Гордона Крэга, она закричала:

— Подлый соблазнитель, убирайтесь отсюда!

Она жестоко его ревновала.

Гордон Крэг — это один из необыкновеннейших гениев нашей эпохи. Он был вдохновителем целого направления в современном театре. Правда, он никогда не принимал активного участия в практической жизни подмостков, а оставался в стороне и мечтал, но его мечты вдохновили все, что сейчас есть прекрасного в современном театре. Без него мы никогда бы не имели Рейнхардта[49], Жака Копо[50], Станиславского. Без него мы все еще оставались в старых реалистических декорациях, где на деревьях колышется каждый листик, а двери в домах отворяются и закрываются. Крэг был блестящим сотоварищем. Он был одним из тех немногих встреченных мною людей, которые с утра до вечера пребывали в состоянии экзальтации.

Встречая на своем пути дерево, птицу или ребенка, он приходил в неистовое возбуждение. В его обществе не бывало ни одной скучной минуты — он всегда томился муками исступленного восторга либо впадал в другую крайность — внезапный гнев, когда все небо казалось ему помрачневшим, и внезапный страх заполняли все, тогда жизнь медленно покидала тело и оставался лишь мрак тоски.

К несчастью, с течением времени эти мрачные настроения учащались. Отчего? Преимущественно оттого, что всякий раз, когда он говорил: «Моя работа! Моя работа!» — что он часто делал, я осторожно возражала.

— О, да, твоя работа. Удивительно! Ты — гений, но ведь ты знаешь, что существует и моя школа.

Его кулак опускался на стул.

— Да, и все же моя работа.

И я отвечала:

— Разумеется, она очень важна. Твоя работа сводится к постановке, но на первом месте стоит живое существо. Сперва — моя школа, лучезарное человеческое существо, движения которого прекрасны, а затем твоя работа, служащая ему совершенной оправой.

Наши споры часто заканчивались грозным и мрачным молчанием. Затем во мне просыпалась встревоженная женщина:

— О, дорогой, я обидела тебя!

Он отвечал:

— Обидела? О, нет. Все женщины несносны, и ты тоже несносна, вмешиваясь в мою работу. Моя работа…

Он уходил, хлопнув дверью. Только стук захлопнувшейся двери пробуждал меня к ужасной развязке… Я ожидала его возвращения и, когда он не возвращался, проводила ночь в рыдании. Такова была трагедия. Эти сцены, часто повторяясь, привели к тому, что наша жизнь стала совершенно невозможной.

Моим уделом было вдохновить великую любовь этого гения, и моим же уделом оказалась попытка примирить продолжение моей собственной артистической деятельности с его любовью. Немыслимое сочетание! После первых нескольких недель необузданной, страстной любви завязалась отчаянная битва между гением Гордона Крэга и моим искусством.

— Почему ты не бросишь театр? — говорил он. — Почему ты предпочитаешь появляться на сцене и размахивать вокруг себя руками? Почему бы тебе не остаться дома и не точить мне карандаши?

И все же Гордон Крэг ценил мое искусство, как никто другой. Но его самолюбие, его ревность как артиста не позволяли ему признать, что и женщина могла быть действительно артисткой.

* * *

Моя сестра Элизабет образовала при Грюневальдской школе комитет из высокопоставленных женщин, аристократок Берлина. Узнав о Крэге, они прислали мне длинное письмо, содержавшее упреки, изложенные в величественных выражениях и гласившие, что они, члены приличного буржуазного общества, не могут оставаться больше патронессами школы, руководительница которой имеет такие смутные понятия о морали.

Фрау Мендельсон, жена крупного банкира, была избрана дамами для передачи мне письма. Придя со своим ужасным посланием, она с некоторой нерешительностью взглянула на меня и, внезапно разразившись слезами, кинула письмо на пол. Заключив меня в объятия, она воскликнула:

— Не думайте, что я подписала это гнусное письмо. Что же касается остальных, то с ними ничего нельзя поделать. Они не хотят больше быть патронами этой школы. Они доверяют лишь вашей сестре Элизабет.

У Элизабет были свои собственные убеждения, но она не предавала их гласности. Я убедилась, что символ веры этих дам заключался в том, что все хорошо, если вы об этом не рассказываете. Эти женщины возбудили во мне такое негодование, что я наняла зал филармонии и прочла специальную лекцию о танце как об искусстве освобождения,

закончив беседой о праве женщины любить и рожать детей, как ей нравится.

Разумеется, мне возразят: «Но что будет с детьми?» Отлично, я могу привести фамилии многих выдающихся людей, которые были рождены вне брака. Это не помешало им добиться славы и богатства. Но, оставляя это в стороне, я спрашивала себя, как может женщина вступить в брак с мужчиной, который, по ее мнению, настолько подл, что в случае размолвки не станет даже оказывать поддержку своим собственным детям. Если она считает, что он такой человек, зачем же ей выходить за него замуж? Я полагаю, что правда и взаимное доверие являются первыми принципами любви. Во всяком случае, я, привыкшая к собственному заработку женщина, думаю, что если я приношу в жертву свои силы и здоровье и даже рискую жизнью, чтобы иметь ребенка, то, конечно, я не соглашусь на то, чтобы в один прекрасный день мужчина мог заявить: ребенок по закону принадлежит мне, и я отбираю его у тебя, ты же будешь видеться с ним только три раза в год.

Всякая интеллигентная женщина, которая, прочтя брачный контракт, затем подписывает его, заслуживает его последствий.

Моя лекция вызвала значительный скандал. Половина слушателей сочувствовала мне, но другая половина шикала и бросала на сцену все, что попадалось им под руку. Под конец несогласная половина покинула зал, а с остальными у меня были интересные дебаты о справедливых и ошибочных притязаниях женщин, которые значительно опередили нынешнее женское движение.

Я продолжала жить в нашей квартире на Викториаштрассе, между тем как Элизабет переехала в школу. Моя мать колебалась между нами. Начиная с этого времени, мать, которая при всех предыдущих лишениях и несчастьях переносила свои мытарства с необыкновенным мужеством, начала находить жизнь очень мрачной. Ее нрав стал в высшей степени неуравновешенным. Она часто находилась в таком настроении, что ее ничто не радовало. Впервые со времени нашего выезда за границу она начала выражать тоску по Америке и говорить, насколько там все было лучше, — пища и т. д.

Мне думается, что этой переменой своего характера моя мать, вероятно, была обязана своей всегдашней добродетели, в которой она жила в течение многих лет, посвятив себя лишь детям. Сейчас, когда поглощавшие нас интересы постоянно отрывали нас от нее, она ясно осознала, что в действительности лучшие годы своей жизни растратила на нас, ничего не оставив для себя. Так, мне кажется, поступают многие матери, в

особенности в Америке. Эти изменчивые настроения с ее стороны все усиливались, она постоянно выражала желание вернуться на родину и вскоре так и поступила.

* * *

Мои мысли всегда были на вилле в Грюневальде с ее сорока кроватками. Какой необъяснимой кажется судьба, ведь повстречай я Крэга на несколько месяцев раньше, не было бы ни виллы, ни школы. В нем я нашла такое совершенство, что не чувствовала бы никакого стремления основывать школу. Но сейчас, когда мечта моего детства начала действительно осуществляться, она сделалась моей навязчивой идеей.

Вскоре я обнаружила — и в этом не оставалось ни малейшего сомнения, — что я беременна. Но я продолжала танцевать перед публикой, преподавать в школе, любить своего Эндимиона[51].

Бедный Крэг казался беспокойным, нетерпеливым, несчастным; обкусывая ногти до мяса, он часто восклицал:

— Моя работа! Моя работа! Моя работа!

* * *

Наступила весна. У меня был контракт на Данию, Швецию и Германию. В Копенгагене меня больше всего поразило необычайно интеллигентное и счастливое выражение на лицах молодых женщин, свободно идущих по улицам без спутников, в своих студенческих шапочках, надетых на темные кудри. Я была удивлена. Я никогда еще не видела таких привлекательных девушек. Но мне объяснили, что Дания первая страна, которая добилась избирательного права для женщин.

Это турне пришлось предпринять из-за расточительных расходов на школу. Я успела исчерпать свои денежные запасы, и у меня совершенно не осталось денег.

В Стокгольме публика встретила меня с большим вниманием, и после спектакля девушки из гимнастической школы проводили меня в гостиницу, прыгая возле моей кареты, чтобы выразить свою радость. Я посетила гимнастический институт, но мой визит не превратил меня в его пылкую поклонницу. Мне кажется, что шведская гимнастика подразумевает статическое, неподвижное тело и игнорирует живое, плавное человеческое тело.

Она также рассматривает мышцы как самоцель, вместо того чтобы признавать их лишь механической оправой, неиссякающим

источником развития. Шведская гимнастика является ложной системой телесной культуры, она не придает никакого значения воображению и мыслит о теле как о вещи, а не как о жизненной кинетической энергии.

Я посещала школы и объясняла это ученикам по мере своих сил. Но, как и ожидала, они мало что поняли. Во время своего пребывания в Стокгольме я послала приглашение Стриндбергу[52], которым я очень восхищалась, приехать посмотреть, как я танцую. Он ответил, что никуда не выезжает и ненавидит людей. Тогда я предложила ему место на сцене, но и туда он не пришел.

После успешного сезона в Стокгольме мы вернулись в Германию морем. На пароходе я совершенно расхворалась и поняла, что мне было бы лучше на время прекратить дальнейшее турне. Я чувствовала сильное влечение к одиночеству и желание скрыться подальше от людских взглядов.

В июне после непродолжительного посещения своей школы у меня возникло сильное желание очутиться возле моря. Я уехала сперва в Гаагу, а оттуда — в маленькую деревушку под названием Нордвик на берегу Северного моря. Здесь я наняла небольшую белую виллу посреди дюн, называвшуюся «Вилла Мария».

Я была настолько неискушена, что считала роды совершенно естественным процессом. Я поселилась на вилле, отстоявшей на сотню миль от ближайшего города, и наняла деревенского врача. В своем неведении я вполне довольствовалась этим деревенским врачом.

От Нордвика до ближайшей деревни Кадвик было расстояние около трех километров. Я жила здесь совершенно одна. Ежедневно совершала прогулку от Нордвика до Кадвика и обратно. Неизменно меня влекло к морю, влекло к одиночеству в Нордвике, в маленькой белой вилле, совершенно затерянной между песчаными дюнами, простирающимися на многие мили по обеим сторонам красивой деревушки. Я прожила на «Вилле Мария» в течение июня, июля и августа.

Тем временем я поддерживала деятельную переписку со своей сестрой Элизабет, которая в мое отсутствие заведовала Грюневальдской школой. В течение июля я занесла в свой дневник правила преподавания в школе, выработав последовательное руководство танцами — серию из пятисот упражнений, которые привели бы учеников от простейших движений к самым сложным.

Моя маленькая племянница Темпль, воспитывавшаяся в Грюневальдской школе, приехала провести со мной три недели. Она часто танцевала у моря.

Крэг не мог усидеть на месте. Он то приезжал, то уезжал. Но я уже не была одинокой. Ребенок напоминал о себе все чаще и чаще. Казалось странным видеть, как мое тело расплывалось и увядало, распухало и обезображивалось. Я очень страдала. Бессонны были мучительные ночные часы. Но я переживала также и радость. Неизмеримую, безграничную радость, когда каждый день я ходила по песку вдоль пустынного побережья от Нордвика к Кадвику. С одной стороны вздымались волны моря, а с другой тянулись дюны.

Я стала страшиться всякого общества.

Я заперла свои двери перед всеми посетителями, исключая одного доброго и верного друга, который приезжал из Гааги на велосипеде, привозя с собой книги и журналы. Он развлекал меня беседами о последних событиях в искусстве, музыке и литературе. К этому времени он женился на известной поэтессе, о которой часто рассказывал с благоговейной нежностью. Будучи человеком методическим, он приезжал в определенные дни, и даже сильный шторм не мог удержать его от выполнения своего расписания. Если не считать его, я находилась преимущественно наедине с морем, дюнами и ребенком, которому, казалось, уже сильно не терпелось поскорее появиться на свет.

Как долго и мучительно тянулись часы! Дни, недели, месяцы — как медленно они проходили!

Отчего моей матери не было со мной? Причина лежала в ее нелепом предрассудке, что я должна выйти замуж. Но ведь она сама была замужем, нашла брак невыносимым и развелась со своим мужем. Почему же она добивалась, чтобы я попала в тот капкан, в котором она сама жестоко пострадала? Я противилась браку всеми силами своего существа. Я считала и продолжаю считать брак нелепым и порабощающим установлением, неизбежно приводящим к искам о разводе и диким и пошлым судебным процессам. Если кто-либо усомнится в моих словах, пусть составит краткий список всех разводов и всех связанных с ними скандалов по американским газетам за последние десять лет.

В августе ко мне приехала и осталась со мной в качестве няни женщина, которая впоследствии стала моим любимейшим другом, Мэри Кист. Я никогда не встречала более терпеливой, нежной и ласковой женщины. Она стала для меня большим утешением. Признаюсь, что меня начали терзать различнейшие страхи. Напрасно я уговаривала себя, что все женщины имеют детей. У моей бабушки их было восемь. У моей матери четверо. Все это в порядке вещей. Тем не менее страх не проходил. Перед чем? Конечно, не перед смертью и даже не перед муками —

неведомый страх перед чем-то мне неизвестным.

Пришел август. Наступил сентябрь. Мое бремя стало очень тягостным. Часто я вспоминала о своих танцах, и меня охватывало безутешное сожаление об искусстве.

Мое тело все сильнее и сильнее раздавалось на моих глазах. Груди стали большими, мягкими и отвислыми. Куда девалось мое честолюбие? Слава? Часто, вопреки самой себе, я чувствовала себя несчастной и разбитой. Игра, которую я вела с жизнью, казалась непосильной. Но затем я вспоминала о грядущем ребенке, и все мучительные мысли исчезали.

Однажды я получила приятнейший сюрприз. Из Парижа приехала моя задушевная подруга по имени Катлин, с которой я познакомилась в Париже, и заявила, что намеревается остаться со мной. Она была человеком, полным жизни, здоровья и отваги. Впоследствии Катлин вышла замуж за исследователя — капитана Скотта[53].

Как-то днем, когда мы все сидели за чаем, я почувствовала гулкий удар, словно меня оглушили посередине спины, а затем ужасную боль, точно мне вонзили бурав в позвоночник и пытались его вскрыть. С этой минуты началась пытка, словно я была несчастной жертвой, попавшей в руки могучего и безжалостного палача. Не успела я оправиться от первого приступа, как наступил второй. Неумолимый, жестокий, не знающий ни прощения, ни жалости, ужасный незримый дух душил меня своею лапой и терзал беспрерывными спазмами мои кости и сухожилия. Говорят, такие страдания быстро забываются. Все, что я могу на это ответить, это что стоит мне закрыть глаза, и я вновь слышу, как тогда, свои вопли и стоны.

Неслыханным, грубым варварством является тот факт, что женщина все еще вынуждена переносить такую чудовищную пытку. Нужно исправить это! Нужно положить этому конец! Просто нелепо, что при нынешнем уровне нашей науки безболезненность родов не стала еще в порядке вещей. Это так же непростительно, как если бы врачи оперировали аппендицит без обезболивания.

В течение двух дней и двух ночей длился этот неописуемый ужас. А на третье утро мой нелепый врач принес пару огромных щипцов и без всякого анестезирующего средства довершил бойню. Думается, ничто не может даже приблизительно сравниться с моими страданиями, разве если бы я попала под поезд.

Я не желаю слышать ни о каком женском либо суффражистском движении, пока женщины не положат конец этим мукам, которые я считаю совершенно бесполезными, и не

настоят, чтобы операция родов, как и всякая иная, была бы сделана безболезненной и легко переносимой.

Но ведь я не умерла от них. Да, не умерла, как не умирает несчастная жертва, вовремя снятая с орудий пытки. Мне могут возразить, что, увидав ребенка, я была вознаграждена за все. Да, конечно, я испытала высшую радость, но, несмотря на это, я даже сейчас дрожу от негодования, когда вспоминаю о том, что я перенесла, и о том, что переносят множество жертв благодаря невыразимому эгоизму и слепоте ученых, допускавших такие жестокости, в то время как они могут быть искоренены.

О, но ребенок! Ребенок родился удивительный, сложен, как Купидон, с голубыми глазами и длинными, темными волосами, которые затем выпали и сменились золотистыми кудрями. И, чудо из чудес, ротик искал мою грудь и, кусая и дергая ее беззубыми деснами, пил хлынувшее молоко.

В течение первых недель я обычно лежала с ребенком на руках, любуясь его сном, иногда перехватывала взгляд его глаз. Как описать эту радость? Неудивительно, что я, не будучи писательницей, совершенно не могу найти для этого слов.

Мы вернулись в Грюневальд с ребенком и моим милым другом Мэри Кист. Все дети были очень рады увидеть ребенка. Я сказала Элизабет:

— Она самая юная наша ученица.

Все спрашивали, как мы ее назовем.

Крэг вспомнил о чудесном ирландском имени Дирдрэ. Дирдрэ — возлюбленная Ирландии. Итак, мы назвали ее Дирдрэ.

Мало-помалу ко мне возвращались силы. Я вновь была вполне готова к бою.

Глава двадцатая

Нашей ближайшей соседкой была Джульетта Мендельсон, которая жила в своей пышной вилле с мужем, богатым банкиром. Она приняла живое участие в моей школе, невзирая на ренегатство буржуазных друзей. Однажды она пригласила нас всех танцевать перед Элеонорой Дузе[54].

Я представила Дузе Гордона Крэга. Он сразу очаровал ее, и она заинтересовалась его взглядом на театр. После нескольких встреч, вызвавших взаимный энтузиазм, она пригласила нас приехать во Флоренцию и пожелала, чтобы Крэг сделал постановку. Было решено, что Гордон Крэг поставит во Флоренции для Элеоноры Дузе «Росмерсхольм» Ибсена.

Мы все отправились экспрессом, идущим во Флоренцию: Элеонора Дузе, Крэг, Мэри Кист и я с ребенком.

В пути я нянчила ребенка, но у меня испортилось молоко, и мне пришлось кормить его из бутылки. Несмотря на это, я была бесконечно счастлива. Двое самых дорогих мне во всем мире людей встретились.

Прибыв во Флоренцию, мы разместились в небольшой гостинице вблизи Гранда, где Элеонора заняла королевские апартаменты.

Начались первые дискуссии, в которых я служила переводчицей между Крэгом, не понимавшим ни по-французски, ни по-итальянски, и Дузе, которая не знала ни единого слова по-английски. Я очутилась между этими двумя великими гениями, взгляды которых, как это ни странно, оказались с самого начала в полном противоречии друг другу. Я пыталась удовлетворить обоих и угодить им путем неточной передачи смысла их слов. Надеюсь, что ложь, которую я применяла при переводе, простится мне, ибо она служила святой цели: я стремилась, чтобы великая постановка осуществилась, а этого никогда бы не случилось, если бы я действительно передавала Дузе все, что ей говорил Крэг, и в точности повторяла бы Крэгу распоряжения Дузе.

В первым действии «Росмерсхольма» Ибсен описывает гостиную «как комнату, комфортабельно обставленную старинной мебелью». Но Крэгу хотелось представить огромный египетский храм с безмерно высоким потолком, простирающимся в небо, и со стенами, отступающими в отдаление. Несхожим с египетским храмом было лишь огромное квадратное окно, находившееся в дальнем конце. В описании Ибсена из окна открывается вид на старую аллею, ведущую во двор. Крэгу же хотелось представить окно в десять метров на двенадцать, из

которого бы открывался пейзаж, пылающий желтыми, красными и зелеными красками, и который вполне мог сойти за декорацию Марокко. Во всяком случае, его нельзя было принять за старинный двор.

Элеонора, с несколько смущенным видом, сказала:

— Я представляю себе окно небольшим. Оно не должно быть большим.

На что Крэг загремел по-английски:

— Скажи ей, что я не потерплю, чтобы хоть одна баба вмешивалась в мою работу.

Я осмотрительно перевела эти слова Элеоноре:

— Он говорит, что он восхищен вашими суждениями и сделает все, чтобы угодить вам.

Затем, обратившись к Крэгу, я опять дипломатически перевела ему возражения Дузе:

— Элеонора Дузе говорит, что так как ты великий гений, она не станет делать тебе никаких указаний относительно твоих эскизов и принимает их в таком виде, как они есть.

Такие беседы иногда продолжались часами. Часто они совпадали со временем кормления ребенка, но я, тем не менее, всегда была под рукой, чтобы исполнять важную роль переводчика-миротворца. Мне часто приносило тяжкие страдания, если время кормления миновало, а я, между тем, объясняла обоим артистам то, чего они не говорили друг другу. Я устала. Здоровье мое пошатнулось. Эти утомительные беседы сделали период моего выздоровления мучительным. Но, предвидя великое артистическое событие, которое должно произойти, — постановку «Росмерсхольма», с декорациями, созданными Крэгом для Элеоноры Дузе, — я понимала, что никакая жертва, принесенная мной, не может быть чрезмерной.

Крэг замуровался в театре и, запасшись большой кистью и дюжиной огромных горшков с краской, начал сам рисовать декорации, ибо он не мог найти работников-итальянцев, вполне понимающих, чего он добивается. Крэг проводил в театре почти круглые сутки. Он не выходил оттуда даже чтобы поесть. Если бы я не приносила в корзине скромный завтрак, он оставался бы совсем без пищи.

Гордон отдал единственный приказ:

— Не пускай Дузе в театр. Удерживай ее от прихода сюда. Если она придет, я сяду в поезд и уеду.

А между тем Дузе горела желанием посмотреть, как идет работа. У меня была задача, не обижая, тактично удерживать ее от посещения театра. Я уводила ее на продолжительные прогулки по садам, где прекрасные статуи и изысканные цветы

успокаивали ее нервы.

Никогда не забуду картину, как Дузе гуляла по этим садам. Все встречные прохожие расступались перед ней и глядели на нас с уважением и с любопытством. Дузе не любила, когда публика смотрела на нее. Она выбирала окольные дороги и боковые аллеи, чтобы избежать людских взоров.

Но если Дузе приходила в личное соприкосновение с людьми, нельзя было найти более симпатичного и обаятельного человека.

Декорация для «Росмерсхольма» продвигалась вперед. Каждый раз, когда я приносила в театр Крэгу его завтрак либо обед, я заставала его в состоянии, граничащем с гневом или с неистовой радостью. То он считал, что его работа окажется величайшим зрелищем, какое увидит артистический мир, то кричал, что он ничего не сможет добиться в этой стране, где нет красок, нет работников, где все он должен делать сам.

Приближался час, когда Элеонора должна была увидеть законченные декорации. Я удерживала ее до тех пор всяческими маневрами, какие я только могла придумать. Когда все же этот день наступил, я зашла за ней и в назначенный час повела ее в театр. Она была в состоянии сильного нервного возбуждения, которое, я боялась, могло в любую минуту разразиться, как шторм, яростной бурей. Элеонора встретила меня в передней своей гостиницы. Она облачилась в длинное коричневое меховое пальто и коричневую меховую шапку, похожую на шапку русского казака и надвинутую набекрень на глаза. Несмотря на то, что Дузе, по совету своих любезных друзей, иногда покровительствовала модным портным, она никогда не умела носить сшитое по моде платье и иметь сколько-нибудь шикарный вид. Ее платье всегда было вздернуто с одной стороны и свисало с другой. Шляпа всегда была сдвинута набок. Как бы дорого ни стоили ее наряды, она носила их, как бы покоряясь тому, что они сидят на ней.

По пути в театр я чувствовала такое волнение, что едва могла говорить. С тонкой дипломатичностью я удержала Дузе, когда она хотела броситься через артистический ход, и провела ее в ложу, через заранее открытые мной главные двери. Наступило долгое ожидание, в течение которого я пережила несказанные муки, ибо Дузе все спрашивала:

— Будет ли окно таким, как я его себе представляю? Где же декорации?

Я крепко держала ее за руку, сжимая ее, и говорила:

— Одну минуту… Вы скоро увидите. Имейте терпение.

Но мной овладевал страх при мысли об этом «небольшом» окне, которое приняло размеры самые исполинские, какие можно

себе представить.

Время от времени раздавался повышенный голос Крэга, пытающегося говорить по-итальянски и выкрикивающего:

— Черт побери! Черт побери! Почему вы это здесь не поставили? Почему вы не делаете того, что я вам говорю?

Затем вновь наступило молчание.

Наконец, после ожидания, которое, казалось, длилось часы, и я чувствовала, что растущее раздражение Элеоноры готово прорваться в любую минуту, занавес медленно поднялся.

О, могу ли я описать, что предстало перед нашими пораженными, восхищенными глазами! Я говорила о египетском храме? Ни один египетский храм никогда не сверкал такой красотой! Ни готический собор, ни афинский дворец! Никогда не видала я ничего подобного. Минуя обширные голубые просторы, небесную гармонию, возносящиеся линии, огромные высоты, душа каждого из нас устремлялась к свету этого исполинского окна, за которым виднелась не маленькая аллея, а бесконечная вселенная. В этих голубых просторах заключалась мысль, созерцание и земная печаль человека. Разве это была жилая комната «Росмерсхольма»? Не знаю, как воспринял бы ее Ибсен. Вероятно, он пришел бы в такое же состояние, как и мы, — безгласное и поглощенное.

Рука Элеоноры сжала мою. Я видела, как слезы струятся по ее прекрасному лицу. Несколько минут мы просидели в безмолвии, сжимая друг другу руки. Затем она взяла меня под руку и потащила из ложи, быстро, большими шагами устремилась по коридору на сцену. Она остановилась на сцене и голосом, воплощавшим Дузе, воскликнула:

— Гордон Крэг! Подите сюда!

Крэг вышел из-за боковых кулис, с застенчивым, точно у мальчика, видом. Дузе заключила его в объятия, и из ее уст полился такой поток итальянских похвал, что я не успевала переводить их Крэгу. Они струились, как вода, бьющая из фонтана.

Крэг не плакал от волнения, как мы, но в течение долгого времени оставался безмолвным, что было для него признаком глубокого волнения.

Артисты безучастно ждали за кулисами. Дузе созвала всю труппу к себе. Она произнесла перед ними воодушевленную речь:

— Моим уделом было найти великого гения, Гордона Крэга. Я намереваюсь посвятить остаток моей сценической карьеры показу миру его великого творения.

Держа руку Крэга в течение всей своей речи и неоднократно обращаясь к нему, она говорила о его гении и о новом великом

возрождении театра.

— Лишь благодаря Гордону Крэгу, — повторяла она, — мы, жалкие актеры, избавимся от чудовищности того морга, каким является современный театр.

Вообразите мою радость при ее словах. Я была тогда молода и неискушенна. Увы! Я верила, что в минуты высшего энтузиазма люди действительно думают то, что говорят. Я рисовала себе Элеонору Дузе, отдающую свой великолепный гений служению искусству моего великого Крэга. Я рисовала себе будущее как несказанный триумф Крэга и расцвет искусства театра. Увы! Я не учла непостоянства такого энтузиазма.

При первом представлении «Росмерсхольма» огромная нетерпеливая толпа заполнила театр Флоренции. Когда занавес поднялся, раздался единый вздох восхищения. Иначе и не могло быть. Это единственное представление «Росмерсхольма» до сего дня хранят в памяти знатоки искусства во Флоренции.

Мы вернулись со спектакля в приподнятом настроении. Крэг сиял от радости. Он видел перед собою свое будущее, ряд великих творений, посвященных Элеоноре Дузе, которую он сейчас восхвалял так же искренне, как прежде негодовал на нее. Как жаль, что есть людское непостоянство! Это был единственный вечер, когда гений Дузе сполна развернулся в постановке Крэга. Она продолжала играть в своем репертуаре. Каждый вечер шли разные пьесы.

Как-то утром, когда возбуждение стихло, я, посетив банк, выяснила, что мой счет совершенно иссяк. Появление ребенка, потребности Грюневальдской школы, наша поездка во Флоренцию — все это поглотило мои денежные ресурсы. Назрела необходимость подумать о каком-либо способе вновь пополнить денежный сундук. Тут своевременно подоспело приглашение от одного петербургского импресарио, спрашивавшего меня, готова ли я вновь танцевать, и предлагавшего контракт на турне по России.

И вот я, оставив ребенка на попечение Мэри Кист, а Крэга — заботам Элеоноры, села в экспресс, направлявшийся через Швейцарию и Берлин в Петербург. Первая разлука с ребенком, а также с Крэгом и Дузе была для меня очень мучительна.

К тому же мое здоровье было еще в неважном состоянии. Ребенок еще не совсем был отнят от груди, и это было для меня жутким испытанием и часто служило причиной слез.

Все дальше и дальше на север уносился поезд, и вот я вновь очутилась между равнин, покрытых снегом и лесом, казавшихся сейчас еще более пустынными, чем раньше. Душой я стремилась к Дузе и Крэгу и не думала о своем искусстве, и вообще я

нисколько не была подготовлена к испытаниям турне.

Однако славная русская публика встретила меня со своим традиционным энтузиазмом и смотрела сквозь пальцы на погрешности, которые, может быть, и были в спектакле.

Об этом турне по России я помню немного. Излишне говорить, что мое сердце всеми своими струнами влекло меня вернуться во Флоренцию. Поэтому я по возможности сократила турне и приняла ангажемент на гастроли в Голландии, ибо они немного приближали меня к школе и к тем, которых я так жаждала увидеть.

В первый же вечер, когда я появилась на сцене в Амстердаме, мной овладела странная болезнь. Думаю, что с молоком случилось то, что называется молочной лихорадкой. После концерта я упала ничком на сцене, и меня пришлось отнести в гостиницу. Я пролежала там в затемненной комнате в течение многих дней и недель, обложенная мешками со льдом. У меня нашли неврит, болезнь, от которой ни один врач не мог предложить лекарства. В течение нескольких недель я не могла ничего есть, и меня кормили лишь небольшим количеством молока с опиумом. Один бред сменялся другим, и под конец я впала в бессознательный сон.

Крэг примчался из Флоренции и проявил большую преданность. Он оставался со мной три или четыре недели, помогал ухаживать за мной, пока однажды не получил телеграмму от Элеоноры: «Я ставлю «Росмерсхольм» в Ницце. Декорации неудовлетворительны. Приезжайте немедленно».

Я уже немного поправилась, и Крэг уехал в Ниццу. Но эту телеграмму я восприняла как грозное предостережение того, что могло произойти между ними обоими, если возле них не будет меня — переводчицы, усмиряющей разногласия.

Однажды утром Крэг явился в ужасное, ветхое казино в Ницце и обнаружил, что его декорации разрезали пополам без ведома Элеоноры. Увидав перед собой создание своего искусства, свой шедевр, свое детище, над рождением которого он работал с таким пылом во Флоренции, искромсанным и изувеченным, Крэг пришел в ужасное бешенство, жертвой которого он иногда становился. И что хуже всего, он напустился на Элеонору, которая в эту минуту находилась на сцене.

— Что вы наделали? — разразился он криком. — Вы погубили мою работу. Вы уничтожили мое искусство! Вы, от которой я столько ждал!

Он безжалостно продолжал кричать, пока Элеонора, которая, конечно, не привыкла, чтобы с ней разговаривали таким тоном, не рассвирепела. Впоследствии она так рассказала мне о

случившемся:

— Я никогда не встречала подобного человека. Со мной никогда так не говорили. Никто со мной так не обращался. Естественно, я не могла перенести этого. Я указала на дверь и сказала:

— Уходите. Я не желаю больше никогда вас видеть. Так наступил конец ее намерению посвятить всю свою карьеру гению Гордона Крэга.

* * *

В Ниццу я приехала настолько слабой, что из вагона меня пришлось вынести. Была первая ночь карнавала, и по пути в гостиницу на мою открытую карету напала банда разнообразных масок Пьеро, гримасы которых казались мне похожими на «танец смерти».

Элеонора Дузе тоже лежала больная в гостинице, расположенной вблизи от моей. Она прислала мне множество нежных записок, а также своего врача Эмилия Боссона, который не только с огромной преданностью ухаживал за мной, но с этого времени стал одним из лучших моих друзей на всю жизнь. Мое выздоровление оказалось долгим, и меня одолели страдания и тоска.

Моя мать, а также мой верный друг Мэри Кист с ребенком приехали ко мне. Ребенок был красивый и крепкий, с каждым днем он все хорошел. Мы переехали в Монт Борон, где с одной стороны открывался вид на море, а с другой — на вершину горы, у которой некогда размышлял Заратустра со своими змеей и орлом. Живя на солнечной площадке, я постепенно возвращалась к жизни. Но жизнь оказалась обремененной более, чем когда-либо, денежными затруднениями, и чтобы уладить их, я, как только оказалась в силах, вернулась к своему турне по Голландии. Но чувствовала себя еще очень слабой и упавшей духом.

Я обожала Крэга — я очень любила его, но я ясно сознавала, что наша разлука была неизбежна, я дошла до такого безумного состояния, когда не могла дольше ни жить с Крэгом, ни без него. Жить с ним означало отречься от своего искусства, от личности, более того, может быть, и от самой жизни и рассудка. Жить без него означало остаться в состоянии постоянного уныния, мучиться ревностью, для которой, увы, у меня были все основания. Образ Крэга в объятиях другой женщины преследовал меня по ночам, и я не могла уснуть. Образ Крэга, который

объясняет свое искусство женщинам, взирающим на него с обожанием, образ Крэга, которому нравятся другие женщины, который очаровывает их своей пленительной улыбкой, который увлечен ими, образ Крэга, говорящего себе: «Эта женщина мне нравится… в конце концов, Айседора невыносима».

Все это попеременно повергало меня в припадки ярости и отчаяния. Я не могла работать, не могла танцевать и совершенно не заботилась, нравлюсь я публике или нет.

Я поняла, что такому положению вещей надо положить конец. Или искусство Крэга, или мое. Но я знала, что отказаться мне от искусства было немыслимо: истомилась бы, умерла бы от горя. Я должна была найти средство. Вспомнились мудрости гомеопатов, и средство нашлось.

Как-то днем ко мне вошел мужчина, красивый, изящный, молодой, белокурый, отлично одетый, и произнес:

— Друзья называют меня Пимом.

— Пим, какое очаровательное имя, — сказала я. — Вы артист?

— О, нет, — воскликнул он, словно я обвинила его в преступлении.

— Что же вы тогда предложите? Великую идею?

— О, нет. У меня совсем нет идей, — возразил он.

— Ну, а цель в жизни?

— Никакой.

— Чем же вы занимаетесь?

— Ничем.

— Но чем-нибудь должны же вы заниматься.

— Ну, — вдумчиво ответил он, — у меня есть прекрасная коллекция табакерок восемнадцатого века.

Вот в нем-то я и нашла средство. Я подписала контракт на турне по России, — длинное, тягостное турне не только по северной России, но и по южной и Кавказу, а я приходила в ужас от долгих путешествий в одиночестве.

— Поедете ли вы со мной в Россию, Пим?

— О, с величайшим удовольствием, — живо ответил он, — но у меня есть мать. Хотя я мог бы убедить ее… но есть еще кое-кто, — он покраснел, — кто меня очень любит и, вероятно, не согласится отпустить.

— Но мы можем уехать тайком.

Итак, был выработан план, что после моего последнего концерта в Амстердаме нас будет ждать автомобиль у задних дверей театра, и мы уедем на нем за город. Уговорились с моей горничной, что она привезет багаж экспрессом, в который мы сядем на ближайшей от Амстердама станции.

Стояла туманная, холодная ночь. Над полями висел густой туман. Шофер не соглашался ехать быстро, так как дорога шла возле канала.

— Нам грозит большая опасность! — предупредил он и поехал медленно.

Но эта опасность была ничто в сравнении с погоней. Внезапно Пим оглянулся и воскликнул:

— Боже мой, она преследует нас!

Я не нуждалась в дальнейших объяснениях.

— У нее, вероятно, имеется пистолет, — сказал Пим.

— Скорее, скорее! — торопила я шофера, но он лишь указал туда, где сквозь туман блестели воды канала. Все казалось очень романтичным. Наконец шофер перехитрил преследователей, и мы, добравшись до станции, остановились в гостинице.

Было два часа ночи. Старый ночной швейцар осветил фонарем наши лица.

— Одну комнату, — сказали мы вместе.

— Одну комнату? Ну, нет. Разве вы женаты?

— Да, конечно! — ответили мы.

— Нет, нет! — проворчал он. — Вы не женаты. Я знаю. У вас слишком счастливый вид. — И несмотря на наши протесты, он разлучил нас, расселив по комнатам в противоположных концах длинного коридора и испытал злобное удовольствие от того, что просидел в нем всю ночь, держа фонарь на коленях. Стоило Пиму или мне высунуть голову, как он подымал фонарь и говорил:

— Нет, нет, раз вы не женаты, невозможно, нет, нет!

Утром, чуточку устав от ночной игры в прятки, мы сели в скорый поезд на Петербург — никогда я не совершала более приятного путешествия.

Когда мы прибыли в Петербург, я пришла в недоумение, видя, как носильщик выгружал с поезда восемнадцать чемоданов, все отмеченные инициалами Пима.

— Что это такое? — спросила я, разинув рот.

— О, это мой багаж, — сказал Пим. — В этом чемодане мои галстуки, в тех двух мое белье, а в том ботинки. А вон тот заключает в себе мои специальные, отделанные мехом, жилеты, — они очень пригодятся в России.

В гостинице «Европейская» лестница была широкая, и по этой лестнице Пим сбегал каждый час в костюме другого цвета и новом галстуке — на удивление всем зрителям. Он был всегда изысканно одет и, в самом деле, являлся законодателем мод в Гааге. Голландский художник Ван-Влей нарисовал его портрет на фоне разноцветных тюльпанов — золотистых, пурпурных и розовых.

Пим был красив — белокурый и голубоглазый, но без всякого интеллектуального комплекса. Его любовь подтверждала мне афоризм Оскара Уайльда: «Лучше радость, которая длится минуту, чем скорбь, которая длится вечно». Пим давал радость, которая длится минуту. До этого времени любовь приносила мне одни лишь идеалы и страдания. Пим принес мне радость — одну только настоящую, восхитительную радость, как раз в ту минуту, когда я больше всего в ней нуждалась, ибо без Пима я бы погрузилась в безнадежную неврастению. Присутствие Пима вдохнуло в меня новую жизнь, новую радость бытия. Может быть, впервые я познала наслаждение простой и легкомысленной молодости. Он смеялся при каждом слове, прыгал и танцевал. Я позабыла свое огорчение, жила настоящей минутой и была беззаботна и счастлива. Как следствие жизнь и радость, возродившись, били ключом через край и в моих концертах.

Именно тогда я сочинила «Музыкальный момент», который имел такой успех у русских, что мне приходилось повторять его каждый вечер, по пять или шесть раз. «Музыкальный момент» был танцем Пима — радость на миг: «Музыкальный момент».

Глава двадцать первая

Если бы я рассматривала танец лишь как исполнение соло, мой жизненный путь был бы совершенно прост. Достигнув уже славы, желанная в любой стране, я должна была лишь продолжать свою триумфальную карьеру. Но, увы, я была одержима мыслью о школе, обширном ансамбле, танцующем Девятую симфонию Бетховена. Ночью, стоило мне лишь закрыть глаза, эти образы возникали в моем сознании величественными рядами, взывая ко мне, чтобы я претворила их в жизнь.

С этими мечтами я вернулась в Грюневальд, чтобы преподавать небольшой группе учеников, которые уже учились танцевать. Их красота укрепила мою веру в возможность оркестра из танцоров, воплотившего бы в зрительных образах великие симфонии, созданные для слуха. С каждым днем дети становились сильнее, гибче. Зрелище танцующих детей было так прекрасно, что пробуждало восхищение у всех артистов и поэтов.

Тем не менее, покрывать расходы по школе становилось все труднее, и я возымела мысль повезти детей с собой в различные страны, чтобы поискать, не найдется ли хотя бы одного правительства, которое признает, что такое воспитание является прекрасным для детей, и предоставит мне возможность испытать на опыте свой проект создания массового танца.

В конце каждого концерта я обращалась к публике с призывом помочь моей школе.

Мне становилось все яснее и яснее, что в Германии я не найду поддержки, в которой нуждалась. Взгляды супруги кайзера были настолько пуританскими, что, посещая мастерскую какого-либо скульптора, она посылала вперед состоявшего при ней майора Домо, чтобы он прикрыл все голые фигуры простынями. Тяжелый прусский режим подвел черту под моими дальнейшими мечтами о Германии, как о стране, приемлемой для моего творчества. Тогда я вспомнила о России, ибо в свое время я встретила там такой горячий энтузиазм, что нажила состояние. Имея в виду возможность основать школу в Петербурге, я вновь поехала туда в январе 1907 года в сопровождении Элизабет и группы из двадцати моих маленьких учеников. Этот эксперимент не увенчался успехом. Несмотря на то, что публика встречала с восторгом мои доводы в пользу возрождения подлинного танца, императорский балет в России пустил слишком крепкие корни, чтобы стали возможными какие-либо перемены.

В России еще не наступил день для школы свободных движений тела. Хотя Станиславский делал все, что было в его

силах, чтобы помочь мне, но у него не хватало средств принять нас в свой великий Художественный театр, чего мне так хотелось.

Итак, потерпев неудачу в Германии и России в поисках поддержки для своей школы, я решила попытать счастья в Англии. Летом 1908 года я повезла свою паству в Лондон. Под управлением знаменитых импресарио Жозефа Шумана и Чарлза Фромана мы танцевали в течение нескольких недель в театре Дюк-оф-Йорк. Лондонская публика рассматривала меня и мою школу как очаровательную забаву, и я не смогла найти действенной помощи для учреждения будущей школы.

Семь лет прошло с тех пор, как я впервые танцевала в Новой галерее. Я имела удовольствие возобновить прежнюю дружбу с Чарлзом Галле и поэтом Дугласом Энслайем. Часто приходила в театр великая и прекрасная Эллен Терри. Она любила детей и однажды повела их всех, к их радости, в зоологический сад.

В течение короткого времени меня питали надежды на школу в Англии, но кончились они новым разочарованием.

Как всегда, моя скромная паства требовала огромных расходов. Опять мой счет в банке совершенно иссяк, и под конец школа оказалась вынужденной вернуться в Грюневальд, где я подписала с Чарлзом Фроманом контракт на турне по Америке.

Расставание со школой, с Элизабет и с Крэгом мне стоило больших страданий, но превыше всего печален был разрыв крепких уз между мной и моей девочкой, Дирдрэ, которой уже минул почти год.

И вот в один прекрасный день я оказалась совершенно одна на большом пароходе, направлявшемся в Нью-Йорк, как раз спустя восемь лет с тех пор, как я уехала оттуда на судне для перевозки скота. В Европе я была уже знаменита. Я успела создать искусство, школу, ребенка. Не так уж плохо! Но в финансовом отношении я была немногим богаче, чем прежде.

Чарлз Фроман был великим директором, но ему не дано было понять, что мое искусство нельзя подвергать такому риску, как театральный спектакль. Оно могло апеллировать лишь к ограниченному кругу зрителей. Фроман выпустил меня в августовский зной в качестве аттракциона на Бродвее с маленьким, неполным оркестром, покушавшимся играть «Ифигению» Глюка и Седьмую симфонию Бетховена. В результате, как и следовало ожидать, полная неудача. Немногочисленные зрители, которые заходили в театр в эти знойные вечера, когда жара достигала девяноста градусов[55] и даже выше, приходили в недоумение и в большинстве оставались недовольными тем, что они увидели. Отзывы немногих рецензентов оказались отрицательными. В общем, я не могла не чувствовать, что мое

возвращение на родину явилось большой ошибкой.

Как-то вечером, сидя в своей уборной и чувствуя себя особенно обескураженной, я услыхала приятный задушевный голос, приветствовавший меня, и увидела стоящего на пороге мужчину невысокого роста, с копной темных кудрявых волос и пленительной улыбкой. Он протянул мне руку непосредственным и доброжелательным жестом и наговорил столько прекрасных слов о впечатлении, произведенном на него моим искусством, что я почувствовала себя вознагражденной за все, что претерпела со дня своего прибытия в Нью-Йорк. Это был Джордж Грей Барнард, американский скульптор. С тех пор каждый вечер он приходил на мой концерт и часто приводил с собой артистов, поэтов и других своих друзей. Среди них были Давид Беласко, театральный режиссер, художники Роберт Генри и Джордж Беллоуз, Перси Мак Кэй, Макс Истмэн — действительно, все молодые революционеры Гринвич Вилледжа. Вспоминаю также трех неразлучных поэтов, живших вместе в башне у Вашингтон-сквер, — Э. А. Робинсона, Риджли Торренса и Вильяма Ван Муди.

Дружеские приветствия и внимание поэтов и артистов очень меня ободрили, возместив холодность и равнодушие нью-йоркской публики.

Уолт Уитмэн сказал как-то: «Я слышу, как Америка поет». Как-то в один прекрасный октябрьский день, когда погода была такой, какой она бывает лишь в Нью-Йорке осенью, мы стояли с Джорджем Барнардом на холме, с которого открывается вид на окрестности. Простирая руки, я сказала: «Я слышу, как Америка танцует». И мои слова вдохновили его задумать статую; он хотел, чтобы я была его моделью.

Каждое утро я приходила в его студию, захватив с собой корзинку с завтраком. Мы провели много восхитительных часов, беседуя о перспективах искусства в Америке.

Статуя «Америка танцует» была начата великолепно, но, увы, дальше она не подвигалась. Вскоре, из-за внезапной болезни жены Барнарда, пришлось отказаться от позирования. Я надеялась оказаться его шедевром, но не я вдохновила шедевр Барнарда, а Авраам Линкольн, статуя которого сейчас стоит в мрачном саду перед Вестминстерским аббатством.

Чарлз Фроман, найдя дальнейшее пребывание на Бродвее губительным, попробовал совершить турне по меньшим городам, но и оно было также плохо организовано и закончилось еще большей неудачей, чем даже концерты в Нью-Йорке. Наконец, потеряв терпение, я отправилась поговорить с Чарлзом Фроманом. Я застала его очень расстроенным, вспоминающим о всех потерянных им деньгах.

— Америка не понимает вашего искусства, — сказал он. — Оно значительно выше ума американцев, и они никогда его не поймут. Вам было бы лучше вернуться в Европу.

У меня был контракт с Фроманом на шестимесячное турне с гарантией вне зависимости от успеха. Тем не менее, движимая чувством уязвленной гордости, а также из презрения к его страху перед риском, я взяла контракт и, разорвав его перед глазами Фромана, произнесла: «Во всяком случае, я освобождаю вас от всякой ответственности».

Следуя советам Джорджа Барнарда, неоднократно говорившего мне, что он гордится мной, как детищем американской земли, и что он будет очень горевать, если Америка не оценит моего искусства, я решила остаться в Нью-Йорке. Итак, я наняла студию в Бозар Билдинг[56] и, убрав ее своими голубыми занавесями и ковром, приступила к новому творчеству, танцуя каждый вечер перед поэтами и артистами.

Я радовалась, что послушалась советов Джорджа Грея Барнарда. Ибо однажды в студии появился человек, благодаря которому мне удалось снискать признание американской публики. Это был Вальтер Дэмрош[57]. Он видел, как я танцевала Седьмую симфонию Бетховена в театре Критерион, при небольшом, скверном оркестре, и у него хватило воображения понять, какое впечатление произвел бы этот танец, вдохновленный его собственным прекрасным оркестром.

Дэмрош предложил мне дать ряд концертов в «Метрополитен-опера» в декабре, на что я с радостью согласилась.

Результат был в точности такой, как он предсказывал. На первом же концерте Чарлз Фроман, приславший за билетом в ложу, поразился, узнав, что в театре не осталось ни одного свободного места. Этот опыт доказывает, что как бы велик ни был артист, без соответствующего обрамления может проиграть даже величайшее искусство. Так случилось с Элеонорой Дузе при ее первом турне по Америке. Из-за убогой организации она играла перед почти пустым залом и полагала, что Америка ее никогда не оценит. Между тем, когда она вернулась туда в 1924 году, ее встречали беспрестанными овациями от Нью-Йорка до Сан-Франциско единственно оттого, что на этот раз у Мориса Джеста оказалось достаточно артистической чуткости, чтобы понять ее.

Я очень гордилась тем, что ездила с оркестром из восьмидесяти человек под управлением Вальтера Дэмроша. Это турне оказалось особенно успешным, ибо во всем оркестре царило доброжелательное отношение и к его главе, и ко мне. В самом деле, я чувствовала к Вальтеру Дэмрошу такую симпатию,

что когда я останавливалась посреди сцены, перед тем как начать танцевать, мне казалось, что каждым нервом своего тела я связана с оркестром и его замечательным дирижером.

Это турне по Америке было, наверное, одним из счастливейших периодов в моей жизни. Я страдала только от естественной тоски по дому. Танцуя Седьмую симфонию, я представляла себя среди своих учеников, достигших уже того возраста, когда они могут исполнять ее вместе со мной. Итак, моя радость была неполной, но меня питала надежда на будущую большую радость. Впрочем, в жизни и не бывает абсолютной радости, а лишь надежда на нее. Последняя нота песни любви Изольды кажется совершенной, но ведь она означает смерть.

В Вашингтоне меня ожидала настоящая буря. Некоторые из министров в яростных выражениях протестовали против моих танцев.

Но внезапно, в середине одного из утренников, появился в литерной ложе, ко всеобщему изумлению, никто иной, как сам президент Рузвельт. Он, казалось, наслаждался представлением и первым аплодировал после каждого номера программы. Позже он написал одному из своих друзей:

«Какой вред находят министры в танцах Айседоры? Она кажется мне такой же невинной, как дитя, танцующее в саду в утреннем сиянии солнца и собирающее прекрасные цветы своей фантазии».

Эта фраза Рузвельта, которая обошла газеты, привела проповедников морали в большое смущение и облегчила наше турне.

Когда мы вернулись в Нью-Йорк, я с удовлетворением узнала в своем банке, что на моем счету имеется изрядный вклад. Если бы я не тосковала о моем ребенке и о школе, я никогда не уехала бы из Америки. Но однажды утром на пристани я покинула небольшую группу своих друзей — Мэри и Билли Робертсов, поэтов, артистов — и вернулась в Европу.

Глава двадцать вторая

В Париж Элизабет привезла встречать меня двадцать учениц школы и моего ребенка. Вообразите мою радость. В течение шести месяцев я была в разлуке со своей девочкой. Увидав меня, она недоуменно поглядела, а затем заплакала. Естественно, я тоже заплакала — казалось так странно и чудесно вновь держать ее в своих объятиях. А вот и второй мой ребенок — школа. Все ученицы очень выросли. Это была великолепная встреча.

Артист Люнье По взял на себя заботы о моих концертах в Париже и обещал привезти в Париж Элеонору Дузе, Сюзанну Депре и Ибсена. Он заметил, что мое творчество нуждалось в должном обрамлении, и ангажировал для меня театр «Гайете-Лирик» и оркестр Колонна с самим Колонном[58] во главе. В результате мы покорили Париж штурмом. Такие поэты, как Анри Лаведан, Пьер Милль, Анри де Ренье, восторженно писали обо мне.

Каждый концерт собирал сливки артистического и интеллектуального мира. Казалось, я была очень близка к осуществлению своей мечты, и желанная школа рисовалась в пределах легкой досягаемости.

Я наняла две большие квартиры в доме № 5 на Рю Дантон. Я жила на первом этаже, а на втором разместила всех детей школы с их воспитательницами.

Однажды, как раз перед началом дневного концерта, я пережила сильный страх. Мой ребенок внезапно, безо всяких предварительных явлений, начал задыхаться и кашлять. Я думала, что его болезнь может оказаться ужасным крупом, и, наняв такси, помчалась по Парижу, пытаясь застать дома какого-либо врача. Наконец я нашла известного детского специалиста, который отправился со мной и быстро успокоил меня, заявив, что нет ничего серьезного и это только кашель.

Я опоздала на дневной спектакль на полчаса. Колонн заполнил этот промежуток музыкой. В течение всех танцев я дрожала от страха за своего ребенка, которого обожала, и чувствовала, что если с ним что-нибудь случится, я не переживу его. Но все обошлось.

Дирдрэ уже бегала и танцевала. Она была исключительно миловидна и казалась прекрасной миниатюрой с Эллен Терри.

Событием сезона явился бал у Бриссона[59], на который были приглашены все артисты и литературные светила Парижа. Каждый должен был представлять собой какое-нибудь литературное произведение. Я отправилась на бал в качестве

вакханки Еврипида и в облике вакханки встретила Мунэ-Сюлли в греческой одежде, олицетворявшего собой самого Диониса. Я танцевала с ним весь вечер — или, вернее, я танцевала перед ним, ибо великий Мунэ презирал современные танцы. Вокруг шептались, что наше поведение чрезвычайно скандально. Но в действительности оно было вполне невинно, и я доставила великому артисту несколько часов развлечения, которых он вполне заслужил. Казалось очень странным, что при своей американской невинности я могла в этот вечер так шокировать Париж!

За короткое время я успела достигнуть того предела, когда вновь наметился материальный крах. Моих средств не хватало на покрытие всех расходов по растущей школе.

За заработанные мной деньги я усыновила, заботилась и воспитывала сорок детей, двадцать из которых находились в Германии, а двадцать — в Париже. К тому же помогала и другим людям. Однажды я шутя сказала своей сестре Элизабет:

— Так не может продолжаться! Я превысила свой счет в банке. Если мы хотим, чтобы школа продолжала свое существование, мы должны разыскать какого-нибудь миллионера.

Стоило мне высказать это пожелание, как оно овладело мной.

— Я должна разыскать какого-нибудь миллионера! — повторяла я сто раз на день, сперва шутя, а затем, под конец, уже серьезно.

Как-то утром, после особенно удачного концерта в театре «Гайете-Лирик», я сидела в своей уборной перед зеркалом. Помнится, что мои волосы были завернуты в папильотки для дневного спектакля и прикрыты кружевным чепчиком. Вошла горничная с визитной карточкой, на которой я прочла очень известную фамилию, и тут меня осенило: «Вот мой миллионер!»

— Впустите его!

Он вошел, высокий, белокурый, с вьющимися волосами и бородой. Моей первой мыслью было: Лоэнгрин[60]. У него был очаровательный голос, но сам он казался застенчивым. «Он похож на большого мальчика, которому подвязали бороду», — подумала я.

— Вы меня не знаете, но я часто аплодировал вашему дивному искусству, — сказал он.

Тогда странное ощущение овладело мною. Я уже встречала прежде этого человека. Но где? Как во сне я вспомнила похороны князя Полиньяка, себя, горько плачущую молодую девушку, длинные ряды родственников в боковом приделе церкви. Кто-то вытолкнул меня вперед. «Нужно поздороваться», — шепнули мне. И я, охваченная искренним горем от смерти своего дорогого

друга, пожимала руку всем родственникам, одному за другим. И внезапно я вспомнила взгляд одного из них.

Это был высокий человек, который сейчас стоял передо мной.

Мы впервые встретились в церкви возле гроба, что не предвещало счастья. Тем не менее, с этой минуты я поняла, что ко мне явился мой миллионер.

— Я восхищаюсь вашим искусством, вашей смелостью, вашей школой. Я пришел помочь вам. Что я могу для вас сделать? Не хотели бы вы, например, поехать со всеми вашими танцующими детьми на небольшую виллу на Ривьере, у моря, и там создавать новые танцы? О расходах вам не следует беспокоиться. Я принимаю их на себя. Вы совершили огромную работу, вы, должно быть, устали. Возложите же все теперь на меня.

Через неделю вся моя маленькая труппа находилась в вагоне первого класса, уносясь к морю и солнечному свету. Лоэнгрин встретил нас на вокзале. Одетый во все белое, он, казалось, сиял. Нас привезли на небольшую виллу у моря. С ее террасы открывался вид на белокрылую яхту хозяина виллы.

— Она называется «Леди Алиция», — сказал он. — Но, может быть, теперь мы переименуем ее в «Ирис».

Дети танцевали вокруг под апельсиновыми деревьями в своих коротких синих туниках. Лоэнгрин был чрезвычайно ласков и очарователен с детьми, заботился об удобствах каждого в отдельности. Его преданность детям присоединила доверие к тому чувству благодарности, которое я уже питала к нему. Благодаря ежедневному общению этому чувству суждено было вскоре перерасти в нечто более глубокое. В то время, однако, я относилась к нему лишь как к своему рыцарю, почти благоговейно поклоняясь ему на расстоянии.

Я с детьми находилась на вилле в Болье, а Лоэнгрин жил в фешенебельном отеле в Ницце. Время от времени он приглашал меня пообедать с ним. Помню, как я вошла в своей скромной греческой тунике и смутилась, встретив там женщину в чудном ярком платье, увешанную бриллиантами и жемчугами. Я сразу почувствовала, что она мой враг. Она вселила в меня страх, который впоследствии оправдался.

Как-то вечером Лоэнгрин, с присущей ему щедростью, пригласил большую компанию на карнавальный бал в казино. Он снабдил каждого костюмом Пьеро. Впервые в своей жизни я надела костюм Пьеро, впервые я присутствовала на публичном костюмированном балу. Празднество оказалось веселым. Для меня его омрачало лишь одно облачко. Дама с бриллиантами, также в костюме Пьеро, пришла на бал. Смотреть на нее для меня было пыткой.

В разгар всех дурачеств меня внезапно позвали к телефону. Чей-то голос из виллы в Болье сообщал, что Эрика, одна из учениц школы, внезапно заболела крупом. Положение серьезное, может быть, она умирает. Я кинулась от телефона к столу, за которым Лоэнгрин занимал своих гостей, и велела ему подойти к телефону. Мы должны были вызвать врача. И именно здесь, вблизи телефонной будки, в пылу нашего общего смятения, преграда рухнула, и наши губы встретились в первый раз. Но мы не потеряли ни одной секунды. Автомобиль Лоэнгрина стоял у дверей. Оставаясь в костюмах Пьеро, мы заехали за врачом и помчались в Болье, где застали маленькую Эрику задыхающейся, с совершенно почерневшим лицом. Врач приступил к своему делу. Мы, двое перепуганных Пьеро, ждали возле постели приговора. Два часа спустя, когда рассвет прокрадывался в окно, врачи объявили, что ребенок спасен. Слезы, размазывая грим, текли у нас по щекам, Лоэнгрин заключил меня в объятия.

— Мужайся, дорогая. Вернемся к нашим гостям. И всю дорогу назад, крепко прижимая меня к себе, он шептал:

— Дорогая, если даже воспоминание об этой ночи окажется единственным, я буду любить тебя вечно.

В казино время текло так быстро, что большинство гостей едва заметило наше отсутствие. И только одна из них считала каждую его минуту. Маленькая дама с бриллиантами ревнивым взором запечатлела наш отъезд, и, когда мы вернулись, она схватила со стола нож и бросилась на Лоэнгрина. К счастью, он вовремя понял ее намерение и, схватив ее за запястье, в мгновенье ока высоко подбросил ее руку над головой. Удерживая ее так, он отнес ее в комнату для дам, словно весь инцидент являлся шуткой, заранее подстроенной для карнавала. Там он передал даму служителям, просто сказав, что с ней случилась легкая истерика, и ей, очевидно, нужно выпить немного воды. Затем вернулся в зал как ни в чем не бывало, в беспечном, прекрасном настроении. И в самом деле веселье всех гостей усилилось и достигло своей наивысшей точки в пять часов утра, когда я танцевала с Максом Дирли танго апашей, вкладывая в танец бурные и противоречивые волнения вечера.

Когда с восходом солнца гости разошлись, дама с бриллиантами вернулась в свою гостиницу одна, а Лоэнгрин остался со мною.

На следующее утро он предложил мне бежать на яхте, уже получившей новое имя. Мы захватили с собой мою маленькую девочку и, оставив школу на попечение воспитательниц, отплыли в Италию.

Деньги несут с собой проклятье, и люди, которые обладают

ими, не могут быть счастливыми даже в течение двадцати четырех часов.

Если бы я сознавала, что человек, с которым я нахожусь, обладает психологией испорченного ребенка, что каждое мое слово и каждый поступок должны быть заботливо обдуманы, чтобы ему понравиться, все пошло бы хорошо. Но я была слишком молода и наивна, чтобы понимать это, и болтала, объясняя ему свои мысли о жизни, «Республике» Платона, Карле Марксе и всеобщем преобразовании мира, не имея ни малейшего представления о гибельном впечатлении своих слов. Этот человек, который заявлял, что любит меня за мою отвагу и великодушие, приходил во все большую тревогу, когда понял, какую пламенную революционерку он принял на борт своей яхты. Он постепенно уяснил, что ему не удастся примирить моих идеалов со своим спокойствием. Но последняя капля переполнила чащу, когда как-то вечером он спросил меня, какое мое любимое стихотворение. Обрадованная, я принесла ему книгу и прочла «Песню открытой дороги» Уолта Уитмэна. Увлеченная своим энтузиазмом, я не замечала, какое впечатление производит мое чтение, и, взглянув на него, поразилась при виде его искаженного яростью красивого лица.

— Какой вздор! — воскликнул он. — Этому человеку никогда не удавалось заработать себе на жизнь.

— Разве ты не видишь, — воскликнула я, — что им владели грезы о свободной Америке?

— Будь прокляты грезы!

И внезапно я поняла, что его греза об Америке ограничивалась десятками фабрик, создавших для него богатство. Но такова уж извращенность женщин, что после этой, как и после других подобных ссор, я кидалась в его объятия, забывая обо всем под его ласками. Я утешалась мыслью, что скоро его глаза раскроются, он прозреет, и тогда он поможет мне создать великую школу для детей из народа.

Между тем великолепная яхта плыла все дальше по голубому Средиземному морю.

Я вижу все, словно это было вчера: широкую палубу яхты, стол, уставленный хрусталем и серебром для завтрака, и Дирдрэ, танцующую в своей белой тунике вокруг. Конечно, я была влюблена и счастлива. И все же я беспрестанно вспоминала с неприятным чувством о кочегарах, поддерживавших огонь в машинном помещении, о пятидесяти матросах яхты, о капитане и его помощнике — всех этих огромных расходах ради удовольствия двух людей. Подсознательно я тяготилась тем, что дни проходят и каждый отдаляет меня от цели. И иногда, приходя

к неблагоприятным выводам, я противопоставляла довольство этой жизни в роскоши, ее беспрерывное празднество жестокой борьбе моей ранней молодости.

Мы провели один день в Помпее, и Лоэнгрин возымел романтическую мысль посмотреть, как я буду танцевать при лунном свете в храме Пестума. Он немедленно нанял небольшой неаполитанский оркестр, уговорившись, что они должны отправиться к храму и ждать нашего прибытия.

Но как раз в этот день разразилась летняя буря и ливень. Весь этот и следующий день яхта не могла покинуть гавань. Прибыв наконец в Пестум, мы застали оркестрантов промокшими насквозь и в очень жалком состоянии, сидящими на ступенях храма, где они прождали нас в течение суток.

Лоэнгрин заказал дюжину бутылок вина и ягненка, которого мы ели руками, как арабы. Изморенные голодом оркестранты, наевшись и напившись до отвала и устав от ожидания в храме, совершенно не имели сил играть. Опять заморосил легкий дождь. Мы все отправились на яхту и отплыли в Неаполь. Оркестр сделал мужественную попытку играть нам на палубе, но началась качка, и оркестранты, сделавшись один за другим зелеными, ретировались в каюты.

Такой был конец романтической идеи танцевать при лунном свете в храме Пестума.

Лоэнгрин хотел продолжать плавание по Средиземному морю, но я вспомнила о контракте с моим импресарио в России и решила выполнить его. Лоэнгрин привез меня обратно в Париж. Он хотел было поехать со мной в Россию, но боялся помехи с паспортом. Он наполнил мое купе цветами, и мы нежно распрощались.

Удивительно, что когда расстаешься с любимым человеком, то, несмотря на скорбь, в то же время испытываешь странное чувство освобождения.

Это турне по России проходило с таким же успехом, как и предыдущие, но его отметило одно происшествие, которое могло бы оказаться трагическим, хотя и окончилось весьма комически. Как-то днем Крэг пришел повидаться со мной, и в течение одной короткой минуты я была на грани того, чтобы поверить, что ничто для меня не имеет значения — ни школа, ни Лоэнгрин, ни все остальные, — кроме радости видеть его вновь. Как бы то ни было, преобладающей чертой моего характера является верность.

Крэг был очень оживлен, находясь в разгаре создания «Гамлета» для Художественного театра Станиславского. Все артистки труппы Станиславского были влюблены в него. Артисты восхищались его красотой, веселостью и необычайной живостью.

Он часами разглагольствовал перед ними об искусстве театра, и они старались изо всех сил выполнять все прихоти его фантазии.

Увидав его, я вновь подверглась всем прежним его чарам и обаянию, и все могло бы кончиться благополучно, не будь со мной очень хорошенькой секретарши. В последний вечер, как раз накануне отъезда в Киев, я дала небольшой обед Станиславскому, Крэгу и секретарше. В разгар обеда Крэг спросил меня, предполагаю ли я остаться с ним или нет. Я не могла ему ответить, и он, впав в один из припадков своего прежнего бешенства, поднял секретаршу со стула, унес ее в другую комнату и запер дверь. Станиславский был страшно возмущен и сделал все, что было в его силах, чтобы убедить Крэга отпереть дверь. Когда мы выяснили, что убеждения не возымели никакого действия, нам ничего не оставалось, как поехать на вокзал, где мы обнаружили, что поезд уже ушел десять минут назад.

Я вернулась со Станиславским на его квартиру, и мы мрачно старались говорить о современном искусстве, избегая упоминания о Крэге, но я видела, что Станиславский огорчен и возмущен поведением Крэга.

На следующий день я села в поезд на Киев. Там несколько дней спустя ко мне присоединилась несколько потрясенная и побледневшая секретарша. Когда я спросила ее, не хочет ли она остаться в России с Крэгом, она выразительно заявила, что не хочет. Итак, мы вернулись в Париж, где нас встретил Лоэнгрин.

Глава двадцать третья

Лето мы провели на яхте у берегов Бретани. Часто море так бушевало, что я сходила с яхты и следовала за нею вдоль побережья на автомобиле. Лоэнгрин не покидал борта, но был не слишком хорошим моряком, и часто его лицо становилось зеленым. Таковы удовольствия богачей!

В октябре я отплыла в Америку.

Лоэнгрин никогда еще не видал Америки. Разумеется, он взял на пароходе роскошное помещение, каждый вечер нам печатали специальное меню, и мы путешествовали, как особы королевского достоинства. Путешествие с миллионером, конечно, все упрощает, и все, направо и налево, склонялись ниц перед нами.

В Северо-Американских Соединенных Штатах существует какой-то закон, не разрешающий двум любовникам путешествовать вместе. Бедного Горького и женщину, в течение семнадцати лет жившую с ним, прогоняли с места на место, превратив их жизнь в муку, но, разумеется, если человек очень богат, эти мелкие неприятности совершенно сглаживаются.

Турне по Америке оказалось в высшей степени счастливым, успешным и удачным, ибо деньги идут к деньгам. Наконец, однажды в январе ко мне в уборную пришла какая-то очень нервная дама и воскликнула:

— Но, моя дорогая мисс Дункан, ваша беременность видна из первого ряда. Вы не можете так продолжать дальше.

На что я возразила:

— О дорогая м-с Х., но это именно то, что я желаю выразить своим танцем: любовь — женщину, развитие — весну. Это и выражает мой танец…

Миссис Х. растерялась при моих словах, но, тем не менее, мы решили, что лучше прекратить турне и вернуться в Европу, так как мое благословенное состояние действительно становилось вполне явным.

Я была очень рада, что мой брат Августин со своими маленькими детьми возвращается вместе с нами. Он успел развестись со своей женой, и я надеялась, что поездка развлечет его.

* * *

По предложению Лоэнгрина, которое я приняла после некоторого колебания, мы провели зиму, катаясь по Нилу.

Когда дагоба — нильское судно — медленно пробирается по Нилу, душа устремляется на тысячу, две тысячи, на пять тысяч лет назад сквозь мглу прошлого к вратам вечности.

Что я помню из этой поездки в Египет? Пурпурный восход солнца, алый закат, золотые пески пустыни, храмы. Солнечные дни, проведенные в храме в грезах о жизни фараонов, грезах о моем грядущем ребенке. Крестьянских женщин, шагающих по берегам Нила, в равновесии держащих сосуды на голове, их мощные тела, раскачивающиеся под темными тканями. Тонкую фигурку Дирдрэ, танцующую на палубе; Дирдрэ, гуляющую по древним улицам Фив.

Увидав сфинкса, она сказала:

— О, мама, эта кукла не очень красивая, но какая внушительная.

Она только училась словам, состоявшим больше чем из двух слогов. Помню маленького ребенка перед храмами вечности, гробницу фараонов, долину королей и караваны, пересекающие пустыню, ветер, волнами уносящий песок через пустыню, но куда? Восход солнца в Египте наступал с необычайной яркостью в четыре часа утра. После него заснуть было невозможно, ибо начинался упорный, беспрестанный визг насосов, черпающих воду из Нила.

Дагоба медленно двигалась под пение матросов. Ночи были прекрасны. У нас было с собой пианино «Стейнвей», и нас сопровождал очень талантливый молодой английский артист, каждый вечер игравший нам Баха и Бетховена, мелодии которых так гармонировали с просторами и храмами Египта.

Несколько недель спустя мы достигли Вади Гальфу и проникли в Нубию, где Нил становится таким узким, что можно было коснуться противоположного берега. Здесь мои спутники покинули меня и отправились в Картоум, а я осталась с Дирдрэ одна на дагобе и в течение двух недель проводила самые мирные дни моей жизни в этой чудесной стране, где всякие терзания и муки кажутся ничтожными. Наше судно, казалось, раскачивал ритм эпох. Для тех, кто может себе это позволить, поездка по Нилу в хорошо снаряженной дагобе служит наилучшим целебным отдыхом в мире.

Для нас Египет является страной грез, для несчастных же феллахов — страною труда.

Вернувшись во Францию, мы высадились на берег в Виллафранше, и Лоэнгрин арендовал на сезон великолепную виллу в Болье. С присущей ему порывистостью он забавлялся, скупая землю на мысе Ферра, где намеревался построить огромный итальянский замок.

Мы совершали автомобильные поездки, чтобы посетить башни Авиньона и стены Каркассоны, которые должны были послужить моделью для нового замка.

Замок стоит сейчас на мысе Ферра, но, увы, подобно многим из прихотей Лоэнгрина, он не был закончен.

В эти дни Лоэнгрин был одержим болезненной непоседливостью. Если он не бросался на мыс Ферра покупать землю, то мчался в понедельник экспрессом в Париж, возвращаясь в среду. Я спокойно оставалась в саду, размышляя о раздоре между жизнью и искусством, и часто задавалась вопросом, может ли женщина действительно быть артисткой, ведь искусство — суровый и требовательный наставник, между тем как женщина, которая любит, жертвует всем ради любви. Так или иначе, во второй раз я оказалась совершенно разлученной со своим искусством.

Первого мая, утром, родился мой сын.

В отличие от деревенского врача, искусный доктор Боссен смог облегчить страдания разумными дозами морфия, и второе испытание прошло совершенно иначе, чем первое.

Дирдрэ вошла в мою комнату, ее прелестное личико было исполнено преждевременной материнской нежностью.

— О, какой хорошенький мальчик, мама. Ты не должна о нем беспокоиться. Я буду его всегда держать на руках и заботиться о нем.

Я вспомнила ее слова, когда Дирдрэ умерла, сжимая брата в своих белых окоченевших ручонках.

Итак, еще раз я очутилась у моря, лежа с ребенком на руках, лишь вместо маленькой белой, раскачиваемой ветром «Виллы Мария» тут был пышный дворец, а вместо пасмурного, беспокойного Северного моря — голубое Средиземное.

Глава двадцать четвертая

Когда я вернулась в Париж, Лоэнгрин спросил меня, не хочу ли я устроить празднество для всех своих друзей, и предложил мне выработать его программу. Похоже, богачи никогда не знают, как себя развлечь. Если они устраивают обед для гостей, он по форме не слишком отличается от обеда бедной консьержки. Я всегда в мечтах представляла, какое чудесное празднество можно устроить, имея достаточно денег. И вот как я его устроила.

Гостей пригласили прибыть в четыре часа дня в Версаль. Там в парке были расставлены палатки с различнейшими закусками, начиная от икры и шампанского и кончая чаем и пирожными. После этого на открытом воздухе, где были сооружены шатры, оркестр Колонна под управлением Пьерне исполнил нам программу из произведений Рихарда Вагнера.

Помню, как в этот прекрасный летний день под сенью огромных деревьев дивно звучала идиллия Зигфрида и как величественно и торжественно, как раз при заходе солнца, звучали мелодии похоронного марша Зигфрида. После концерта гостям предложены были более прозаические удовольствия. Этот пир продолжался до полуночи, когда местность иллюминировали, и под звуки венского оркестра все танцевали до раннего утра.

Таково было мое представление о том, как богач должен тратить свои деньги, если он хочет развлечь своих друзей. На этот праздник собрались высшие слои Парижа, и они оценили его по достоинству.

Но удивительнее всего, что хотя праздник я устроила, чтобы доставить удовольствие Лоэнгрину, и он стоил ему 50 000 франков (при этом довоенных франков), сам Лоэнгрин на нем не присутствовал.

Приблизительно за час до праздника я получила телеграмму, сообщавшую, что с ним случился удар и он слишком болен, чтобы приехать, и что я должна принять гостей без него.

В то же лето Лоэнгрин вбил себе в голову, что мы должны пожениться, хотя знал, что я противница брака.

— Артистке глупо быть замужем, — говорила я, — я должна проводить свою жизнь в турне по свету, и вряд ли ты согласишься проводить свою жизнь, любуясь мной из ложи.

— Тебе не пришлось бы совершать турне, если бы ты была замужем, — ответил он.

— Что же мы станем тогда делать?

— Мы будем проводить время в моем доме в Лондоне или в

моем имении в деревне.

— А затем?

— Затем у нас остается яхта.

— Ну, а затем?

Лоэнгрин предложил, чтобы мы испытали совместную жизнь в течение трех месяцев.

— Если она тебе не понравится, я буду крайне удивлен.

Итак, этим летом мы отправились в Девоншир, где у него был чудесный замок, который он построил по образцу Версаля и Малого Трианона, со множеством спален и ванных комнат. Все это было отдано в мое распоряжение, включая четырнадцать автомобилей в гараже и яхту в гавани. Но надо принять в расчет дождь, который в Англии летом идет круглосуточно. Англичане, по-видимому, совершенно не обращают на него внимания.

Они встают и рано завтракают яйцами, свиной грудинкой, окороком, почками и супом. Затем они надевают макинтоши и отправляются гулять по сырой местности, вплоть до ленча, за которым они съедают множество блюд, запивая их девонширскими сливками.

От ленча до пяти часов предполагается, что они заняты своей корреспонденцией, хотя я полагаю, что в действительности они ложатся спать. В пять они спускаются к чаю, к которому подается много сортов пирогов, хлеб, масло и варенье.

После чая они делают вид, что играют в бридж, пока не наступает время приступить к действительно важному делу — переодеванию к обеду, на котором они появляются в полном вечернем наряде, дамы сильно декольтированные, а джентльмены в накрахмаленных сорочках, и все это для того, чтобы уничтожить обед из двадцати блюд.

Когда он закончен, они вступают в поверхностную политическую беседу или затрагивают философию, пока не наступает время ретироваться.

Вы можете представить себе мое отношение к такой жизни.

По прошествии двух недель я положительно пришла в отчаяние.

В замке имелся чудесный зал для балов, отделанный гобеленами, в котором висела картина коронации Наполеона кисти Давида. Кажется, Давид нарисовал две таких картины, одна из них находится в Лувре, а другая — в бальном зале дома Лоэнгрина в Девоншире.

Заметив мое отчаяние, Лоэнгрин спросил:

— Почему бы тебе не начать танцевать в бальном зале?

Я вспомнила о гобеленах и картине Давида.

— Разве я могу перед ними проделывать свои простые жесты

на маслянистом, вощеном полу?

— Если это все, что тебя смущает, — сказал он, — пошли за своими занавесами и ковром.

Итак, я послала за занавесами, которые повесила поверх гобеленов, а ковер я разостлала поверх навощенного пола.

— Но мне необходим пианист.

— Пошли за пианистом, — сказал Лоэнгрин.

Я телеграфировала Колонну: «Проведу лето в Англии. Должна работать. Пришлите пианиста».

В оркестре Колонна имелся первый скрипач, человек очень странного вида, с огромной головой, раскачивающейся на неуклюжем теле. Первый скрипач играл также на пианино, и Колонн в свое время как-то предоставил его мне. Но этот человек был мне так несимпатичен, что всякий раз, когда я глядела на него либо прикасалась к его руке, он внушал мне чувство острого физического отвращения. Я попросила тогда Колонна не приводить его ко мне. Колонн сказал, что скрипач обожает меня, но я заявила, что ничего не могу поделать с чувством отвращения, внушаемого им, и что я просто не могу его выносить. Однажды вечером Колонн заболел и, будучи не в состоянии дирижировать мне в театре «Гайете-Лирик», прислал этого человека в качестве своего заместителя. Я очень рассердилась и заявила:

— Я не могу танцевать, если он будет мне дирижировать.

Он вошел ко мне в уборную и, глядя на меня со слезами, произнес:

— Айседора, я обожаю вас, позвольте мне дирижировать на этот раз.

Я холодно взглянула на него:

— Нет. Я должна вам объяснить, что вы мне физически противны.

Публика ждала, и Люнье По убедил Пьерне управлять оркестром вместо Колонна.

В один особенно дождливый день я получила телеграмму от Колонна: «Высылаю пианиста. Прибудет в таком-то часу, такого-то дня».

Я поехала на вокзал, и каково было мое удивление при виде этого Х., сошедшего с поезда.

— Как могло случиться, что Колонн послал вас? Он знает, что я вас ненавижу и питаю к вам отвращение.

— Прошу прощенья, мадам, мэтр послал меня, — запинаясь пробормотал он.

Когда Лоэнгрин узнал, кто пианист, он сказал:

— По крайней мере, у меня не будет причин для ревности.

Лоэнгрин все еще страдал от последствий того, что он всегда считал ударом. За ним в замке ухаживали врач и опытная сиделка. Они очень энергично указывали мне, как я должна себя вести. Меня поместили в отдаленной комнате на противоположном конце дома и заявили, что я никоим образом не должна тревожить Лоэнгрина, которому надлежало безвыходно сидеть в своей комнате на диете из риса, макарон и воды. Каждый час приходил доктор, чтобы исследовать его кровяное давление.

Все это значительно усугубляло мои треволнения и в сочетании с нескончаемыми дождями, возможно, способно объяснить необычайные события, последовавшие затем.

Чтобы превозмочь скуку и рассеять тоску, я приступила к работе с Х., как он ни был мне противен, и всякий раз, когда он играл мне, я загораживала его ширмой, заявляя:

— Вы невыразимо мне неприятны, я не выношу вашего вида.

В замке находилась графиня А., старый друг Лоэнгрина.

— Как вы можете так обращаться с бедным пианистом? — говорила она и однажды настояла, чтобы я пригласила его сопровождать нас во время прогулки, которую мы ежедневно предпринимали после завтрака в закрытом автомобиле.

Я пригласила Х. с крайней неохотой. В автомобиле не было откидных сидений, и нам пришлось всем сидеть рядом. Я находилась в центре, по правую руку села графиня, а по левую — Х. Как обычно, шел проливной дождь. Когда мы проехали некоторое расстояние, меня охватило такое отвращение к Х., что я постучала в стекло и велела шоферу повернуть и ехать домой. Он кивнул головой и, желая мне угодить, сделал резкий поворот. Проселочная дорога была полна выбоин, и при повороте автомобиля толчок бросил меня в объятия Х. Он прижал меня к себе. Откинувшись и глядя на него, я внезапно ощутила, как все мое существо запылало, словно ворох зажженной соломы. Никогда еще я не ощущала такого неистового чувства.

Всю дорогу назад я не отводила от него взгляда в состоянии, близком к страстному исступлению. Когда мы вошли в подъезд замка, он взял меня за руку и, все еще не спуская с меня глаз, тихонько увлек меня за ширмы в бальном зале. Как могло случиться, что такая неистовая неприязнь породила такую же неистовую любовь?

Единственным возбуждающим средством, назначенным в то время Лоэнгрину, являлось известное открытие, ныне продающееся тысячами бутылок. Полагают, что оно возбуждает деятельность фагоцитов. Дворецкому было приказано ежедневно подносить гостям, с приветом от Лоэнгрина, это возбуждающее

средство. Лоэнгрин настаивал, чтобы мы принимали его рюмками. Хотя впоследствии я выяснила, что доза не должна превышать чайной ложки.

Со дня происшествия в автомобиле мы с Х. были одержимы единственным стремлением остаться наедине — в оранжерее, в саду, даже во время долгих прогулок по грязным деревенским дорогам. Но неистовая страсть умирает лишь насильственной смертью, и наступил день, когда Х. пришлось покинуть замок, чтобы уже никогда в него не вернуться. Мы принесли эту жертву ради спасения жизни человека, которого все считали умирающим.

Этот эпизод доказал мне, что я совершенно не подхожу для семейной жизни. И осенью, став немного опытнее и печальнее, я отплыла в Америку, чтобы выполнить третий контракт. В сотый раз я приняла решение, что впредь я всю свою жизнь посвящу искусству, которое, несмотря на свою суровую требовательность, все же неизмеримо благодарнее людей.

В течение этого турне я обратилась с призывом к Америке помочь мне учредить свою школу. Мой трехлетний опыт роскоши убедил меня, что жизнь исполнена безнадежности, непроизводительных усилий и эгоизма, и доказал мне, что подлинную радость можно найти лишь в общественности. Зимой я обратилась с речью к публике, сидевшей в ложах «Метрополитен-опера», и газеты приводили ее под скандальным заголовком: «Айседора наносит оскорбление богатым». Я сказала приблизительно следующее: «Часто заявляют, что я высказывалась отрицательно об Америке. Может быть, — но это не означает, что я не люблю Америки. Может быть, это означает лишь, что я ее слишком люблю. Я знала как-то мужчину, страстно влюбленного в женщину, которая не разделяла его страсти и дурно обращалась с ним. Каждый день он писал ей оскорбительные письма, и когда она спросила его. «Почему вы пишете мне такие дерзости?» — он ответил: «Потому, что я безумно вас люблю».

Психолог даст вам объяснение этого случая, и, вероятно, таково же мое отношение к Америке. Разумеется, я люблю Америку. Разве эта школа, эти дети, разве все мы не являемся духовным потомством Уолта Уитмэна? И этот танец, который называют «греческим», рожден Америкой, он является танцем Америки будущего. Все эти движения — откуда они произошли? Они возникли из великой природы Америки, из Сьерры-Невады, из Тихого океана, омывающего берега Калифорнии, из великих пространств Скалистых гор, из долины Иоземита, из Ниагарского водопада.

Бетховен и Шуберт всю свою жизнь оставались детьми

народа. Они были бедняками, и их великое творчество вдохновлялось человечеством и принадлежит ему. Людям нужны великая драма, музыка, танец.

Мы поехали в Ист-Сайд и дали там концерт бесплатно. Некоторые говорили мне: «Если вы исполните в Ист-Сайде симфонию Шуберта, она не понравится зрителям».

И вот мы дали бесплатный концерт (театр без кассы приносит такое успокоение), и зрители сидели, как зачарованные, слезы текли у них по щекам, — вот как они приняли ее к сердцу. Сокровища жизни, поэзии и искусства должны быть принесены населению Ист-Сайда. Постройте для них огромный амфитеатр, единственный демократический вид театра, где всем одинаково видно, где нет ни лож, ни балконов. Поглядите на галерею: разве справедливо сажать человеческие существа под потолком, словно мух, а затем требовать, чтобы они оценили искусство или музыку?

Постройте простой и красивый театр! Не надо его золотить, не нужно всех этих украшений и побрякушек! Искусство не нуждается во внешних обрядах. В нашей школе нет ни костюмов, ни украшений — лишь красота и тело как ее символ. И если мое искусство вас здесь чему-нибудь научило, то, надеюсь, именно этому. Красоту надо искать и находить в детях, в сиянии их глаз и в красоте их ручек, простертых в прекрасных движениях. Вы видели их на сцене: они пересекали сцену рука об руку, прекраснее, чем любое жемчужное ожерелье, принадлежащее какой-либо из женщин, сидящих по преимуществу в этих ложах. Дайте же красоту, свободу и силу детям! Дайте искусство народу, который нуждается в нем! Великая музыка не должна дольше ограничиваться услаждением слуха кучки культурных людей, она должна быть бесплатно дана массам: она им необходима так же, как хлеб и воздух, ибо она является духовным вином человечества».

Я никогда не забуду своего возвращения в Париж. Перед отъездом я оставила своих детей в Версале с гувернанткой. Когда я отворила дверь, мой маленький сын подбежал ко мне. Золотистые кудри окружали ореолом его милое личико, а ведь я оставила его крошечным ребенком в колыбели.

В 1908 году я купила в Нейльи студию Жерве, в которой имелся концертный зал. Сейчас я переехала жить туда со своими детьми. В этой студии я обычно работала целые дни, а иногда и ночи напролет с моим верным другом Генером Скенэ, который был замечательно талантлив и неутомим. Мы часто начинали работать утром, и так как дневной свет совершенно не проникал в студию, обвешанную кругом моими синими занавесами и

освещенную дуговыми лампами, то мы не замечали, как проходит время. Изредка я спрашивала: «Вы не голодны? Сколько сейчас может быть времени?»

И, посмотрев на часы, мы обнаруживали, что сейчас четыре часа утра.

Домик для моих детей, гувернантки и няни находился в саду, и таким образом музыка никогда не беспокоила их. Сад был прекрасен, и весной и летом мы танцевали в студии при раскрытых дверях.

В этой студии мы не только работали, но и веселились. Лоэнгрин находил удовольствие, устраивая званые обеды и празднества. Часто обширная студия превращалась в тропический сад либо в испанский дворец, и туда являлись все артисты и знаменитые люди Парижа.

Как-то вечером, помню, Сесиль Сорель, Габриэль д'Аннунцио[61] и я сымпровизировали пантомиму, в которой д'Аннунцио обнаружил большой комедийный талант.

* * *

В течение многих лет я была предубеждена против него благодаря своему преклонению перед Дузе. Я считала, что он скверно поступил с ней, и отказывалась встречаться с ним. Один из моих друзей как-то спросил: «Можно мне привести к вам д'Аннунцио?» Но я возразила: «Нет, не надо, ибо, если я его увижу, я встречу его очень грубо».

Но, вопреки моему желанию, он однажды вошел вместе с д'Аннунцио.

И тут, хотя я никогда раньше его не видела, я воскликнула:

— Добро пожаловать! Как вы очаровательны!

Когда д'Аннунцио встретил меня в Париже в 1912 году, он решил покорить меня. Это не может служить мне особым комплиментом, ибо д'Аннунцио стремился покорять всех знаменитых женщин мира. Но я оказала ему сопротивление из-за своего преклонения перед Дузе. Полагаю, что я единственная женщина, которая сопротивлялась ему.

Когда д'Аннунцио стремится покорить женщину, он отсылает ей каждое утро небольшое стихотворение с приложением цветка, символизирующего смысл стихотворения. Каждое утро в восемь часов я получала этот цветок.

Как-то вечером (я занимала тогда студию вблизи отеля Байрон) д'Аннунцио сказал мне с особой выразительностью:

— Я приду в полночь.

Весь день я со своим другом приготовляла студию. Мы наполнили ее белыми цветами, белыми лилиями — теми цветами, которые приносят на похороны. Затем зажгли множество свечей. Д'Аннунцио, казалось, был потрясен при виде студии, которая, благодаря всем этим зажженным свечам и белым цветам, стала похожей на готическую часовню. Он вошел, мы встретили его и повели к дивану, заваленному грудой подушек. Прежде всего я протанцевала перед ним. Затем осыпала его цветами и расставила кругом него свечи, плавно и ритмично ступая под звуки похоронного марша Шопена.

Постепенно я погасила одну за другой все свечи, оставив зажженными лишь те, которые горели у его головы и в ногах. Он лежал словно загипнотизированный. Затем, все еще плавно двигаясь под музыку, я потушила свет у его ног. Но когда я торжественно направилась к одной из свечей, горевших у его головы, он вскочил на ноги и с громким и пронзительным криком ужаса бросился из студии. Тем временем мы с пианистом, обессилев от смеха, свалились друг другу на руки.

Вскоре я пригласила д'Аннунцио пообедать в отель «Трианон Палас». Мы отправились туда в автомобиле.

— Не хотите ли перед завтраком совершить прогулку по лесу? — спросила я.

— О, конечно, это было бы прекрасно.

Мы направили автомобиль в Марлийский лес, а там, оставив его, углубились в лес. Д'Аннунцио был в экстаза.

Мы немного побродили, а затем я заявила:

— А теперь вернемся завтракать.

Однако мы никак не могли отыскать автомобиль и попытались пешком добраться до отеля «Трианон» и позавтракать. Мы шли, шли, но никак не могли найти выход. Наконец д'Аннунцио заплакал, как ребенок.

— Я хочу завтракать! Я хочу завтракать! Мой мозг требует пищи. Я не могу идти дальше, когда я умираю с голода.

Я утешала его, как только умела. Наконец мы нашли выход и вернулись в отель, где д'Аннунцио великолепно позавтракал.

Несколько лет спустя во время войны я приехала в Рим и остановилась в отеле «Регина». По странному случаю, д'Аннунцио занимал комнату, соседнюю с моей. Каждый вечер он обычно отправлялся обедать к маркизе Казатти. Как-то вечером она пригласила меня на обед. Приехав в ее дворец, я вошла в холл. Он был отделан в греческом стиле. Усевшись здесь в ожидании прихода маркизы, я внезапно услыхала адресованную мне яростную тираду на самом вульгарном языке, какой себе только можно представить. Осмотревшись, увидела зеленого попугая,

заметила, что он не посажен на цепочку. Я поднялась и выскочила в соседнюю залу и сидела там, ожидая маркизу, как вдруг услыхала рычание — бррр — и увидела белого бульдога. Он не был на цепи. Я бросилась в соседнюю залу, которая была устлана шкурами белых медведей. Даже стены ее были обвешаны медвежьими шкурами. Я села там и принялась ждать маркизу. Внезапно я услыхала шипенье, поглядела вниз и увидала в клетке кобру, поднявшуюся на хвосте и шипевшую на меня. Я бросилась в соседнюю залу, всю увешанную и устланную шкурами. Здесь я наткнулась на гориллу, скалившую зубы. Я кинулась в следующую комнату, являвшуюся столовой, и тут я нашла секретаря маркизы. Наконец и маркиза спустилась к обеду.

— Я вижу, вы любите животных, — сказала я.

— О да, я обожаю их, в особенности обезьян, — ответила она, глядя на своего секретаря.

На удивление, после столь возбуждающей закуски обед прошел крайне церемонно.

После обеда мы вернулись в залу с гориллой, и маркиза послала за своей гадалкой. Та вошла в высоком остроконечном колпаке и плаще колдуньи и принялась предсказывать нам судьбу по картам.

И в эту минуту вошел д'Аннунцио.

Д'Аннунцио очень суеверен и верит всем гадалкам. Вот что сказала ему гадалка: «Вы полетите по воздуху и совершите огромные подвиги. Упадете и окажетесь у врат смерти. Но смерть вас минует, и вы доживете до великой славы».

После этого мы вернулись в отель. Д'Аннунцио сказал мне:

— Каждый вечер я буду приходить к вам в двенадцать часов. Я покорил всех женщин в мире, но я должен еще покорить Айседору.

И каждый вечер он приходил ко мне в двенадцать часов.

Он рассказывал мне удивительные вещи о своей жизни, своей юности и искусстве. Затем он принимался кричать:

— Айседора, я не могу больше! Возьми меня, возьми же меня!

Я тихонько выпроваживала его из своей комнаты. Так продолжалось около трех недель. Наконец я уехала.

В отеле «Трианон» у д'Аннунцио была любимая золотая рыбка. Она плавала в чудесной хрустальной чаше, д'Аннунцио кормил ее и вел с ней беседы. Золотая рыбка шевелила плавниками и, словно отвечая ему, открывала и закрывала рот.

Однажды, остановившись в «Трианоне», я спросила у метрдотеля:

— Где золотая рыбка д'Аннунцио?

— О мадам, смешная история! Д'Аннунцио уехал в Италию и

велел нам заботиться о ней. «Эта золотая рыбка — сказал он, — дорога моему сердцу. Она служит символом моего счастья». Он телеграфировал в отель и спрашивал: «Как поживает мой любимый Адольф?» Однажды Адольф начал плавать медленнее и перестал искать д'Аннунцио. Я взял и выбросил его через окно. Затем я телеграфировал д'Аннунцио: «Адольф умер прошлой ночью». Д'Аннунцио ответил: «Похороните его в саду. Приведите в порядок его могилу». Тогда я взял сардинку, завернул ее в серебряную бумагу и, зарыв в саду, поставил крест с надписью: «Здесь покоится Адольф». Вернувшись, д'Аннунцио спросил:

— Где могила моего Адольфа?

Я показал ему могилу в саду. Он принес на нее кучу цветов и долгое время стоял, проливая над ней слезы.

Один из моих праздников завершился трагической развязкой. Я превратила студию в тропический сад, спрятав столики в густой листве между редкими растениями. К этому времени я была несколько посвящена в различные парижские любовные интриги. Таким образом, я могла рассаживать пары, которые, как я знала, стремились остаться вместе. Гости все были наряжены в персидские костюмы, а танцевали мы под звуки цыганского оркестра. Среди гостей находились Анри Батайль и Берта Беди, его известная переводчица, которые являлись моими давнишними друзьями.

Как я уже говорила, студия походила на часовню и была обвешана кругом моими синими занавесами приблизительно на высоте пятнадцати метров. Но на верхнем балконе имелась небольшая комната, преобразованная искусством Пуаре в истинное царство Цирцеи. Траурные черные бархатные занавесы отражались на стенах в золотых зеркалах. Черный ковер и диван с подушками из восточных тканей завершали обстановку комнаты. Окна ее были наглухо закрыты, а дверями служили странные скважины, похожие на этрусские гробницы. Пуаре сказал, закончив отделку:

— Здесь будут поступать и говорить иначе, чем в обыкновенной комнате.

Это было правдой. Комнатка казалась прекрасной и очаровательной, но в то же время таила в себе опасности. Разве мебель не имеет своих характерных черт, которые отличают целомудренные постели от порочных кушеток, добродетельные стулья от греховных диванов? Так или иначе, произнося свои слова, Пуаре оказался прав. В этой комнате чувствовали и поступали иначе, чем в моей, похожей на часовню, студии.

В этот вечер в два часа ночи я очутилась в комнате Пуаре с Анри Батайлем. Невзирая на то, что он ко мне всегда относился

по-братски, сейчас, поддавшись очарованию обстановки, он говорил и действовал иначе.

И тут появился никто иной, как Лоэнгрин. Увидав меня с Анри Батайлем на золотом диване, отраженном в бесчисленных зеркалах, он бросился в студию, принялся рассказывать обо мне гостям и заявил, что он уходит, чтобы никогда больше не вернуться.

Итак, этому вечеру суждено было иметь трагические последствия. Несмотря на нашу невинность, Лоэнгрин в нее не поверил и поклялся, что никогда со мной больше не встретится. Я тщетно оправдывалась, а Анри Батайль, который был очень расстроен этим инцидентом, дошел до того, что послал письмо Лоэнгрину. Все оказалось напрасным.

Лоэнгрин согласился встретиться со мной лишь в автомобиле. Его проклятия обрушивались на мою голову, напоминая глухой трезвон адских колоколов. Внезапно он замолчал, открыл дверь автомобиля и вытолкнул меня в ночной мрак. В течение нескольких часов я бродила ошеломленная одна вдоль улиц. Незнакомые мужчины подмигивали мне и шептали двусмысленные предложения. Мир внезапно, казалось, превратился в ад. Два дня спустя я узнала, что Лоэнгрин уехал в Египет.

Глава двадцать пятая

Моим лучшим другом и величайшим утешителем в те дни был музыкант Генер Скенэ. У него был удивительный характер, благодаря которому он презирал успех или личное честолюбие. Он обожал мое искусство и лишь в те минуты был счастлив, когда играл мне. Его преклонение передо мной было самым глубоким, какое мне когда-либо приходилось встречать. Чудесный пианист, к тому же человек со стальными нервами, он часто играл для меня напролет всю ночь. Одну ночь — симфонию Бетховена, другую — весь цикл «Кольца Нибелунгов», начиная с «Золотого Рейна» и кончая «Гибелью богов».

В январе 1913 года мы совершили совместное турне по России. В эту поездку произошло странное происшествие. Как-то утром, прибыв на рассвете в Киев, мы наняли сани, чтобы поехать в гостиницу. Не совсем очнувшись от сна, я внезапно увидала вполне явственно на другой стороне дороги два ряда гробов. Но это были не обыкновенные гробы, а детские. Я стиснула руку Скенэ.

— Погляди, — сказала я, — все дети, все дети умерли!

Он успокаивал меня:

— Но ведь там ничего нет!

— Как? Разве ты не видишь?

— Нет, там ничего нет, кроме снега, — снега, загромождающего обе стороны дороги. У тебя от переутомления странная галлюцинация.

Днем, желая отдохнуть и успокоить, свои нервы, я отправилась в русскую баню. В России в банях устроены ряды длинных деревянных полок в жарком помещении. Когда банщица вышла, оставив меня лежащей на одной из этих полок, кровь внезапно прилила к голове, и я упала с полки вниз на мраморный пол.

Банщица нашла меня лежащей без сознания, и меня пришлось отнести обратно в гостиницу. Послали за врачом, он установил легкое сотрясение мозга.

— Вам ни в коем случае нельзя танцевать сегодня вечером. У вас сильная лихорадка…

— Но я не могу обманывать ожидания публики. — И я настояла на том, что отправлюсь в театр.

Программа состояла из произведений Шопена. В конце концерта я совершенно неожиданно сказала Скенэ:

— Сыграй похоронный марш Шопена.

— Но зачем? — спросил он. — Ведь ты его никогда не

танцевала.

— Не знаю, — сыграй его.

Я настаивала так серьезно, что он согласился с моим желанием, и я протанцевала под звуки этого марша. В своем танце я изображала, как человеческое существо на руках несет своего мертвого ребенка медленными, запинающимися шагами к месту последнего успокоения.

Когда я закончила и упал занавес, наступила удивительная тишина. Я взглянула на Скенэ. Он был смертельно бледен и дрожал. Он взял мои руки в свои. Они были холодны как лед.

— Никогда не проси меня больше играть этот марш, — умолял он. — Я почувствовал самую смерть. Я даже вдыхал запах белых цветов… похоронных цветов…

Когда мы вернулись в Париж в апреле 1913 года, Скенэ опять сыграл мне шопеновский марш в театре Трокадеро в финале большого концерта. После благоговейного молчания, вызванного страхом, публика разразилась неистовыми аплодисментами. Некоторые женщины плакали, иные были почти в истерике.

Прошлое, настоящее и будущее похожи, вероятно, на длинную дорогу. Дорогу мы не можем разглядеть и верим, что будущее далеко, но оно уже подстерегает нас.

По возвращении из России я дала в Берлине несколько концертов. Я сочинила танец идущего по миру человека, которого внезапно настиг ужасный удар и который медленно воскресает от жестоких ран судьбы, быть может, к новым надеждам.

Моих детей, в течение моего турне в Россию остававшихся с Элизабет, привезли ко мне в Берлин. Их здоровье и настроение были чудесными. Мы все вместе вернулись в Париж, в мой просторный дом в Нейльи. Вновь я жила в Нейльи со своими детьми. Часто я стояла на балконе, оставаясь незамеченной Дирдрэ, и любовалась, как она слагает свои собственные танцы. Она танцевала также стихи собственного сочинения — маленькая детская фигурка в огромной синей студии, произносящая неясным детским голоском: «А сейчас я птица, и я лечу высоко, высоко между облаками» или: «А сейчас я цветок, который смотрит на птицу и раскачивается».

Любуясь ее тонкой грацией и красотой, я мечтала, что она, быть может, продолжит мою школу, как я ее себе представляю. Она была моей лучшей ученицей.

Патрик также начинал танцевать под собственную музыку. Только он никогда не позволял мне учить его.

— Нет, — торжественно говорил он. — Патрик сам станцует свой танец.

Живя в Нейльи, работая в студии, проводя много часов за

чтением в библиотеке, играя в саду со своими детьми или обучая их танцевать, я чувствовала себя вполне счастливой и лишь страшилась своих турне, которые разлучали меня с детьми. С каждым днем дети становились все прекраснее, и с каждым днем мне было все труднее проявлять ётвагу, покидая их.

Оба мои ребенка любили музыку и всегда упрашивали меня позволить им остаться в студии, когда Скенэ играл или когда я работала. Они сидели тихо, с напряженными лицами.

Я считаю, что есть горе, которое убивает, хотя и кажется, что человек продолжает свою жизнь. Его тело влачит горестное существование на земле, но дух его сокрушен — сокрушен навсегда. Я слышала, как люди говорят об облагораживающем влиянии горя. Я могу лишь возразить, что последние несколько дней перед тем, как на меня обрушился удар, в действительности явились последними днями моей духовной жизни. Всегда с тех пор мною владеет лишь одно желание — скрыться… скрыться… скрыться от этого ужаса, и вся моя жизнь является лишь беспрерывным бегством от него, напоминая «Вечного Жида» и «Летучего Голландца». Вся моя жизнь для меня лишь призрачный корабль, несущийся по призрачному океану. По какому-то странному совпадению, явление психики часто находит отражение в материальных предметах.

Как я говорила, невзирая на все, видимо, счастливое развитие своей жизни, я жила все время в странном угнетении — нечто вроде мрачного предчувствия. Ночью я внезапно просыпалась, содрогаясь от испуга.

Я была этим так расстроена, что как-то вечером на обеде у моего доброго друга, миссис Рэчел Бойер, я доверилась ей.

Она казалась встревоженной и со своим обычным добросердечием настояла, чтобы я немедленно протелефонировала врачу.

— Конечно, — сказала она, — у вас какая-нибудь нервная болезнь.

Пришел молодой и изящный доктор Рене Баде. Я рассказала ему о своих видениях.

— Очевидно, ваши нервы слишком напряжены. Вы должны поехать на несколько дней в деревню.

— Но ведь я даю по контракту концерты в Париже, — возразила я.

— Тогда поезжайте в Версаль — это так близко, что вы сможете приезжать на автомобиле, воздух же вас излечит.

На следующий день я рассказала об этом милой няне моих детей. Она была очень рада.

— Версаль будет очень полезен детям, — сказала она. Я

поехала в Версаль.

Когда я проснулась на следующее утро в прекрасном парке отеля «Трианон», все мои страхи и предчувствия рассеялись. Доктор был прав, мне нужна была деревня. Ах, если бы хор из греческой трагедии оказался здесь! Он мог бы напомнить о том, что часто, выбрав противоположную дорогу, чтобы избежать несчастья, мы идем напрямик к нему, как это случилось с несчастным Эдипом. Если бы я не поехала в Версаль, чтобы скрыться от пророческого видения нависшей надо мной смерти, дети три дня спустя не нашли бы свою смерть на той же дороге.

Я помню этот вечер так отчетливо, ибо я танцевала как никогда. Я больше не была женщиной, я превратилась в пламя радости, в огонь, в улетающие ввысь искры, в дым, вздымающийся вихрем из сердец зрителей… А на прощание после десятка номеров, исполненных по требованию публики, я протанцевала «Музыкальный момент».

После этого танца меня ожидал большой сюрприз. Лоэнгрин, которого я не видела со времени его отъезда в Египет несколько месяцев, пришел ко мне в уборную. Он, казалось, находился под глубоким впечатлением от моих танцев в этот вечер нашей встречи и предложил поужинать с ним у Августина, в отеле Елисейских полей.

Приехав туда, мы стали ждать его у накрытого стола. Проходили минуты, прошел час — его все не было. Его поступок привел меня в состояние жестокого раздражения. Я знала, что свою поездку в Египет он не провел в одиночестве, тем не менее была искренне рада увидать его, ибо я всегда любила его и жаждала показать ему его сына, который в отсутствие своего отца вырос красивым и сильным. Но когда наступило три часа, а его все еще не было, я уехала с горьким разочарованием, чтобы вернуться к детям.

После волнений концерта и утомительного ожидания я была изнурена и, бросившись на постель, заснула глубоким сном.

Рано утром меня разбудили дети, это у них было привычкой. Заливаясь смехом, они прыгнули ко мне на постель. Затем мы, согласно нашему обыкновению, позавтракали вместе.

Патрик буянил больше, чем всегда. Забавляясь, он опрокидывал стулья, и когда стул падал, Патрик кричал от радости.

И тут случилось странное событие. Накануне кто-то, я так и не узнала, кто именно, прислал мне два экземпляра сочинений Барбэ д'Оревильи[62] в прекрасных переплетах. Я протянула руку и взяла один из томов со стола, стоявшего возле меня. Собираясь пожурить Патрика за то, что он чересчур шумит, я случайно

открыла книгу, и мой взгляд упал на имя «Ниобея». Я прочла следующие строки:

«Прекрасная, и мать детей, достойных тебя, ты улыбалась, когда тебе говорили об Олимпе. Чтобы тебя покарать, стрелы богов пронзили голову преданных тебе детей, которых ты не могла защитить своей обнаженной грудью».

— Пожалуйста, Патрик, не шуми так. Ведь ты мешаешь маме, — сказала няня.

Она была милая, добрая, терпеливейшая в мире женщина и обожала обоих детей.

— О, пусть он шумит, — вскричала я, — подумайте, няня, во что превратилась бы жизнь без их шума?

И ясная мысль осенила меня: «Какой пустой и мрачной была бы без них жизнь, ибо больше, чем мое искусство, в тысячу раз больше, чем любовь любого мужчины, дети наполняли и увенчивали мою жизнь счастьем». Я закрыла книгу, потому что внезапный страх овладел моим сердцем. Раскрыв объятия, я подозвала обоих детей, прижала их к себе. Внезапно слезы выступили у меня на глазах — я помню каждое слово и движение в это утро. Сколько раз в бессонные ночи я повторяла в памяти каждую его минуту и безнадежно скорбела, отчего какое-либо видение не предостерегло меня, чтобы я отвратила то, чему предстояло случиться.

Стояло тихое серое утро. Окна были раскрыты в парк, где деревья облачались в первые цветы. Я впервые в этом году почувствовала острый прилив той радости, которая охватывает нас в первые мягкие весенние дни. Очарование весны и вид моих детей, румяных, красивых и счастливых, вселили в меня такую радость, что я внезапно выскочила из постели и принялась танцевать с ними. Мы все втроем заливались смехом. Няня, улыбаясь, глядела на нас.

Внезапно зазвонил телефон. Я услыхала голос Лоэнгрина. Он просил меня приехать в город, чтобы встретиться с ним, и привезти детей.

— Я хочу их видеть.

Он не видал их в течение четырех месяцев.

Я пришла в восторг при мысли, что наша встреча завершится примирением, которого я жаждала, и прошептала эту весть Дирдрэ.

— О, Патрик, — воскликнула она, — угадай, куда мы сегодня поедем?

Как часто я вспоминаю детский голосок: «Угадай, куда мы сегодня поедем?»

Бедные мои, хрупкие, прекрасные дети, если бы я только

знала в тот день, какую жестокую судьбу вы обретете!

Куда, куда вы ушли в тот день?

И тут няня сказала:

— Сударыня, мне кажется, что собирается дождь. Может быть, лучше оставить детей дома?

Сколько раз, точно в ужасном кошмаре, я слышала ее предостережения и проклинала себя, что я их не поняла. Но я полагала, что встреча с Лоэнгрином окажется гораздо проще в присутствии детей.

По пути из Версаля в Париж в автомобиле, в эту последнюю поездку, держа крошек на руках, я была исполнена новой надежды и веры в жизнь. Я знала, что, увидав Патрика, Лоэнгрин забудет свою личную обиду против меня.

Перед отъездом в Египет Лоэнгрин купил значительный участок земли в центре Парижа и намеревался выстроить здесь театр для моей школы. Театр, который явился бы сборным местом и пристанищем для всех великих артистов мира. Я верила, что Дузе найдет здесь соответствующую оправу для своего божественного искусства, а Мунэ-Сюлли сможет осуществить тут свою давно лелеянную мечту поставить подряд трилогию — «Эдипа», «Царицу Антигону» и «Эдипа в Колоне».

Все это я передумала по дороге в Париж, и великие надежды на искусство успокоили мое сердце. Судьба предопределила этому театру не быть никогда выстроенным. Дузе не найти достойного ее храма, а Мунэ-Сюлли умереть, не дождавшись осуществления своего желания поставить трилогию Софокла. Почему надежды артиста почти всегда остаются неосуществившейся мечтой?

Все произошло, как я надеялась. Лоэнгрин был очень рад вновь увидать своего мальчика и Дирдрэ, которую он нежно любил. Мы очень весело позавтракали в итальянском ресторане, ели макароны, пили кьянти и говорили о будущем, которое предстоит чудесному театру.

— Это будет театр Айседоры, — сказал Лоэнгрин.

— Нет, — возразила я, — это будет театр Патрика, ибо Патрик великий композитор, который создает танец для музыки будущего.

Когда завтрак закончился, Лоэнгрин сказал:

— Я так счастлив сегодня. Почему бы нам не поехать в Салон юмористов?

Но у меня была назначена репетиция. И поэтому Лоэнгрин взял с собой нашего юного друга Г. де С., который сопровождал нас, между тем как я с детьми и няней вернулись в Нейльи. Когда мы подъехали к театру, я спросила у няни:

— Не войти ли вам с детьми и подождать меня?

Но она возразила:

— Нет, сударыня, я полагаю, нам лучше вернуться. Малюткам нужно отдохнуть.

Поцеловав детей, я сказала:

— Я скоро вернусь.

На прощанье Дирдрэ прижала губы к стеклу. Нагнувшись, я поцеловала стекло с другой стороны в том же месте. Прикосновение к холодному стеклу оставило во мне тревожный осадок.

Я вошла в свою огромную студию. Время для репетиции еще не наступило. Я решила немного отдохнуть и поднялась в свою комнату, где бросилась на диван. Я нашла там цветы и коробку конфет, которую мне кто-то прислал. Взяла конфету и лениво ее съела, думая: «В конце концов, я очень счастлива, может быть, я счастливейшая женщина в мире. Мое искусство, успех, богатство, любовь, но превыше всего мои чудные дети».

Я медленно ела конфеты и, улыбаясь про себя, думала: «Лоэнгрин вернулся, все пойдет хорошо» — вдруг мой слух уловил странный нечеловеческий крик.

Я повернула голову. Лоэнгрин стоял передо мной, шатаясь, как пьяный. Его колени подкосились, он упал передо мной, и с его губ сошли страшные слова:

— Дети… дети… умерли!

* * *

Помню, странное спокойствие овладело мной, только в горле я чувствовала жжение, словно я проглотила тлеющие угли. Но я не могла понять. Я нежно уговаривала Лоэнгрина, я пыталась его успокоить, я говорила ему, что это не может быть правдой.

Пришли другие люди, но я все еще не могла представить себе случившегося. Затем вошел мужчина с темной бородой. Мне сказали, что это врач.

— Это неправда, — сказал он. — Я спасу их.

Я верила ему. Я хотела пойти с ним, но окружающие удержали меня. Сейчас я знаю, они поступили так, не желая, чтобы я узнала, что в действительности не было никакой надежды. Они опасались, что я сойду с ума от потрясения, но в те минуты я была в экзальтации. Я видела, что все вокруг меня плачут, но сама я не плакала. Напротив, я ощущала непреодолимое желание утешать всех. Когда я оглядываюсь назад, мне трудно постигнуть мое тогдашнее странное душевное

состояние.

Лишь дважды раздается материнский крик, который кажется нечеловеческим — при рождении и при смерти. Ибо, почувствовав в своих руках холодные ручки, которые никогда уже ответно не пожмут моих, я услыхала свой крик — тот же крик, который я слыхала при их рождении. Почему тот же? Потому что первый крик выражает наивысшую радость, а другой — наивысшую скорбь. Не знаю почему, но знаю, что они те же. Разве не один лишь крик существует во вселенной — крик, заключающий в себе скорбь, радость, экстаз, агонию — материнский крик сотворения?

Как часто, направляясь утром по каким-либо неважным делам, мы проходим мимо мрачного зловещего шествия христианских похорон и, содрогаясь, вспоминаем обо всех, кого мы любим. Но мы не допускаем, чтобы в нас закралась мысль, что наступит день, когда и мы будем провожать покойника в такой же процессии.

Со своего раннего детства я всегда чувствовала отвращение ко всему, что связано с церковью либо с церковной догмой. Чтение Ингерсолля и Дарвина и моя языческая философия усилили это отвращение. Я восстаю против современного брачного кодекса, а современный способ похорон я считаю ужасным и безобразным до варварства. Так же, как у меня хватало в свое время мужества отказаться выйти замуж и крестить своих детей, так я сейчас отказалась допустить к их смерти лицемерный маскарад, называемый христианским погребением. У меня было лишь одно желание — претворить свое ужасное несчастье в красоту. Горе было слишком велико для слез. Я не могла плакать. Ко мне приходили толпы плачущих друзей. Толпы людей стояли и плакали в саду и на улице, но я не плакала. Я лишь желала, чтобы эти люди, которые приходили в трауре выразить сочувствие, претворили свой траур в красоту. Я не надевала траура. Зачем менять платье? Я всегда считала ношение траура нелепым и напрасным. Августин, Элизабет и Раймонд поняли мою волю и воздвигли в моей студии огромный холм из цветов. Когда же я пришла в себя, первое, что я услышала, был оркестр Колонна, исполнивший прекрасный «Плач» из «Орфея» Глюка.

Но как трудно в один день изменить безобразные инстинкты и сотворить красоту. Если бы это зависело от меня, то не было бы ни людей в мрачных черных цилиндрах, ни погребальных дрог, ничего из безобразного и шутовского маскарада, который превращает смерть вместо экзальтации в смертельный ужас. Как великолепно поступил Байрон, когда он сжег тело Шелли на

костре у моря. Но из альтернативы, предлагаемой нашей цивилизацией, я могла остановиться лишь на крематории.

Я верю, что наступит день, когда мировой разум наконец восстанет против уродливых обрядов церкви и примет участие в последней прекрасной церемонии для усопших. Уже крематорий является большим шагом вперед от зловещего обычая предавать тело земле. Многие думают, как и я, но, разумеется, мои стремления встретили осуждение и злобу со стороны многих правоверных ханжей, которые считали, что, желая попрощаться с любимыми мной существами в обстановке гармонии, света и красоты и предавая их тела крематорию вместо того, чтобы зарыть их в землю на съедение червям, я проявляю себя бессердечной и ужасной женщиной. Как долго придется ждать, прежде чем разум одержит верх в жизни, в любви, в смерти!

Я прибыла в угрюмый склеп крематория и увидела перед собой гробы, которые похоронили в себе золотистые головы, стиснутые ручки, похожие на цветы, быстрые ножки моих детей — все, что я любила.

Они будут преданы пламени — и от них останется лишь печальная горсть пепла.

Я вернулась в свою студию в Нейльи. У меня было твердое намерение покончить с жизнью. Разве могла я продолжать жить, потеряв детей? И лишь слова девочек из моей школы, обступивших меня: «Айседора, живи ради нас! Разве мы тоже не твои дети?» — побудили меня утешить скорбь других детей, которые оплакивали смерть Дирдрэ и Патрика.

Если бы горе постигло меня в моей жизни раньше, я могла бы его преодолеть; если бы оно пришло позднее, оно не явилось бы для меня столь ужасным, но в ту минуту, в расцвете сил и энергии, оно совершенно разрушило меня. Если бы хоть великая любовь поглотила и унесла меня прочь, — но Лоэнгрин не отвечал на мой призыв.

Раймонд со своей женой Пенелопой уезжал в Албанию работать среди беженцев. Он убедил меня присоединиться там к ним. Я выехала с Элизабет и Августином в Корфу. Когда мы прибыли в Милан, чтобы провести здесь ночь, мне отвели комнату, в которой четыре года тому назад я провела много часов в сомнениях, обдумывая рождение маленького Патрика. А сейчас он уже успел родиться и умереть.

Мы сели на судно в Бриндизи и вскоре погожим утром прибыли в Корфу. Вся природа радовалась и улыбалась, но я не находила в ней никакого утешения.

Сопровождавшие меня рассказывали, что в течение целых дней и недель я сидела, уставившись взглядом перед собой. Я не

считалась со временем — я очутилась в угрюмой стране уныния, где не было воли ни жить, ни двигаться. Когда случается истинное горе, для него нет ни жестов, ни выражения. Подобно Ниобее, превращенной в камень, я сидела и жаждала уничтожения в смерти.

Лоэнгрин находился в Лондоне. Мне казалось, что если бы он приехал ко мне, я, может быть, избавилась бы от своей призрачной, смертоподобной спячки. Может быть, если бы я почувствовала сердечную теплоту и объятия любящих рук, я вернулась бы в жизнь.

Однажды я попросила, чтобы меня никто не беспокоил. Лежа, растянувшись на кровати в своей комнате с завешенными окнами, сложив руки на груди и достигнув последнего предела отчаяния, я бесконечно твердила свой призыв к Лоэнгрину:

— Приди ко мне. Ты мне нужен. Я умираю, если ты не придешь, я последую за детьми.

Я твердила бесконечно эти слова, словно молитву. Поднявшись и обнаружив, что уже полночь, я заснула болезненным сном.

На следующее утро Августин разбудил меня, держа в руке телеграмму.

«Ради бога, сообщите, что с Айседорой. Немедленно выезжаю в Корфу. Л.».

Следующие дни я ждала с первым проблеском надежды, что я уже выбралась из мрака.

Однажды утром явился Лоэнгрин.

Я надеялась, что любовь сгладит несчастья прошлого, сердце вновь оживится, и мои дети смогут вернуться, чтобы утешить меня на земле. Но этому не суждено было случиться. Моя печаль… моя напряженная скорбь были слишком сильны, чтобы Лоэнгрин мог их выносить. Как-то утром он уехал внезапно без всякого предупреждения. Я видела пароход, удаляющийся от Корфу, и знала, что Лоэнгрин находится на его борту. Я видела пароход, удаляющийся по голубому морю, и понимала, что вновь остаюсь одинокой.

Тогда я сказала себе: «Либо я должна покончить с жизнью, либо отыскать какой-нибудь путь к жизни, невзирая на постоянно грызущую тоску, съедающую меня днем и ночью, — ибо каждой ночью, наяву или во сне, я переживала это ужасное последнее утро, слышала голосок Дирдрэ: «Угадай, куда мы сегодня поедем» — и слышала слова няни: «Сударыня, может быть, им сегодня лучше не выезжать» — и свой безумный ответ: «Вы правы. Берегите их, дорогая няня, берегите их, не выпускайте их сегодня!»

Раймонд приехал из Албании. Как и обычно, он был полон энтузиазма.

— Вся страна в нищете. Деревни опустошены, дети голодают. Как ты можешь оставаться здесь в своем эгоистическом горе? Поезжай, помоги накормить детей… утешить женщин.

Его доводы оказали свое действие. Вновь я надела свою тунику и сандалии и последовала за Раймондом в Албанию. У него были в высшей степени оригинальные методы организации лагеря для помощи албанским беженцам. Он отправился на рынок в Корфу и приобрел необработанную шерсть. Нагрузив ее на нанятый им небольшой пароход, он отвез ее в Санти-Каранту, главный порт для беженцев.

— Но, Раймонд, — спросила я, — ты что, собираешься накормить голодных необработанной шерстью?

— Подожди, — ответил он, — ты увидишь. Привези я им хлеба, его хватило бы лишь на сегодняшний день, но я привожу им шерсть, которая пригодится им и в будущем.

Мы высадились на скалистом берегу Санти-Каранты, где Раймонд еще раньше организовал свой центр. Вывешенное объявление гласило: «Желающие прясть шерсть будут получать одну драхму в день».

Скоро выстроилась очередь жалких, худых, изнуренных голодом женщин. За драхму они покупали маис, который греческое правительство продавало в порту.

Раймонд опять направил свое судно в Корфу. Там он велел плотникам сделать для него ткацкие станки и, вернувшись в Санти-Каранту, объявил: «Кто хочет ткать шерстяную пряжу по узорам за одну драхму в день?»

Толпы голодных обратились за работой. Свои узоры Раймонд снял с рисунков древних греческих ваз. Вскоре шеренга женщин ткала у моря, и Раймонд научил их петь в унисон с их работой. Закончив ткать узоры, они принялись за прекрасные одеяла, которые Раймонд отослал в Лондон, где продал их с пятьюдесятью процентами прибыли. На эту прибыль он устроил пекарню и продавал белый хлеб на пятьдесят процентов дешевле, чем греческое правительство продавало маис, и основал свою деревню.

Мы жили в палатке у моря. Каждое утро при восходе солнца мы погружались в волны и плавали. Время от времени, когда у Раймонда оказывался излишек хлеба и картофеля, он переходил через горы в деревни и распределял хлеб между голодными.

Албания — странная страна. Здесь находится первый алтарь Зевсу-Громовержцу. Его назвали Зевсом-Громовержцем потому, что в этой стране зимой и летом бушуют бури, сопровождаемые

громом, и льют бурные ливни. Мы пробирались сквозь эти бури в наших туниках, в сандалиях, и я поняла, что мокнуть под дождем гораздо веселее, чем ходить в непромокаемом пальто.

Я видела много трагических зрелищ. Мать, сидящую под деревом, держащую грудного ребенка на руках. Трое или четверо детей цепляются за нее — все они голодны и не имеют пристанища. Дом их сожжен, муж и отец убиты турками, стада угнаны, а пастбища уничтожены. Несчастная мать сидела с оставшимися у нее детьми. Таких, как она, Раймонд наделял многими мешками картофеля.

Глава двадцать шестая

Однажды я почувствовала, что должна покинуть эту страну гор, огромных скал и бурь, и сказала Пенелопе:

— Я чувствую, что не могу дольше глядеть на все это.

Я сделала все, что было в моих силах, чтобы убедить Раймонда и Пенелопу покинуть пасмурную страну Албанию и вернуться со мной в Европу. Я привела судового врача, чтобы использовать его влияние, но Раймонд отказался покинуть своих беженцев и деревню, а Пенелопа, разумеется, не оставила его. Итак, мне пришлось покинуть их на этой заброшенной скале, где защитой им могла служить лишь маленькая палатка, над которой часто проносился настоящий ураган.

Я поехала в Швейцарию.

Предоставленная в Швейцарии самой себе, я испытывала ужасную скуку и меланхолию. Я больше не могла ни одной минуты оставаться на одном месте и, снедаемая неусидчивостью, изъездила в своем автомобиле всю Швейцарию. Наконец, следуя непреодолимому импульсу, я вернулась обратно в Париж, где была совершенно одна, ибо чье бы то ни было общество стало для меня невыносимым. Даже присутствие моего брата Августина, который примкнул ко мне в Швейцарии, оказалось бессильным разрушить горе, сковавшее меня. Под конец я дошла до того предела, когда даже звуки человеческого голоса стали мне противны. Когда люди входили ко мне в комнату, они казались мне далекими и нереальными.

Однажды вечером я прибыла в Париж к дверям своего дома в Нейльи. Его покинули все, за исключением лишь одного старика, который присматривал за садом и жил в сторожке привратника у ворот. Я вошла в свою большую студию, и на минуту вид голубых занавесок напомнил мне о моем искусстве и творчестве. Я решила постараться вернуться к ним. С этой целью я послала за своим другом Генером Скенэ, чтобы он играл мне. Но звуки знакомой музыки лишь приводили меня к припадкам плача. В действительности я плакала сейчас впервые. Все вокруг слишком остро возвращало меня к тем дням, когда я была счастлива. Вскоре у меня начались галлюцинации: мне показалось, что я слышу в саду голоса детей, а когда однажды мне случилось войти в домик, в котором они раньше жили, и я увидала их одежду и разбросанные игрушки, меня охватила глубокая скорбь. Я поняла, что не смогу остаться в Нейльи, и все же, сделав над собой усилие, пригласила к себе нескольких друзей.

Но ночью я не могла заснуть и чувствовала, что река в

слишком рискованной близости от дома. Однажды, не будучи в силах больше выносить эту атмосферу, я опять села в автомобиль и отправилась в путь на юг. Лишь очутившись в автомобиле, делавшем 70 или более километров в час, я почувствовала некоторое облегчение от неописуемой тоски, снедавшей меня днем и ночью.

Я пересекла Альпы и продолжала свои скитания в Италии. То я оказывалась в гондоле на венецианских каналах и просила гондольера грести всю ночь, то в древнем городе Римини. Провела одну ночь во Флоренции, где жил Крэг. Я почувствовала сильное желание послать за ним. Но мне было известно, что он уже женат и прочно вошел в семейную жизнь. Я решила, что его приход вызовет лишь раздоры, и сдержала свой порыв.

Однажды в маленьком городке у моря я получила телеграмму, гласившую:

«Айседора, я знаю, что вы путешествуете по Италии. Прошу вас, приезжайте ко мне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы утешить вас».

Телеграмма была подписана Элеонорой Дузе.

Я никогда не узнала, как она открыла мое местопребывание, чтобы послать мне телеграмму, но, прочтя это магическое имя, я поняла, что Элеонора Дузе была единственным человеком, с кем я хотела бы встретиться. Телеграмма была послана из Виареджио, расположенного как раз на противоположной стороне мыса, где я находилась. Я немедленно пустилась в путь в своем автомобиле, предварительно послав Элеоноре полный благодарности ответ, извещавший ее о моем приезде.

В ту ночь, когда я достигла Виареджио, бушевал сильный шторм. Элеонора жила в небольшой вилле, далеко за городом, но она оставила записку в Гранд-отеле с просьбой приехать к ней.

Глава двадцать седьмая

На следующее утро я отправилась к Дузе, которая жила в розовой вилле, позади виноградника. Элеонора вышла по заросшей виноградом тропинке встречать меня. Она заключила меня в объятия, ее дивные глаза излучали столько любви и нежности, что я почувствовала то же, что должен был чувствовать Данте при встрече в «Раю» с божественной Беатриче.

Я осталась в Виареджио, черпая мужество в сиянии глаз Элеоноры. Она укачивала меня на руках, утешая, но не только утешая — она сама, казалось, близко принимала к сердцу мою скорбь. Я поняла, что не могла выносить общество других людей потому, что все они играли комедию, тщетно пытаясь ободрить меня забвением о прошлом. Элеонора же говорила: «Расскажите мне о Дирдрэ и Патрике…» и заставляла меня повторять ей все их слова и поступки, показывать их фотографии, которые она осыпала поцелуями и плакала над ними. Она никогда не говорила: «Перестаньте горевать», а горевала вместе со мной. И впервые со дня смерти моих детей я почувствовала, что я не одинока. Элеонора Дузе была сверхчеловеком. Ее великое сердце могло бы вместить трагедию всего мира, ее душа была самая лучезарная, которая когда-либо озаряла своим сиянием печальные горести нашей земли. Часто, когда я гуляла с нею у моря, мне казалось, что ее голова достигает звезд, а руки касаются горных вершин.

Элеонора любила Шелли. В конце сентября, когда часто бушевали бури и вспышки молний разражались над злобными волнами, она, указывая на море, иногда говорила:

— Поглядите, то сверкает прах Шелли — он находится там, блуждая по волнам.

В гостинице мне порядком надоели посторонние, которые с любопытством разглядывали меня, и я наняла виллу. Что заставило меня выбрать именно ее? Большой красный кирпичный дом, расположенный далеко в лесу в окружении меланхолических сосен и огражденный огромной стеной. И если внешне вилла казалась просто грустной, то внутри она была исполнена неописуемой тоски. Согласно ходившему по деревне преданию, в ней некогда обитала одна дама, которой после несчастной страсти к кому-то из высокопоставленных особ австрийского двора — некоторые говорили, что к Францу-Иосифу, — было суждено пережить еще одно несчастье: увидать, как ее сын от этой связи сошел с ума. Наверху виллы находилась комнатка с окнами, заделанными решетками. Стены ее были покрыты

фантастическими рисунками, а в дверях имелось маленькое четырехугольное отверстие, через которое, по-видимому, передавали пищу несчастному умалишенному юноше, когда он стал опасным для окружающих. На крыше была большая открытая галерея, одной стороной выходившая на море, а другой — на горы.

Мой каприз побудил меня нанять это мрачное жилище, в котором заключалось по крайней мере 60 комнат. Думаю, что меня прельстил стоявший кругом сосновый лес и дивный вид с галереи. Я спросила Элеонору, не хочет ли она жить здесь вместе со мной, но она вежливо отказалась и, переехав со своей летней виллы, наняла вблизи меня небольшой белый домик.

Дузе обладала необычайной особенностью в смысле переписки. Если вы находились в другой стране, она время от времени присылала вам, примерно раз в три года, одну телеграмму. Но, живя подле, она присылала каждый день, а иногда два раза в день, очаровательные записки, а затем мы встречались и часто гуляли у моря, где Дузе обычно говорила: «Трагический танец совершает прогулку с трагической музой».

Однажды, когда мы гуляли у моря, она повернулась ко мне. Заходящее солнце окружало ее голову огненным сиянием. Она разглядывала меня долго и с любопытством.

— Айседора, — произнесла она сдавленным голосом, — не ищите, не ищите больше счастья. На вашем лбу вы носите печать великой несчастливицы на земле. То, что случилось с вами, только пролог. Не искушайте же вновь судьбу.

О Элеонора, если бы я только прислушалась к твоему предостережению! Но слишком сильно расцветает надежда, чтобы ее можно было легко убить, и сколько бы ветвей не обламывать и не уничтожать, она всегда пустит новые побеги.

Дузе в то время была женщиной в полном расцвете жизни и ума. Гуляя вдоль берега, она делала длинные шаги, шагая так, как ни одна из всех женщин, которых я когда-либо встречала. Она не носила корсета, и ее фигура, в то время крупная и полная, хотя и огорчила бы любителей моды, являла благородное величие. Все в ней было выражением ее великой и измученной души. Часто она читала мне отрывки из греческих трагедий либо из Шекспира, и когда я слышала, как она читает некоторые строки Антигоны, я думала, какое преступление, что это великолепное исполнение не может быть показано миру. Неправда, что долговременный уход Дузе в зените ее зрелости и совершенства со сцены вызван, как некоторые предпочитают думать, несчастной любовью или какой-нибудь иной сентиментальной причиной и даже не ее нездоровьем, а тем, что она не находила ни помощи,

ни средств, необходимых ей, чтобы осуществить идеи искусства так, как она хотела. Такова простая банальная правда. Мир, который любит искусство, покинул эту величайшую артистку мира, чтобы в течение долгих пятнадцати лет одиночество и нищета снедали ее сердце. Когда Морис Гест наконец понял ее и организовал для нее турне по Америке, было слишком поздно — она умерла в этом последнем турне, трогательно стараясь скопить деньги, необходимые для творчества, которого она ожидала все эти долгие годы.

* * *

Я взяла для виллы напрокат пианино и послала телеграмму своему верному другу Скенэ. Он немедленно приехал ко мне. Элеонора страстно любила музыку, и каждый вечер он играл ей Бетховена, Шопена, Шумана, Шуберта. Иногда тихим, нежным голосом она пела свои любимые песни.

Однажды в сумерки я внезапно встала и, попросив Скенэ поиграть, протанцевала перед ней адажио из Патетической сонаты Бетховена. Это был мой первый танец после 19 апреля. Дузе поблагодарила меня, заключив в объятия и расцеловав.

— Айседора, — сказала она, — что вы делаете здесь? Вы должны вернуться к вашему искусству. В этом единственное ваше спасение.

Элеонора знала, что несколько дней назад мне предложили контракт на турне по Южной Америке.

— Согласитесь на этот контракт, — настаивала она. — Если бы вы знали, как коротка жизнь и какими бывают долгие годы скуки, когда вокруг ничего, кроме скуки! Бегите от скорби и скуки — бегите!

— Бегите, бегите! — говорила она, но на сердце у меня было слишком тяжело. Я могла делать некоторые движения перед Элеонорой, но появиться вновь перед публикой казалось мне невозможным. Все мое существо было слишком измучено — каждый удар сердца лишь вопиял о моих детях. Пока я была с Элеонорой, я чувствовала облегчение, но ночи в этой уединенной вилле с эхом, доносившимся из пустых, угрюмых комнат, я проводила в ожидании утра. Я выходила из дому и далеко заплывала в море, надеясь заплыть так далеко, чтобы у меня не хватило сил вернуться, однако мое тело всегда непроизвольно поворачивало к суше — такова сила жизни.

Как-то в серый осенний день, прогуливаясь одна вдоль песков, я внезапно увидала впереди себя моих детей Дирдрэ и

Патрика. Они шли, взявшись за руки. Я окликнула их, но они смеясь побежали вперед, скрывшись из виду. Я побежала за ними… преследовала… звала, но внезапно они растворились в тумане морской пены. Ужасный страх овладел мною. Это видение моих детей — неужели я сошла с ума? Я ясно почувствовала, что одной ногой переступила грань между бредом и безумием. Я увидала перед собой сумасшедший дом… угрюмо однообразную жизнь и в горьком отчаянии бросилась навзничь и зарыдала.

Не знаю, долго ли я пролежала так, когда почувствовала, как чья-то рука сочувственно гладит меня по голове. Я подняла глаза и увидала человека, который, казалось, сошел со стен Сикстинской капеллы, расписанной Микеланджело. Он произнес:

— Почему вы всегда плачете? Могу ли я что-нибудь для вас сделать, помочь вам?

— Да, — сказала я. — Спасите меня… спасите больше, чем мою жизнь… мой разум.

Вечером мы стояли вместе на крыше моей виллы. Солнце садилось за морем; восходящая луна заливала искристым светом мраморное склоны горы. Я поняла, что нашла избавление от горя и смерти, — что возвращена к жизни, чтобы любить вновь.

Когда на следующее утро я рассказала обо всем Элеоноре, она отнюдь не казалась удивленной. Хотя она терпеть не могла встреч с незнакомыми людьми, — все же снисходительно согласилась, чтобы я представила ей моего юного Анджело. Мы посетили его мастерскую — он был скульптором.

— Вы в самом деле думаете, что он гений? — спросила она меня, осмотрев его работы.

— Без сомнения, — возразила я, — и, вероятно, он окажется вторым Микеланджело.

Молодость удивительно эластична. Молодость верит всему, и я почти поверила, что моя новая любовь одержит победу над скорбью. Я так устала от беспрерывной и ужасной муки! Но увы! Моя иллюзия длилась недолго. Оказалось, что мой любовник принадлежит к строгой итальянской семье и помолвлен с молодой девушкой, также из строгой итальянской семьи. Он прежде не говорил мне об этом. Но однажды он объяснил мне все в письме и затем попрощался со мной. Я вовсе не сердилась на него. Я понимала, что он спас мой разум.

Приближалась осень. Элеонора переехала в свою квартиру во Флоренции, и я также покинула угрюмую виллу. Поехала сначала во Флоренцию, а затем в Рим, где намеревалась провести зиму. Рождество я встретила в Риме. Оно прошло довольно печально, но я утешала себя: «Зато я не в гробнице сумасшедшего дома — я здесь».

Мой верный друг Скенэ оставался со мной. Он никогда ни о чем не расспрашивал, никогда во мне не сомневался, а лишь дарил мне свою дружбу, преклонение и музыку.

Рим — чудесный город для опечаленной души. В то время как ослепительная яркость и совершенство Афин лишь обострили бы мою скорбь, Рим с его великими развалинами, гробницами и памятниками, свидетелями стольких прошедших поколений, явился для меня болеутоляющим средством. В особенности мне нравилось ранним утром бродить по Аппиевой дороге[63], когда между длинными рядами гробниц по ней ехали телеги с вином из Фраскати со своими сонными возницами, прислонившимися к винным бочкам. Мне казалось тогда, что время перестает существовать.

По ночам мы со Скенэ блуждали, часто останавливаясь у многочисленных фонтанов, никогда не переставявших струиться от обильных горных источников. Я любила садиться у фонтана и слушать журчание и плескание воды. Часто я сидела так, беззвучно плача, а мой неясный друг сочувственно сжимал мне руки. От этих печальных скитаний меня пробудила однажды длинная телеграмма от Лоэнгрина, умолявшего во имя искусства вернуться в Париж. И под влиянием этого послания я села в поезд, следовавший в Париж… По пути мы миновали Виареджио. Я увидала крышу красной кирпичной виллы между соснами и вспомнила о проведенных там месяцах отчаяния и надежды и о своем божественном друге Элеоноре, которую я покидала.

Лоэнгрин приготовил для меня великолепную анфиладу комнат в Критоне, откуда открывался вид на площадь Победы, и заполнил их цветами. Когда я рассказала ему о своем испытании в Виареджио, он закрыл лицо руками и, казалось, после некоторой борьбы произнес:

— Я впервые пришел к тебе в 1908 году, чтобы помочь тебе, но наша любовь привела нас к трагедии. Создадим же сейчас твою школу, как ты хочешь, дадим немного красоты другим на нашей грустной земле.

Он рассказал мне, что купил огромный отель на Белльвю. С террасы его открывается вид на весь Париж, сады спускаются к реке, а комнат хватит на тысячу детей. Лишь от меня зависело, чтобы школа существовала постоянно.

— Если ты готова отбросить все свои личные чувства и существовать лишь ради идей, — сказал он.

Вспомнив, какую запутанную сеть горя и катастроф принесла мне жизнь, в которой лишь моя идея нового танца сверкала над всем ярко и неугасимо, я согласилась.

На следующее утро мы посетили Белльвю, и с этого дня

декораторы и меблировщики начали работать под моим руководством, превращая довольно банальный отель в дом танца грядущего.

После конкурса в центре Парижа было отобрано пятьдесят новых кандидатов, а кроме них, были ученицы старой школы и воспитательницы.

Танцевальными залами стали прежние столовые отеля, обвешанные моими синими занавесами. В центре длинной комнаты я построила помост с ведущей вниз лестницей, и этот помост мог бы быть использован для зрителей.

Я успела прийти к заключению, что однообразие и тусклость быта в обычной школе частично вызваны полами, которые находятся на одном уровне. Поэтому я соединила многие комнаты коридорчиками, идущими сначала вверх, а затем опять вниз. Столовая была устроена, как английская палата общин в Лондоне. Ряды сидений находились на ярусах, подымавшихся с каждой стороны, старшие ученицы и преподаватели должны были сидеть на верхних местах, а дети внизу.

Среди этой подвижной, кипучей деятельности я вновь обрела смелость, чтобы начать преподавание, и ученики воспринимали все с необычайной быстротой. В течение трех месяцев после открытия школы они сделали такие успехи, что вызывали удивление и восхищение у всех артистов, приходивших полюбоваться ими. Суббота посвящалась артистам. Публичный урок для них проходил утром от одиннадцати до часа, а затем, с обычной расточительностью Лоэнгрина, подавался обильный совместный завтрак для артистов и детей.

С улучшением погоды завтрак начали подавать в саду, а после завтрака следовала музыка, стихи и танцы.

Роден, который жил на противоположном холме в Медоне, часто навещал нас. Он садился в танцевальном зале и делал наброски с танцующих девушек и детей. Однажды он сказал мне: «Если бы только у меня были такие модели, когда я был молод! Модели, которые умеют двигаться и движутся согласно природе и гармонии! Правда, у меня были прекрасные модели, но ни одной, которая так понимала бы науку движения, как ваши ученики».

Я верила, что эта школа на Белльвю будет существовать вечно и что я проведу в ней все годы своей жизни и оставлю здесь в наследство плоды моей работы.

В июне мы устроили празднество в Трокадеро. Я сидела в ложе, любуясь танцами своих учениц. Во время некоторых номеров программы зрители подымались с мест и разражались криками энтузиазма и радости. Мне кажется, что этот необычайный энтузиазм, вызванный детьми, которые совсем не

были опытными танцовщиками или артистами, был энтузиазмом надежды на новую культуру движения человека, которую я смутно предвидела.

Вот они, будущие исполнители Девятой симфонии Бетховена!

Глава двадцать восьмая

Жизнь в Белльвю начиналась утром взрывами смеха. Слышно было быстрое топание детских ножек вдоль коридоров и дружное пение детских голосов. Спустившись, я заставала детей в танцевальном зале, и при виде меня они кричали: «Доброе утро, Айседора!»

Мог ли кто-либо оставаться мрачным в такой атмосфере? И хотя часто я искала между ними два исчезнувших личика и уходила в свою комнату поплакать наедине, все же у меня хватило отваги каждый день преподавать им, и привлекательная грация их танца воодушевляла меня к жизни.

Каждую неделю в Белльвю являлась толпа художников со своими альбомами: школа стала источником вдохновения для создания сотен набросков и множества сохранившихся поныне слепков танцующих фигур. Я мечтала, что благодаря школе появится новый взгляд на взаимоотношения между художником и его моделью, что под влиянием образов моих учениц, двигающихся под музыку Бетховена или Сезара Франка[64], танцующих хор греческой трагедии или читающих Шекспира, модель не будет больше жалким безгласным существом, какое мы видим сидящим в мастерской художников, а станет живым и подвижным идеалом высочайшего изображения жизни.

Поддерживая эти надежды, Лоэнгрин облек в плоть мечту о сооружении театра на холме Белльвю, которая была так трагически прервана. Я мечтала, что он превратится в театр празднеств, куда в торжественные дни станут собираться жители Парижа, и при театре будет создан симфонический оркестр.

Лоэнгрин опять призвал к себе архитектора Луи Сью. Модели театра, прежде заброшенные, вновь были расставлены в библиотеке, и уже было намечено место для фундамента. Я надеялась в этом театре осуществить свою идею воссоединения искусства музыки, трагедии и танца в их совершеннейшей форме. Здесь Мунэ-Сюлли, Элеонора Дузе и Сюзанна Депре будут играть Эдипа, Антигону или Электру меж тем, как ученицы моей школы станут танцевать хоры. Здесь я надеялась отпраздновать также столетие со дня смерти Бетховена исполнением Девятой симфонии тысячью моих учениц.

Я тратила ежедневно несколько часов на преподавание ученицам и, когда слишком уставала, чтобы стоять, прислонялась к дивану и учила их движениями рук. Мне достаточно было лишь протянуть руки к детям, и они уже танцевали.

Мы замышляли представление «Вакха» Еврипида. Мой брат

Августин, который должен был исполнять роль Диониса, знал ее наизусть и каждый вечер читал нам ее или же одну из шекспировских пьес и «Манфреда» Байрона. Д'Аннунцио был в восторге от школы и часто завтракал или обедал с нами.

Небольшая группа учениц из первой школы, превратившихся сейчас в высоких юных девушек, помогала мне в обучении малышей. Для меня было очень трогательным зрелищем наблюдать происшедшую в них огромную перемену: с какой уверенностью и искусством они продолжали мои уроки.

Но в июле 1914 года странная унылость овладела миром. Я чувствовала ее так же, как и дети. Когда мы находились на террасе, с которой открывался вид на Париж, дети часто бывали молчаливы и подавлены. Огромные черные тучи собирались в небе. Грозное безмолвие нависло над страной. Я ощущала его, и мне казалось, что движения младенца, которого я носила в себе, были слабее и нерешительнее, чем при моих прошлых беременностях.

Полагаю, что я также очень устала от своих усилий преобразить горесть и скорбь в новую жизнь. В конце июля Лоэнгрин предложил отослать школу в Англию, чтобы ученики провели каникулы в его доме в Девоншире. И вот однажды утром все ученицы толпою вошли ко мне, чтобы попрощаться. Они должны были провести август у моря и вернуться в сентябре. Когда все уехали, дом казался совершенно опустевшим, и, несмотря на всю свою борьбу, мною овладело глубокое уныние. Я очень устала и в течение долгих часов просиживала на террасе, с которой открывался вид на Париж.

Однажды утром пришла зловещая весть об убийстве Кальметта[65]. Это было трагическое событие — предвестник еще большей трагедии. Кальметт всегда был добрым другом моего искусства и школы, и известие о его смерти меня очень потрясло и опечалило.

Я испытывала тревогу и была полна страха. После отъезда детей Белльвю казался таким огромным и безмолвным, а большой танцевальный зал — таким печальным… Я пыталась успокоить свои страхи мыслями, что скоро родится ребенок, вернутся дети, и вновь Белльвю станет средоточием жизни и радости. Но тоскливо тянулись часы, пока как-то утром ко мне не вошел мой друг доктор Боссон, который в те дни гостил у нас. Его лицо было смертельно бледно, в руке он держал газету. Я прочла заголовки, говорившие об убийстве эрцгерцога. Затем поползли слухи, а вскоре пришла уверенность в войне. В то время как я замышляла возрождение искусства театра и празднество великой человеческой радости, иные силы замышляли войну, смерть и

бедствия.

1 августа я почувствовала первые родовые муки. Под моими окнами выкрикивали известия о мобилизации. Стоял жаркий день, и окна были раскрыты. Мои крики, мои страдания, мои терзания сопровождались барабанной дробью и голосом глашатая.

Мой друг Мэри принесла в комнату колыбель, завешенную всю белым муслином. Я не сводила глаз с колыбели. Я была убеждена, что Дирдрэ и Патрик возвращаются ко мне. Барабанный бой не смолкал. Мобилизация… война… война… Неужели существует война? Мой ребенок должен родиться, а ему было так трудно появиться на свет. Незнакомый врач заменял моего друга Боссона, который получил приказ вступить в армию и к тому моменту уже уехал.

Доктор все время говорил: «Мужайтесь, сударыня!» Зачем говорить «мужайтесь» несчастному существу, терзаемому ужасными муками? Было бы гораздо лучше, если бы он сказал: «Забудьте, что вы женщина, что вы должны с достоинством переносить свои муки и прочий вздор, забудьте обо всем, вопите, визжите, войте». Но у этого доктора была своя система, которая заключалась в том, что он говорил: «Мужайтесь, сударыня!»

Потрясенная сиделка все время твердила: «Сударыня, это война… это война!».

Я подумала: «Мой ребенок будет мальчиком, но он будет слишком молод, чтобы идти на войну».

Наконец я услыхала крик ребенка… он плакал… он жил. Как ни велики были мои страхи и ужас в те грозные дни, все они исчезли в едином великом порыве. Печаль, скорбь и слезы, долгое ожидание муки — все возместилось одной минутой радости. Когда мне положили на руки малютку, мальчика, все долгие часы скорби и страхов претворились в радость.

Но барабаны продолжали бить; «Мобилизация… война… война».

— Какая война? — недоумевала я. — Какое мне дело? Мой ребенок здесь, невредимый в моих руках. Пусть они воюют — какое мне дело?

Так себялюбива человеческая радость!

За моими окнами и дверью всюду бегали взад и вперед, раздавались голоса… плач женщин… зовы… споры о мобилизации, а я прижимала к себе ребенка и осмеливалась перед лицом всеобщего бедствия чувствовать ослепительное счастье и радость держать вновь на руках своего ребенка.

Наступил вечер. Моя комната была запружена людьми, любовавшимися ребенком, который лежал у меня на руках.

— Теперь вы будете вновь счастливы, — говорили мне.

Один за другим они ушли, и я осталась наедине со своим мальчиком. Внезапно крошечное существо уставилось на меня и, словно задыхаясь, раскрыло рот. Длинный свистящий вздох сорвался с его помертвевших губ. Я позвала сиделку — она пришла, взглянула и в тревоге вырвала у меня ребенка. Я слышала, как в соседней комнате требовали кислород… горячую воду…

После часа томительного ожидания вошел Августин и сказал:

— Бедная Айседора… твой ребенок… умер…

Мне кажется, что в ту минуту я достигла предела всех страданий, которые суждены мне на земле. Ибо с этой смертью словно умирали вновь мои первые дети. Эта смерть повторяла прежние муки… еще более усугубленные.

Вошла Мэри и плача унесла колыбель. Я слыхала в соседней комнате стук молотка, заколачивавшего ящик, который должен был служить единственной колыбелью моему несчастному мальчику. Этот стук молотка, казалось, отдавался в моем сердце последними ударами беспредельного отчаяния. Я лежала истерзанная и беспомощная.

Один из навестивших меня друзей сказал:

— Что значит ваше личное горе? Война уже требует сотен жертв… раненых и умирающих уже шлют с фронта.

Мне казалось естественным отдать Беллвью под госпиталь.

Однажды ко мне вошли двое санитаров с носилками и спросили, не хочу ли я осмотреть свой госпиталь. Я не могла ходить, и они носили меня на носилках из комнаты в комнату. Во всех комнатах со стен сняли мои барельефы вакханок, танцующих фавнов, нимф и сатиров так же, как и все мои драпировки и занавески, и вместо барельефов повесили дешевые изображения пасмурного Христа на золотом кресте, которые католические магазины поставляли тысячами в течение войны. Я подумала о первом пробуждении несчастных раненых солдат и о том, насколько радостнее им было бы увидать комнаты в прежнем виде. Почему они должны были смотреть на несчастного Христа, распятого на золотом кресте? Какое печальное для них зрелище!

В моем чудном танцевальном зале занавесы исчезли, и взамен их стояли бесконечные ряды коек, ожидая страдальцев. Моя библиотека, где прежде на полках для посвященных стояли тома поэзии, сейчас превратилась в операционную, ожидавшую мучеников. При моей тогдашней слабости это зрелище глубоко меня удручило. Я почувствовала, что Дионис потерпел полное поражение. Тут было царство распятого Христа.

Вскоре я услыхала первые тяжелые шаги санитаров,

вносивших раненых.

Белльвю! Мой Акрополь! Ты должен был стать источником вдохновения, академией возвышенной жизни, которую вдохновляли бы философия, поэзия и великая музыка. С этого дня искусство и гармония исчезли, и в твоих стенах раздался мой первый крик — крик раненой матери и крик ребенка, которого спугнули из этого мира военные барабаны. Мой храм искусства был превращен в Голгофу мученичества, а под конец — в мертвецкую кровавых ран и смерти. Там, где я мечтала, что будут раздаваться звуки небесной музыки, неслись лишь хриплые крики страданий и муки.

Как только я смогла двигаться, мы с Мэри уехали из Белльвю к морю. Когда мы проезжали через военную зону и я назвала свою фамилию, к нам отнеслись с величайшей учтивостью. Часовой, который стоял в карауле, сказал: «Это Айседора, ей можно проехать». И в эту минуту я почувствовала, что это величайшая честь, когда-либо мне оказанная.

Мы направились в Довиль и нашли помещение в отеле «Норманди». Усталая и больная, я утешалась, что мы отыскали себе тихую гавань. Но проходили недели, а уныние и вялость не покидали меня. Я была так слаба, что едва могла выходить на берег подышать свежим бризом с океана. Наконец, почувствовав, что серьезно больна, я послала в больницу за врачом.

К моему изумлению, он не явился, а прислал уклончивый ответ. Не имея при себе никого, кто ухаживал бы за мной, я осталась в отеле «Норманди» слишком больная, чтобы строить какие-либо планы на будущее.

В те дни отель служил прибежищем для многих известных парижан. В соседних с нашими комнатах помещалась графиня де ля Бородьер, у которой гостил поэт граф Роберт де Монтескье. После обеда мы часто слышали его легкий фальцет, читающий стихи. Среди беспрестанно доходивших до нас известий о войне и бойне было странно слышать, с каким экстазом он воспевает власть красоты.

Саша Гитри также гостил в «Норманди» и каждый вечер развлекал очарованных слушателей своим неистощимым запасом рассказов и анекдотов.

Лишь каждый раз, когда курьер с фронта добирался к нам с известиями о мировой трагедии, все на час проникались зловещим пониманием происходящего.

Но такая жизнь скоро стала мне отвратительной, и так как я была слишком больна, чтобы путешествовать, я наняла меблированную виллу. Она называлась «Черное и Белое», и в ней все: ковры, занавесы, мебель — было черным и белым. В первый

момент я нашла ее очень привлекательной и, пока сама не попробовала жить в ней, не сообразила, как угнетающе она может действовать.

Перевезенная из Белльвю, где питала надежды на свою школу, искусство, будущую обновленную жизнь, я очутилась здесь, в этом черно-белом домике у моря, одинокая, больная, покинутая. Но хуже всего была болезнь. У меня едва хватало сил на короткую прогулку по взморью. Наступила осень с сентябрьскими штормами. Лоэнгрин написал мне, что мою школу перевезли в Нью-Йорк в надежде найти там пристанище для нее на время войны.

Поезд за поездом приходил в Довиль со своим трагическим грузом раненых и умирающих. Единственное фешенебельное казино, в котором год тому назад звучали джаз и смех, было превращено в огромный караван-сарай страдания. Моя меланхолия овладевала мной все сильнее.

Однажды утром я гуляла вдоль взморья. Я шла все дальше и дальше, обуреваемая ужасным желанием никогда больше не вернуться ни к печальной вилле «Черное и Белое», ни к смертоподобной любви, заточившей меня там. Лишь когда наступили сумерки, а затем полный мрак, я поняла, что должна вернуться. Прилив быстро поднимался, и я уже шагала по наступающим волнам. Невзирая на сильный холод, я испытывала огромное желание погрузиться в море, чтобы навсегда покончить с невыносимым горем, от которого не могла найти облегчение ни в искусстве, ни в рождении нового ребенка.

При каждой попытке скрыться от него, я встречала лишь гибель, агонию, смерть.

И еще случилось нечто, что усугубило мою беспредельную скорбь. Я послала в Белльвю за чемоданом с теплой одеждой. Чемодан прибыл на виллу, но, открыв его, я обнаружила, что мне его прислали по ошибке: в нем была одежда Дирдрэ и Патрика. Увидав вновь перед своими глазами костюмчики, которые они последний раз носили, пальто, ботинки и шапочки, я снова услыхала тот же крик, как тогда, увидав их мертвыми… странный, долгий, жалобный крик, в котором я не могла признать своего голоса, словно моим горлом смертельно раненное животное издавало свой предсмертный крик.

Глава двадцать девятая

Когда Англия вступила в войну, Лоэнгрин превратил свой замок в Девоншире в госпиталь и, чтобы сохранить в невредимости детей моей школы, которые принадлежали ко всем национальностям, отправил их всех в Америку. Августин и Элизабет, находившиеся со школой в Нью-Йорке, часто присылали мне телеграммы, чтобы я присоединилась к ним, и наконец я решила поехать.

Я уехала в Ливерпуль. Здесь я села на огромный кюнардовский[66] пароход, шедший в Нью-Йорк.

Я была так опечалена и утомлена, что всю дорогу не покидала своей каюты, исключая ночи, когда выходила на палубу, в то время как все остальные пассажиры спали. Августин и Элизабет, встречая меня в Нью-Йорке, были поражены, увидав, как я больна и как изменилась.

Я застала свою школу разместившейся в вилле, — счастливой толпой военных беженцев. Наняв большую студию на Четвертой авеню и Двадцать третьей улице, я развесила по стенам свои синие занавесы, и мы снова приступили к работе.

Моя студия вскоре стала сборным местом для всех поэтов и артистов. С этой минуты ко мне вернулась моя энергия. Узнав, что вновь выстроенный театр Сенчери свободен, я взяла его на сезон в аренду и приступила к постановке в нем своего «Диониса».

Но пошлая роскошь здания раздражала меня. Чтобы преобразить его в греческий театр, я убрала все места для оркестра и разостлала там синий ковер, по которому должен был двигаться хор. Уродливые ложи я скрыла под огромными синими занавесами и с труппой из тридцати пяти актеров, восьмидесяти музыкантов и ста хористов поставила трагедию «Эдип». Мой брат Августин исполнял заглавную роль, а школа и я изображали хор.

Зрители состояли по большей части из жителей Ист-Сайда, которые, между прочим, принадлежат в современной Америке к числу подлинных любителей искусства. Одобрения Ист-Сайда меня так тронули, что я отправилась туда со всей своей школой и оркестром и дала бесплатный концерт в Еврейском жаргонном театре. Будь у меня средства, я осталась бы там, танцуя перед этими людьми, душа которых воистину создана для музыки и поэзии. Но увы! Мое рискованное начинание оказалось на деле дорогим экспериментом и привело меня к полному банкротству. Обращаясь с призывом к некоторым из нью-йоркских миллионеров, я выслушивала лишь ответ:

— Но почему вы хотите давать спектакли греческой трагедии?

В те дни весь Нью-Йорк был охвачен горячкой танцев под музыку джаз-банда. Женщины и мужчины из лучшего общества, старые и молодые, проводили время в огромных салонах таких отелей, как Балтиморский, танцуя фокстрот под варварский вой и крики негритянского оркестра. Вся атмосфера в Америке в 1915 году внушала мне отвращение, и я решила вернуться со своей школой в Европу.

Но увы, у меня не хватало денег, чтобы заплатить за билеты. Я забронировала за собой каюты на пароходе «Данте Алигьери», который шел обратным рейсом в Италию, но не было денег, чтобы заплатить за них. За три часа до отхода парохода у меня все еще не хватало денег. Но тут в мою студию внезапно явилась молодая, скромно одетая американка и спросила меня, уезжаем ли мы сегодня в Европу.

— Вы видите, — сказала я, указывая на детей, одетых в дорожные платья. — Мы все уже готовы, но еще не достали денег, чтобы рассчитаться за билеты.

— Сколько вам нужно? — спросила она.

— Около двух тысяч долларов, — ответила я. Услыхав мой ответ, эта необычайная женщина вытащила записную книжку, отсчитала два банкнота по тысяче долларов каждый и, положив их на стол, сказала:

— Я очень рада оказать вам помощь в такой мелочи.

Я глядела в изумлении на эту незнакомую женщину, которую я впервые видела и которая безо всяких просьб и даже без расписки предоставила в мое распоряжение такую большую сумму. Я решила лишь, что она, наверное, какая-нибудь неизвестная миллионерша. Но впоследствии выяснила, что это не так. В действительности, чтобы предоставить деньги в мое распоряжение, она накануне ликвидировала все свои акции и облигации.

В числе многих других она пришла провожать нас на пароход. Ее имя было Руфь. Руфь сказала: «Твои друзья станут моими друзьями, твои пути — моими путями».

Итак, мы с моей кочевой школой покинули богатую, падкую на удовольствия Америку 1915 года и поплыли в Италию. Вскоре мы достигли Неаполя, где обсудили наш дальнейший путь. Я очень хотела поехать в Грецию с тем, чтобы до окончания войны обосноваться в Копаносе. Но мои старшие ученики, путешествуя с германскими паспортами, боялись Греции. Итак, я решила искать пристанища в Швейцарии, где мы могли дать ряд концертов.

С этой целью поехали в Цюрих. В отеле «Бардю-Лак»

проживала дочь известного американского миллионера. Я решила, что мне представляется чудесный случай заинтересовать ее моей школой, и однажды велела детям танцевать перед ней на лужайке. Дети представляли собой такое прекрасное зрелище, что я была уверена: американка растрогается. Но когда речь зашла об оказании помощи моей школе, она ответила:

— Да, конечно, может быть, дети и привлекательны, но они не интересуют меня. Я интересуюсь лишь анализом своей души.

Она уже в течение нескольких лет занималась с доктором Юнгом, учеником знаменитого Фрейда, и ежедневно тратила несколько часов, записывая сны, которые она видела минувшей ночью.

Летом, чтобы жить вблизи своих учеников, я поселилась в отеле Риваж в Очи. У меня были прелестные комнаты с балконом на озеро. Я наняла нечто вроде огромного барака, который прежде служил рестораном, и, обвесив его стены своими синими занавесами, которые никогда не переставали нас вдохновлять, превратила его в зал, где преподавала детям и танцевала каждый вечер сама.

Все время до конца войны я делала отчаянные усилия сохранить свою школу, рассчитывая, что после окончания войны мы сможем вернуться в Беллвью. Но война все продолжалась, и мне приходилось на расходы по содержанию школы в Швейцарии брать деньги взаймы у ростовщиков из пятидесяти процентов.

В 1916 году я подписала, с целью раздобыть денег, контракт на Южную Америку и отплыла в Буэнос-Айрес.

По мере того как подвигаются мои мемуары, я все больше и больше прихожу к сознанию, что невозможно изложить жизнь того человека или, вернее, жизнь всех тех людей, с которыми сводила меня судьба. Случаи моей жизни, которые, казалось, продолжались десятилетиями, заняли лишь несколько страниц. Промежутки, которые казались тысячелетиями страданий и мук, в течение которых я, движимая самозащитой, становилась совершенно иным человеком, чтобы сохранить свою жизнь, — кажутся на этих страницах совершенно непродолжительными. Я часто задаю себе с отчаянием вопрос: найдется ли читатель, который сможет облечь в плоть скелет, созданный на этих страницах? Я пытаюсь излагать правду, но правда ускользает и прячется от меня. Как же отыскать ее? Будь я писательницей и напиши я о своей жизни два десятка романов, я приблизилась бы к правде. А затем, закончив эти романы, я должна была бы написать историю артистки, и эта история совершенно не походила бы на остальные. Ибо моя артистическая жизнь и мысли об искусстве развивались и развиваются поныне вполне

самостоятельно, как отдельный организм, совершенно, по-видимому, независимый от того, что я называю волей.

И все же я стараюсь рассказать правду обо всем, что со мной случилось; но я очень боюсь, что она приведет к ужасной путанице. Однако раз уж я приступила к непосильной задаче изложить летопись своей жизни на бумаге, то доведу ее до конца, хотя уже сейчас слышу голоса всех так называемых порядочных женщин всего мира, которые говорят: «В высшей степени гнусная история!» или: «Все ее несчастья служат лишь возмездием за ее грехи!» Но я не считаю, что я грешила. Нищие говорит: «Женщина — это зеркало», — и я лишь отражала людей и силы, которые захватывали меня, подобно героиням «Метаморфоз» Овидия.

Когда пароход остановился в Нью-Йорке, Августин не одобрил, что я одна так далеко путешествую в военное время, и присоединился ко мне, его общество послужило мне большим утешением. На пароходе находилось также несколько молодых боксеров во главе с Тедом Льюисом, которые каждое утро вставали в шесть часов и тренировались, а затем плавали в большом бассейне с соленой водой. Я тренировалась вместе с ними, а вечером танцевала перед ними, и таким образом путешествие проходило очень весело.

Спустя несколько дней после нашего прибытия в Буэнос-Айрес мы отправились в студенческое кабаре. Оно представляло собой обыкновенное длинное, полное дыма, помещение с низким потолком. Его переполняли смуглые молодые люди вперемежку с такими же темноволосыми девушками. Все танцевали танго. Я никогда еще не танцевала танго, но молодой аргентинец, который был нашим чичероне, убедил меня попробовать. С первых своих робких шагов я почувствовала, что сердце мое бьется в такт с манящим, томным ритмом сладострастного танца, нежного, как долгая ласка, упоительного, как любовь под южным небом, жестокого и грозного, как чары тропического леса.

Внезапно студенты узнали меня и, окружив толпой, объяснили, что сегодня празднуется годовщина освобождения Аргентины, и попросили протанцевать их гимн. Я согласилась, так как всегда любила доставлять студентам удовольствие. Выслушав перевод слов аргентинского гимна, я закуталась в аргентинский флаг и постаралась представить перед ними страдания некогда порабощенной колонии, освободившейся наконец от тирана. Успех был потрясающий. Студенты, никогда еще не видавшие подобных танцев, разразились восторженными криками и бесконечно просили меня его повторять, все время подпевая мне.

Я вернулась в гостиницу, гордясь своим успехом и

восхищаясь Буэнос-Айресом, но увы! — я торжествовала слишком рано. На следующее утро мой директор с яростью прочел в газете сенсационный отчет о моем концерте и заявил, что, согласно закону, он считает мой контракт расторгнутым. Все лучшие фамилии Буэнос-Айреса, намереваясь бойкотировать мои концерты, отказались от билетов, и, таким образом, вечер, который доставил мне столько радости, оказался гибельным для моего турне в Буэнос-Айресе.

Искусство придает форму и гармонию тому, что в жизни является хаосом и раздором.

Я пустилась в это турне в надежде раздобыть денег, которых бы хватило на содержание школы в течение войны. Представьте себе мой ужас, когда я получила из Швейцарии телеграмму, сообщавшую, что посланные мною телеграфом деньги задержаны из-за военных ограничений. Директриса пансиона, в котором я оставила девочек, не была в состоянии содержать их бесплатно, и им грозила опасность оказаться на улице. Со своей обычной порывистостью я настояла, чтобы Августин немедленно отправился в Женеву, захватив с собою деньги, необходимые для спасения моих учениц, не сознавая, что тем самым я остаюсь без денег, чтобы оплатить счет гостиницы. Мой разгневанный директор успел уехать в Чили с опереточной труппой, а я с пианистом осталась на мели в Буэнос-Айресе.

Зрители встречали меня холодно, угрюмо и неодобрительно. Единственный успех, достигнутый мною в Буэнос-Айресе, ограничивался тем вечером в кабаре, когда я танцевала гимн свободы. Нам пришлось оставить чемоданы в гостинице и продолжать наше путешествие в Монтевидео. К счастью, для содержателей гостиницы мои танцевальные туники не представляют никакой ценности!

В Монтевидео зрители оказались полной противоположностью аргентинцам — они встречали меня с большим энтузиазмом. Таким образом, появилась возможность продолжать наше турне в Рио-де-Жанейро. Мы прибыли туда без денег и без багажа, но директор городского театра в высшей степени любезно оплатил авансом концерты. Здесь я встретила таких культурных и чутких зрителей, что перед ними всякий артист выявил бы лучшие стороны своего дарования.

Тут я познакомилась с поэтом Жаном де Рио, которого любила вся молодежь Рио, ибо в Рио каждый юноша сам является поэтом. Когда мы гуляли с ним, толпа молодежи следовала за нами, восклицая:

— Да здравствует Жан де Рио, да здравствует Айседора!

* * *

Из Рио-де-Жанейро я вернулась в Нью-Йорк. Путешествие было одиноким и печальным, все время я беспокоилась о своей школе. Некоторые из боксеров, ехавшие со мной в прошлый раз, возвращались на том же пароходе в качестве лакеев — их выступления не сопровождались никаким успехом, и они ничего не заработали.

По прибытии в Нью-Йорк меня никто не пришел встречать — моя телеграмма не была доставлена из-за военных затруднений.

Случайно я вспомнила об одном из своих друзей, изумительном мастере фотографии Арнольде Генте. Очутившись одна в доке, я позвонила ему по телефону. Каково же было мое изумление, когда мне ответил знакомый голос, но не голос Арнольда, а Лоэнгрина, который, по странному совпадению, только что приехал к Генте. Услыхав, что я одна в доке без денег и без друзей, он заявил, что немедленно приедет ко мне на помощь.

И действительно, появился несколько минут спустя. Увидев его высокую, властную фигуру, я испытала странное чувство уверенности и безопасности. Мы оба были очень рады видеть друг друга.

Кстати, из моей автобиографии можно заметить, что я всегда оставалась верна своим возлюбленным и, вероятно, не покинула бы ни одного из них, если бы они оставались мне верными. Полюбив их раз, я люблю их поныне и навсегда.

Итак, после своих злополучных странствий я была счастлива видеть моего Лоэнгрина, вновь явившегося мне на выручку. С обычной своей властностью он быстро получил мои вещи из таможни, после чего мы отправились в студию Генте, а затем втроем поехали завтракать на Риверсайд Драйв, откуда открывается вид на гробницу Гранта[67].

Мы радовались тому, что снова вместе. Я чувствовала, что мое возвращение в Нью-Йорк прошло при счастливых предзнаменованиях. Лоэнгрин находился в самом любезном и великодушном настроении. После завтрака мы устремились в «Метрополитен-опера» и наняли его, а весь день и вечер провели, рассылая всем артистам приглашения на бесплатный парадный концерт. Этот концерт явился одним из прекраснейших испытаний моей жизни. Присутствовали все художники, артисты и музыканты Нью-Йорка, и я танцевала с наслаждением, не чувствуя гнета театральной кассы.

Я рассказала Лоэнгрину о том, что послала Августина в Женеву, и о своем беспокойстве относительно школы. С присущей

ему необычайной щедростью он перевел телеграфом деньги, необходимые для переезда всех учениц в Нью-Йорк. Но, увы, для части из них деньги пришли слишком поздно. Все малыши были вытребованы своими родителями домой. Школа, которой я пожертвовала годы работы, распалась, и это причинило мне много страданий. Но вскоре меня несколько утешило прибытие Августина с шестью старшими ученицами.

Лоэнгрин все еще находился в прекрасном и щедром настроении и ни перед чем не останавливался, чтобы доставить удовольствие мне и детям. Он нанял студию на вершине Медисон-Сквер-Гардена, где мы приступили к ежедневной работе. По утрам он возил нас на долгие автомобильные прогулки вдоль Гудзона. Каждому из нас он делал подарки. Действительно, на время жизнь стала чудесной благодаря магической силе денег.

Но с наступлением суровой нью-йоркской зимы мое здоровье пошатнулось, и Лоэнгрин предложил мне совершить поездку на Кубу. Он послал своего секретаря сопровождать меня.

От Кубы у меня остались самые приятные воспоминания. Секретарь Лоэнгрина, молодой шотландец, был поэтом. Мое здоровье не позволяло давать концерты, но мы провели три недели в Гаване, катаясь вдоль берега и наслаждаясь живописной природой.

О Гаване у меня сохранилось интересное воспоминание. Как-то в праздничную ночь, когда все кабаре и кафе кипели жизнью, мы, после нашей обычной прогулки у моря и пампасов, заехали около трех часов утра в типичное гаванское кафе. Здесь мы застали обычный подбор морфинистов, кокаинистов, курильщиков опиума, алкоголиков и прочего отребья жизни. Мы заняли место за столом в дымном, тускло освещенном помещении с низким потолком. Мое внимание привлек к себе бледный человек с помертвелыми щеками и свирепым взглядом, который, казалось, галлюцинировал. Своими длинными тонкими пальцами он надавливал клавиши пианино, и я услыхала, к своему удивлению, прелюдии Шопена, исполняемые с удивительным проникновением и талантом. Я слушала в течение нескольких минут, а затем подошла к нему, но он мог произнести лишь несколько бессвязных слов. Мое движение обратило на меня внимание посетителей кафе. Сообразив, что меня тут совершенно никто не знает, я возымела фантастическое желание протанцевать перед этой странной публикой. Закутавшись в свою накидку и дав указание пианисту, я протанцевала под музыку несколько прелюдий. Постепенно пьяницы в кафе погрузились в молчание, и, продолжая танцевать, я не только завладела их вниманием, но заставила многих из них плакать. Пианист также очнулся от

своего столбняка, вызванного морфием, и играл с вдохновением.

Я, не переставая, танцевала до утра. Когда я уходила, они все обнимали меня, и я чувствовала больше гордости, нежели после любого концерта, ибо здесь я видела истинное доказательство своего таланта, полученное без помощи импресарио и предварительной обработки публики.

Вскоре после этого я со своим другом поэтом села на пароход, идущий во Флориду, и мы высадились на Пам-Бич. Отсюда я послала телеграмму Лоэнгрину, который присоединился к нам в Брекерс-отеле.

* * *

Самые ужасные дни великого горя наступают не в начале его, когда потрясение скорби повергает человека в состояние экзальтации, которая почти убивает всякую боль, но много времени спустя, когда о человеке говорят: «О, он уже успокоился!» или «Он уже все пережил!», — когда за веселым обедом он чувствует, как скорбь ледяной рукой сжимает сердце и жаркие клещи стискивают ему горло, лед и огонь, ад и отчаяние овладевают всем, и, подымая бокал с шампанским, он силится утопить свои невзгоды в забвении, сбыточном или несбыточном.

Именно этого состояния я сейчас достигла. Все мои друзья говорили: «Она обо всем забыла, она все пережила!» — меж тем как вид каждого ребенка, невзначай зашедшего в мою комнату, зовущего свою мать, наносил смертельный удар моему сердцу, пронизывал все существо такой тоской, что мозг мог лишь взывать к Лете, к забвению, каково бы оно ни было. И во мне восставала душа артиста и возглашала: «Я хочу любить, любить и порождать радость!» Каким это было адом!

Лоэнгрин привез с собой на Пам-Бич американского поэта Перси Мак-Кея. Однажды, когда мы все сидели на веранде. Лоэнгрин составил план будущей школы, согласно моим идеям, и сообщил, что успел купить Медисон-Сквер-Гарден в качестве подходящего участка для театра.

Несмотря на мой энтузиазм перед всем планом в целом, я не была склонна приступать в разгар войны к такому обширному проекту. Мой отказ привел Лоэнгрина в такое раздражение, что с той же порывистостью, с какой он покупал Гарден, он отказался от его покупки по нашем возвращении в Нью-Йорк.

Глава тридцатая

В начале 1917 года я выступила в «Метрополитенопера». В те дни я верила, как и многие другие, что надежды всего мира на свободу, возрождение и цивилизацию зависят от победы союзников в войне. Поэтому каждый концерт я заканчивала исполнением «Марсельезы», в течение которой все зрители стояли.

Тот день, когда пришла весть о революции в России, наполнил всех любителей свободы надеждой и радостью, и вечером я протанцевала «Марсельезу» в подлинно революционном настроении духа, а вслед за ней свою интерпретацию «Славянского марша».

Ту часть, когда в нем раздается царский гимн, я представила в виде угнетенного крепостного под ударами бича.

Эта антитеза и диссонанс танца с музыкой вызвали бурю среди зрителей.

Странно, что в течение всей моей артистической деятельности эти движения отчаяния и восстания привлекали меня сильнее всего. В своей красной тунике я постоянно танцевала революцию и призыв угнетенных к оружию.

В ночь русской революции я танцевала с дикой, неистовой радостью. Сердце мое рвалось в груди за тех, кто сейчас дождался освобождения, а раньше подвергался страданиям и пыткам и умирал за дело человечества. Неудивительно, что Лоэнгрин, наблюдая меня из вечера в вечер из своей ложи, должен был под конец несколько встревожиться и задать себе вопрос, не станет ли покровительствуемая им школа милосердия и красоты грозной опасностью, которая приведет и его, и его миллионы к уничтожению. Но импульсы моего искусства были непреодолимы, и я не могла бы сдержать их даже ради человека, которого люблю.

Лоэнгрин устроил в мою честь празднество в отеле «Шерри». Оно началось с обеда, продолжалось танцами и закончилось обильным ужином. По этому случаю Лоэнгрин подарил мне дивное бриллиантовое ожерелье. Я никогда не стремилась к драгоценностям и не носила их, но Лоэнгрин казался очень обрадованным, когда я разрешила ему надеть бриллианты мне на шею. К утру, когда гости подкрепились изрядным количеством шампанского и у меня самой несколько закружилась голова от удовольствия и опьянения вином, я возымела несчастную мысль научить танцевать танго апашей, — как это я видела в Буэнос-Айресе, — одного красивого юношу, находившегося среди гостей.

Внезапно я почувствовала, что мою руку выворачивают железные тиски, и, оглянувшись, увидала рассвирепевшего от ярости Лоэнгрина. Вскоре после описанного случая Лоэнгрин исчез в новом припадке ярости. Он покинул меня с огромным счетом гостиницы и всеми расходами по школе на руках. Я тщетно обращалась к нему за помощью. Знаменитое бриллиантовое ожерелье переселилось в ссудную кассу и никогда уже ко мне не вернулось.

И вот я очутилась беспомощной, без денег в Нью-Йорке в конце сезона, когда нельзя было уже думать ни о каком концерте. К счастью, в моем распоряжении еще имелось горностаевое манто, а также дивный изумруд, купленный Лоэнгрином у сына махараджи, который проиграл все свои деньги в Монте-Карло. Говорили, что камень снят с головы знаменитого идола. Я продала манто известной певице-сопрано, изумруд — другой и наняла на лето виллу на Лонг-Бич. Я поселила там своих учениц в ожидании осени, когда снова станет возможным зарабатывать деньги.

Со своей обычной непредусмотрительностью, раз я имела деньги на виллу, автомобиль и наши ежедневные расходы, — я очень мало заботилась о будущем. Хотя, по сути, я сейчас была без гроша, и сумму, вырученную от продажи мехов и драгоценностей, без сомнения, было бы благоразумнее поместить в солидные акции и облигации, но это ни разу не пришло мне в голову. Все мы провели достаточно приятное лето на Лонг-Бич, принимая, как обычно, множество артистов. В числе наших гостей в течение нескольких недель находился гениальный скрипач Исайи. Наша вилла веселела от звуков его дивной скрипки, весь день оглашавших ее стены. У нас не было студий, но мы танцевали на взморье и устроили специальное празднество в честь Исайи, который радовался, как мальчик.

Но нетрудно себе представить, что, вернувшись в Нью-Йорк после летних удовольствий, я очутилась без гроша денег и, после двух безумных месяцев, подписала контракт на Калифорнию.

Во время этого турне я попала в свой родной город. Как раз перед прибытием туда я узнала из газет о смерти Родена и долго плакала при мысли, что никогда уже я не увижу своего великого друга. При виде репортеров, ожидавших меня для интервью на вокзале в Окленде, я, не желая, чтобы они заметили мои распухшие от слез глаза, закрыла лицо черной кружевной вуалью, что дало им повод на следующий день писать, что я напустила на себя таинственный вид.

Двадцать два года прошло с того дня, как я покинула Сан-Франциско, пустившись в великий искус. Легко себе представить,

с каким волнением я возвращалась в свой родной город, в котором землетрясение и пожар 1906 года настолько все видоизменили, что мне все казалось новым, и я едва могла его узнать.

В Сан-Франциско я вновь встретилась с моей матерью, которую не видела в течение нескольких лет, — повинуясь непреодолимой тоске по родине, она отказалась жить в Европе. Она выглядела очень состарившейся от забот. Однажды, завтракая в Клифф-хаузе, я увидала в зеркале наши отражения и не могла не противопоставить мое грустное лицо и изможденную внешность моей матери двум отважным смельчакам, которые почти двадцать два года тому назад пустились в путь с надеждой обрести славу и богатство. Надежды исполнились — почему же результаты оказались такими трагическими? Вероятно, они являются следствием того, что мы живем в самом несовершенном из миров. Может быть, так называемого счастья в нем вовсе не существует. Разве лишь мимолетные его отблески.

В Сан-Франциско я дала концерт в театре «Колумбия». Несмотря на восторги заполнившей зал избранной публики, я упала духом, не найдя в своем родном городе готовности оказать поддержку моему идеалу будущей школы. Здесь была масса моих подражателей и даже несколько подражавших мне школ, которые, казалось, их вполне удовлетворяют: но вместе с тем они, вероятно, считали, что мое искусство, как слишком серьезное, могло стать лишь причиной разных неприятностей. Поэтому творчество всех моих подражателей превратилось в сахарин и приторный сироп, так как они ограничивались лишь той частью моего учения, которую им нравилось называть «гармонической и прекрасной», но пренебрегали всем, что было в нем серьезного, что являлось главной его пружиной и придавало ему настоящее значение.

В минуту пророческой любви к Америке Уолт Уитмэн сказал: «Я слышу, как поет Америка!» — и я представляла себе мощную песню, которую слышал Уитмэн.

Прочтя это стихотворение, я имела видение — видение Америки, танцующей танец, который служил бы достойным выражением песни, услышанной Уитмэном. Музыка этого танца будет иметь ритм великий, как радость, как размах и очертания скалистых гор. Она не должна иметь ничего общего со сладострастным подъемом ритма джаза, она должна уподобиться вибрациям души Америки, стремящейся ввысь через труд к гармонической жизни. В нем не будет ни следа фокстрота и чарльстона.

Когда мои танцы называют греческими, это часто вызывает у

меня улыбку, притом улыбку иронии, ибо я знаю, что они возникли из рассказов моей бабушки, которые мы слышали, о том, как они вместе с дедом в 1849 году в крытом фургоне пересекли равнины. Ей было 18, ему — 22 года. Она родила ребенка в этом крытом фургоне в тот день, когда происходила знаменитая битва с краснокожими, и бабушка рассказывала, как дед просунул голову в двери крытого фургона, когда наконец краснокожие были разбиты, и, держа дымящееся ружье в руке, приветствовал своего новорожденного ребенка.

Когда они добрались до Сан-Франциско, мой дед одним из первых выстроил деревянный дом. Помню, как будучи маленькой девочкой, я посещала этот дом, и моя бабушка, вспоминая об Ирландии, часто пела мне ирландские песни и танцевала ирландскую джигу. Но думается, что в ее ирландскую джигу успело проникнуть нечто от героического духа пионеров и от битвы с краснокожими — вероятно, даже некоторые из жестов краснокожих, а также чуточку Янки Дудля, т. е. той эпохи, когда дед, полковник Томас Грей, маршируя, вернулся с гражданской войны. Все это бабушка отражала в своей ирландской джиге, а от нее научилась тому же и я, вложив в танец мое собственное восприятие молодой Америки. Таково происхождение так называемого греческого танца, которым я заполнила весь мир.

Это было начало, корень, а впоследствии, очутившись в Европе, я приобрела трех великих учителей, трех великих предвестников танца нашего века — Бетховена, Ницше, Рихарда Вагнера. Бетховен создал могучий ритм танца, Вагнер — скульптурную форму.

Глава тридцать первая

Так же, как у меня бывают дни, когда кажется, что жизнь являлась дивной, украшенной сверкающими драгоценностями легендой, цветущим полем, лучезарным утром, увенчивающим каждый час любовью и счастьем: дни, когда я не нахожу слов, чтобы выразить экстаз и радость жизни, и когда идея моей школы кажется мне лучом гения, — так же бывают иные дни, когда, вспоминая свою жизнь, я чувствую в себе великое отвращение и полную опустошенность. Прошлое кажется лишь рядом катастроф, будущее — тяжкой невзгодой, а моя школа — галлюцинацией, порожденной мозгом лунатика.

После долгой борьбы, которую я выдержала, чтобы не дать распасться школе, одинокая, с тоскующим сердцем, разочарованная, я стремилась вернуться в Париж, где намерена была реализовать деньги за мою собственность. Я сообщила Мэри о своем настроении.

— Завтра уезжает мой лучший друг Гордон Селфридж. Если я его попрошу, он наверное достанет вам билет, — сказала Мэри.

Я была так измучена борьбой и тоской от своего пребывания в Америке, что с радостью согласилась, и на следующее утро отплыла из Нью-Йорка. Но несчастье сопутствовало мне и здесь, ибо в первый же вечер, гуляя по палубе, погруженной из-за военных условий в мрак, я провалилась сквозь люк и, свалившись с высоты 15 метров, получила довольно серьезные травмы. Гордон Селфридж очень благородно предоставил в мое распоряжение свою каюту так же, как и самого себя. Он был в высшей степени любезен и приятен. Я напомнила ему о своем первом визите к нему свыше 20 лет тому назад, когда голодная маленькая девочка попросила его отпустить в кредит платье для танцев.

В его лице я впервые столкнулась с человеком действий. Я поразилась, насколько отличен его взгляд на жизнь. После артистов и мечтателей, которых я знала, он, казалось, принадлежал к иному полу, — я считаю, что все мои любовники были определенно женственными. Я всегда вращалась в обществе мужчин более или менее неврастеничных: либо погруженных в глубочайшее уныние, либо возбужденных под влиянием выпитого. Между тем Селфридж всегда был в необычайно ровном, отличнейшем расположении духа.

Когда я прибыла в Лондон, все еще не оправившись от своего падения, у меня не было денег, чтобы Поехать в Париж. Я наняла комнату на Дюк-стрит и телеграфировала различным друзьям в

Париж, но не получила ответа, вероятно, из-за войны. Совершенно беспомощная, я провела несколько ужасных и угрюмых недель в своей печальной комнате. Я была одинока, больна и без единого цента. Моя школа была уничтожена, а война, казалось, будет длиться нескончаемо. Ночью я сидела у темного окна и, наблюдая за воздушными налетами, жаждала, чтобы в наш дом попала бомба и закончила мои мученья. Ведь самоубийство так искушает. Я часто думала о нем, но что-то всегда удерживало.

В отчаянье я телеграфировала Лоэнгрину, но не получила ответа. Еще до моего отъезда из Нью-Йорка один директор устроил несколько концертов для моих учениц, которые хотели искать счастья в Америке. Они ездили как ученики Айседоры Дункан, но я не получала ничего из доходов от этих турне. Я очутилась в отчаянном положении. Наконец, благодаря случаю, я встретила очаровательного сотрудника французского посольства, он пришел мне на выручку и отвез в Париж. Я наняла там комнату в Пале-д-Орсей и обратилась за деньгами к услугам ростовщиков.

Каждое утро в пять часов нас будил грубый грохот большой Берты[68], подходящее начало для зловещего дня, в течение которого с фронта приходили ужасные вести. Смерть, кровопролитие, бойня заполняли угрюмые часы, а ночью раздавался свист, предупреждавший о воздушном налете.

Единственным ярким воспоминанием этих дней осталась встреча со знаменитым «тузом» Гарро[69]. Я встретилась с ним как-то вечером в доме моих друзей. Он играл Шопена, а я танцевала. Он провожал меня пешком домой от Пасси до Д'Орсейской набережной. Мы наблюдали за воздушным налетом, который шел над городом. На Плас де ля Конкорд я под падающими бомбами протанцевала перед Гарро. Сидя на краю фонтана, он аплодировал мне. Совсем близко от нас падали ракеты, освещая своими вспышками его печальные темные глаза.

Дни проходили в угрюмом однообразии. Я с радостью стала бы сестрой милосердия, но сознавала, что лишь увеличу и без того длинную очередь кандидатов, ожидающих быть принятыми в сестры.

Итак, я решила вернуться к моему искусству, хотя на сердце у меня лежала такая тяжесть, что я удивлялась, как ноги выносили ее бремя.

У Вагнера есть песня «Ангел» — я ее люблю, — она рассказывает об охваченном печалью и одиночеством духе, к которому является ангел света, — такой ангел пришел ко мне в те мрачные дни в лице пианиста Вальтера Руммеля, которого ко мне

привели друзья.

Когда он вошел, мне показалось, что портрет молодого Листа сошел с полотна. Он был высок, худощав, блестящий локон спускался на высокий лоб, а глаза были похожи на прозрачные источники сияющего света. Он играл мне. Мы работали в фойе театра, которое было любезно предоставлено Режаном в мое распоряжение. Под уханье большой Берты и эхо военных известий Вальтер играл мне Листа, а я слагала, вдохновляясь его игрой, свои новые танцы. Так началась самая чистая любовь в моей жизни.

Он был воплощением нежности и мягкости, хотя страсть сжигала его. Разум поглощал ее, а душа восставала. Он не давал прорываться страстям, его отвращение к ним было так же очевидно, как непреодолимое чувство, которое владело им. Любить такого человека и опасно, и трудно. Отвращение к любви может легко перейти в ненависть к тому, кого любишь.

Лето шло, и мы нашли тихое убежище на юге. Там, вблизи порта Сент-Жана, на мысе Ферра, в почти покинутом отеле, мы устроили себе студию в пустом гараже. Все дни и вечера он играл мне дивные мелодии, а я танцевала.

Блаженное время наступило для меня. Жизнь, как маятник, — чем ниже погружаешься в скорбь, тем выше затем вздымаешься в радость.

Время от времени мы выходили из нашего убежища, чтобы оказать помощь несчастным либо дать концерт перед ранеными, но чаще всего мы были одни, отдаваясь лишь музыке и любви, любви и музыке — моя душа была на вершине блаженства.

Когда лето прошло, мы нашли студию в Ницце и с объявлением перемирия вернулись в Париж.

Война закончилась. Мы смотрели, как войска проходят победным маршем под Триумфальной аркой, и восклицали: «Мир спасен!» На мгновение все стали поэтами, но скоро мир вспомнил и о коммерческих делах.

Мой пианист, взяв меня за руку, повез в Белльвю. Мы нашли дом обращенным в развалины. А почему бы не восстановить его? Несколько напрасных месяцев мы потеряли, пытаясь найти деньги для этой несбыточной затеи.

Наконец, убедившись, что она действительно несбыточна, мы приняли подходящее предложение продать дом французскому правительству, которое придерживалось мнения, что огромный дом замечательно подойдет под фабрику удушливых газов для следующей войны. После того как мне пришлось увидеть мой храм Диониса превращенным в госпиталь для раненых, мне было суждено предоставить его под фабрику орудий войны. Я очень

сожалела о потере Белльвю. Закончив наконец продажу и получив деньги, я приобрела дом на Рю де ла Помп, где прежде помещался Бетховенский зал, и устроила себе здесь студию. Мой пианист питал ко мне нежное сострадание. Он, казалось, чувствовал горе, которое угнетало мое сердце и часто служило причиной бессонных, полных слез ночей. В такие часы он смотрел на меня сочувствующими блестящими глазами, что приносило мне утешение.

В студии наших два искусства чудесно слились в одно. Он был первым, кто посвятил меня в смысл творчества Франца Листа.

Так вместо того, чтобы спокойно наслаждаться обретенным вновь счастьем, я вернулась к своей старой мысли восстановить школу и с этой целью телеграфировала моим ученицам в Америку.

Когда они присоединились ко мне, я собрала кучку верных друзей, которым заявила:

— Отправимся все в Афины и посмотрим на Акрополь. Может быть, мы еще сможем основать школу в Греции.

Как извращаются людские побуждения! Сотрудник «Нью-йоркера» в 1922 году, говоря о нашей поездке, написал: «Сумасбродство Дункан не знало границ. Она пригласила к себе гостей, и из Венеции все отправились в Афины».

Горе мне! Мои ученицы приехали, красивые, молодые, даровитые. Мой пианист, увидев девушек, влюбился в одну из них.

Как описать путешествие, которое явилось Голгофой для моей любви? Впервые я заметила их страсть в отеле «Эксцельсиор» на Лидо, где мы остановились на несколько недель. Я уверилась в ней на пароходе, который шел в Грецию, и эта уверенность омрачила для меня навсегда вид Акрополя при свете луны.

По прибытии в Афины все, казалось, благоприятствовало школе. Благодаря любезности Венизелоса[70], в мое распоряжение был предоставлен Заппейон. Здесь мы устроили нашу студию, и здесь я каждое утро работала со своими ученицами, стараясь воодушевить их для танца, который был бы достоин Акрополя. Моим намерением было обучить тысячу детей для участия в великих празднествах Диониса на стадионе.

Каждый день мы отправлялись к Акрополю, и при воспоминании о моем первом приезде сюда в 1904 году я с глубоким волнением смотрела на моих юных учениц, которые сейчас осуществляли часть грез, владевших мною здесь шестнадцать лет тому назад. И вот сейчас все, казалось, говорило

о том, что война окончена и я смогу наконец учредить в Афинах свою долгожданную школу.

Мои ученицы, которые привезли из Америки огорчавшую меня аффектацию и манерность, утратили ее под сверкающим небом Афин, черпая вдохновение в великом искусстве и великолепных видах гор и моря.

Мы нашли Копаное разоренным. Его населяли пастухи со своими стадами горных козлов, но это отнюдь не поколебало моего решения очистить и восстановить здание. За работу принялись немедленно. Накопившиеся за многие годы груды мусора были вывезены, и молодой архитектор приступил к покрытию здания крышей и к оборудованию окон и дверей. В высокой зале мы разостлали танцевальный ковер и втащили большое пианино. Здесь каждый день, когда раскаленное солнце садилось за Акрополем, распространяя над морем нежно-багряные и золотые лучи, мой пианист играл нам Баха, Бетховена, Вагнера, Листа. В прохладе вечеров мы все сплетали венки из нежных белых цветов жасмина, которые афинские мальчики продают на улицах, и, надев их на голову, брели к морю ужинать в Фаллероне.

В кругу украшенных цветами девушек пианист походил на Парсифаля, но я начала замечать в его глазах новое выражение, которое больше напоминало о земных, нежели о небесных страстях. Я верила, что наша любовь безгранична, и прошло немало времени, прежде чем передо мной забрезжила правда. Весь мой опыт мало чему послужил, и мое открытие явилось для меня тяжелым ударом. С этой минуты тревожные ужасные муки овладели мной, и, вопреки своей собственной воле, я начала следить за проявлениями их растущей любви с чувством, которое, к моему ужасу, иногда пробуждало во мне демона, близкого к убийству.

Конечно, я и прежде в своей жизни испытывала тяжкие страдания, которые выпускали когти зеленоглазого чудовища ревности, но никогда еще мной не владела такая неистовая страсть, как сейчас. Я любила и в то же время ненавидела их обоих, и это испытание внушило мне глубокое сочувствие и понимание тех несчастных, которых невообразимые пытки ревности подстрекают к убийству любимого человека.

Чтобы избежать этого бедствия, я взяла с собой нескольких из моих учениц, и мы поднялись по чудесной дороге, проходящей мимо античных Фив в Калсис.

Но в те минуты все великолепие Эллады было бессильно изгнать из меня овладевшего мной ужасного демона, который беспрестанно рисовал мне образы тех двух, оставшихся в Афинах,

и глодал, и пожирал, как серная кислота, мой мозг. И, когда мы вернулись, вид их обоих на балконе, сияющих безмятежностью и взаимной страстью, завершил мое горе.

Сейчас я не могу понять этого наваждения, но в те часы оно опутало меня крепкими сетями, и я не могла вырваться из них, как нельзя вырваться от скарлатины или оспы. Однако, невзирая на свое состояние, я ежедневно преподавала и не отказалась от планов основать школу в Афинах, которым все, казалось, улыбалось.

Но когда вечером я видела на балконе две головы, выступавшие силуэтами на фоне луны, я вновь становилась добычей мелких человеческих страстей, опустошавших мою душу, и уходила, дико блуждая в одиночестве и вынашивая в себе намерение броситься, как Сафо, с утеса Парфенона.

Нет слов, чтобы описать страдания сжигавшей меня мучительной страсти, и нежная красота окружавшей меня обстановки лишь усугубляла мое горе. Казалось, из этого положения нет выхода. Разве сплетение страстей могло заставить нас пожертвовать бессмертными планами великого музыкального сотрудничества? Но ведь не могла же я отослать ученицу из школы, где она выросла. И в то же время невозможной казалась перспектива каждый день видеть их любовь и удерживаться от проявления своей досады. Это был капкан, из которого нельзя было выбраться. И так все продолжалось; и в то время, как я старалась научить моих учениц красоте, спокойствию, философии и гармонии, сама я внутри корчилась в тисках неумолимой пытки. Этому невыносимому положению положил конец такой пустяк, как укус обезьяны, который оказался роковым для греческого короля.

Несколько дней он висел между жизнью и смертью, а затем пришла весть о его смерти, послужившая причиной переворота. Венизелосу и его партии пришлось опять уйти, а вместе с ним и нам, ибо мы были приглашены в Грецию в качестве его гостей и также пали жертвами политических событий. Все деньги, которые я истратила на восстановление Копаноса и устройство студии, пропали, и нам всем пришлось, отказавшись от мечты учредить школу в Афинах, сесть на пароход и вернуться через Рим в Париж.

Какое странное мучительное воспоминание оставило во мне это последнее посещение Афин в 1920 году и возвращение в Париж, где вновь начались мои муки, закончившиеся наконец разлукой с моим пианистом и его отъездом с моей ученицей, которая также покидала меня навсегда. Несмотря на то, что я чувствовала себя жертвой всего случившегося, она, казалось, держалась совершенно противоположного мнения и с горечью

порицала меня за мои чувства и за то, что я не сразу отреклась от своих прав.

Когда наконец я очутилась одна в доме на Рю де ла Помп, мое отчаяние не имело границ. Я не могла дольше переносить вида этого дома, в котором я была так счастлива. Я жаждала уйти из него и из мира, ибо в те дни я верила, что мир и жизнь умерли для меня. Сколько раз в жизни приходишь к такому заключению! Меж тем стоит заглянуть за ближайший угол, и там окажется долина цветов и счастья, которая оживит нас. В особенности же я исключаю выводы, к которым приходят столько женщин, а именно, что после того, как им миновало 40 лет, их жизненное достоинство должно исключить всякую любовь. О, как это неверно!

Весной 1921 года я получила следующую телеграмму от Советского правительства: «Русское правительство единственное, которое может понять вас. Приезжайте к нам. Мы создадим вашу школу».

Откуда пришло это обращение? Из ада? Нет — но из ближайшего от него места, которое для Европы заменяло собою ад, — от Советского правительства, из Москвы. Я ответила: «Да, я приеду в Россию и стану обучать ваших детей при единственном условии, что вы предоставите мне студию и все, что необходимо для работы». Я получила утвердительный ответ и вот однажды очутилась на Темзе, на пароходе, который шел из Лондона в Ревель, а оттуда на поезде — в Москву.

По дороге в Россию у меня было чувство, словно душа, отделившись после смерти, совершает свой путь в новый мир. Мне казалось, что я покинула навсегда все формы европейской жизни. Со всей энергией своего существа, разочаровавшегося в попытках достигнуть чего-либо в Европе, я была готова вступить в государство коммунизма.

Я не везла с собою никаких платьев. Я представляла себе, что проведу остаток жизни в красной фланелевой блузе среди товарищей, одетых с такой же простотой и исполненных братской любви.

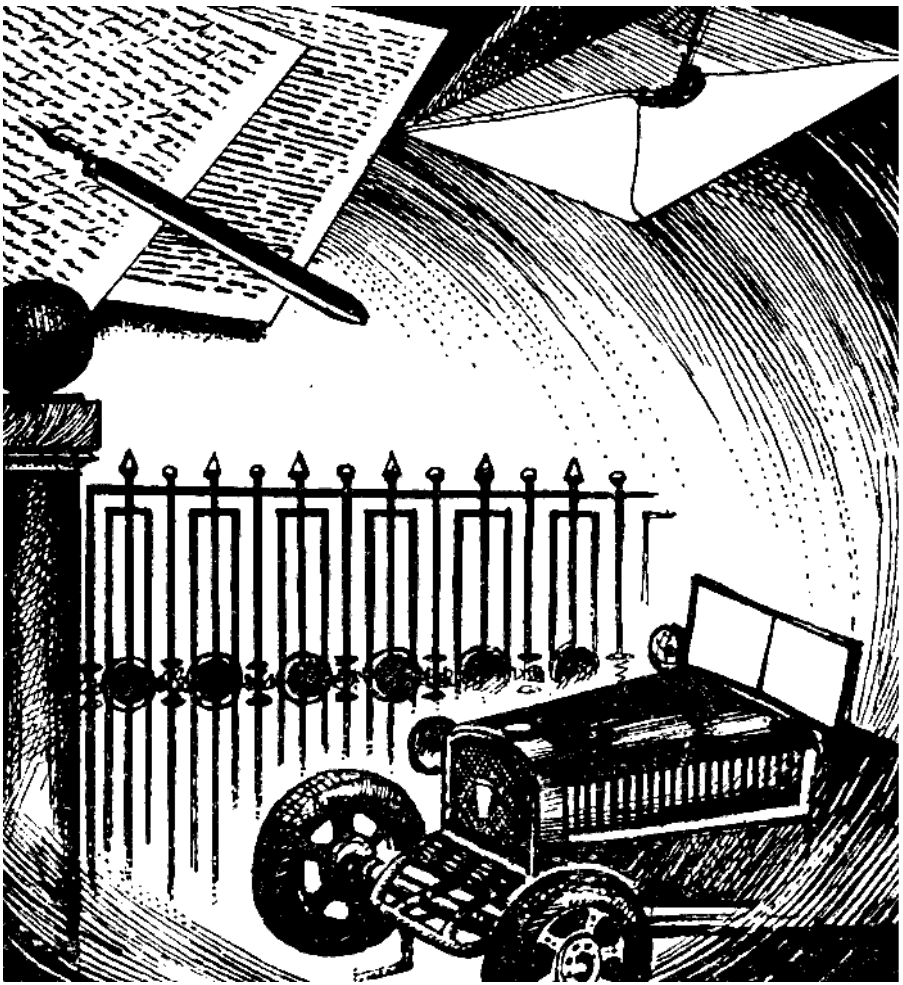
Пока пароход уходил на север, я оглядывалась с презреньем и жалостью на все старые условности и обычаи буржуазной Европы, которые покидала. Отныне я буду лишь товарищем среди товарищей и выработаю обширный план работы для этого поколения человечества. Прощай, неравенство, несправедливость и животная грубость старого мира, сделавшие мою школу несбыточной!

Когда пароход наконец прибыл, мое сердце затрепетало от великой радости. Вот он, новый мир, который уже создан! Вот он,

мир товарищей: мечта, которая служила конечной надеждой всех великих артистов, мечта, которую Ленин великим чародейством превратил в действительность. Я была охвачена надеждой, что мое творчество и моя жизнь станут частицей ее прекрасного будущего.

Прощай, Старый Мир! Привет Новому Миру!

И. Шнейдер
Встречи с Есениным



Долгие годы отделяют меня от событий, о которых рассказывает эта книга. Но за эти годы мне не раз приходилось перелистывать страницы минувшего в докладах, статьях, лекциях или просто рассказывая все это другим людям.

Летом 1921 года знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан по приглашению Советского правительства

приехала в Москву, чтобы отдать свой труд, опыт и навыки русским детям;.

Сразу же после приезда Дункан нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский поручил мне как журналисту, близкому к хореографическому искусству, позаботиться о Дункан и ее спутницах, а потом в течение очень долгих лет, не бросая, правда, никогда пера, журналистики, литературы, я руководил сначала школой, затем студией и, наконец, Московским театром-студией имени Айседоры Дункан.

Первые месяцы работы с Дункан и свели меня с одним из замечательных русских поэтов-лириков Сергеем Александровичем Есениным.

Я прожил с Айседорой Дункан и Сергеем Есениным в Москве под одной кровлей почти три года, немного путешествовал с ними, был свидетелем первой их встречи. В моей памяти жива история их большой любви, которую Луначарский назвал потом «горьким романом». […]

Приехать совершенно бескорыстно в Советскую Россию, едва оправившуюся от исторических пожаров, нужды и голода… Поверить в эту Россию мог лишь человек незаурядный. Вспомните годы… Презреть богатство, свою мировую славу, которая, правда, была уже на закате, все-таки не просто… Но и не в этом дело. Она могла жить в полном довольстве, спокойно. Но она говорила в те годы, что не может так жить, что только Россия может быть родиной «не купленного золотом искусства».

О том, что ощущала Дункан, когда ехала с женой Литвинова[71] из Лондона через Ревель (ныне Таллинн. — Ред.) и Петроград в Москву, она писала в своей книге: «…По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после смерти в другой мир, я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я видела, что идеальное государство, каким оно представилось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем жаром существа, разочаровавшегося в попытках претворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась вступить в идеальное государство коммунизма…»

Из старого мира она шла в новый, не зная, что в обетованной земле найдет и большую, последнюю в жизни любовь.

Но до того, как Дункан и Есенин встретятся на страницах этой книги, необходимо, чтобы читатель получил хотя бы общее представление о жизненном пути Айседоры Дункан, о социальных причинах ее стремления в революционную Россию и о первых шагах ее работы в Москве в годы становления Советской власти.

1. Приезд Айседоры Дункан. «Золотой король» и Дункан. Первые впечатления

Кто может предугадать минуту, когда, благодаря какому-нибудь незначительному обстоятельству, жизнь внезапно делает крутой поворот?..

Если бы я вошел минутой позже в свою комнату, где призывно звенел настольный телефон, он бы еще раза два налился звоном и умолк. Я поднял трубку: Флаксерман, секретарь Луначарского, сообщил, что со мной хочет переговорить нарком.

Луначарский сказал, что неожиданно, на три дня раньше, чем ее ждали, приехала Дункан. Анатолий Васильевич попросил меня поселить ее на какое-то время в квартире Гельцер[72], уехавшей на гастроли. С Гельцер я был связан работой и поэтому не удивился такой просьбе.

В отеле «Савой», где Дункан остановилась, неблагоустроенном и частично даже разрушенном, оказались к тому же клопы и крысы. Дункан и ее спутницы сбежали ночью из отеля и прогуляли до утра по улицам, осматривая Москву.

Я позвонил старшей сестре Гельцер Любови Васильевне (жене Ивана Михайловича Москвина) и заручился также ее согласием принять гостей в квартире Екатерины Васильевны.

Чтобы стало более понятным, почему Луначарский в день приезда Дункан позвонил мне, — несколько слов о себе.

В то время я часто выступал в печати с рецензиями на балетные спектакли, и Луначарский, внимательно следивший за художественной критикой, не мог не знать моего имени. Но было еще одно обстоятельство, позволившее нам ближе познакомиться друг с другом.

Стремясь как-то оживить архаические формы балета, организованный в Москве «Вольный театр» объявил конкурс на либретто для одноактного балетного спектакля. Я написал и сдал в комиссию конкурса либретто «Золотой король». Неожиданно для меня оно получило первую премию. Но постановка не состоялась. Как раз в это время в здании Московского комитета партии в Леонтьевском переулке был совершен террористический акт — здание было разрушено взрывом. Комитет переехал на Большую Дмитровку, в помещение, предназначавшееся для «Вольного театра».

Немного позже в органе Наркомпроса «Вестник театров» появилась статья Луначарского о «Золотом короле».

Луначарский писал: «Не знаю, правильно ли рассчитывает тов. Шнейдер, что либретто полностью подходит под «Поэму экстаза» Скрябина, но само по себе оно превосходно. Тема его как нельзя более проста: это борьба трудящихся масс с золотым кумиром и победа над ним. Оно разработано ярко, живописно, в лучшем смысле этого слова балетно и феерически… Зрелище, поставленное с настоящим режиссерским искусством, превратило бы этот балет в один из любимейших спектаклей нашего пролетариата, который как в Москве, так и в Петрограде сильно чувствует прелесть балета с его бросающимся в глаза мастерством, с его подкупающей грацией, с его ласкающей красотой».

Но обстоятельства сложились так, что постановка «Золотого короля» все затягивалась. Как-то зайдя в дирекцию к всесильному «комиссару театров» Е. К. Малиновской, я попросил вернуть мне либретто.

— У нас есть приказ наркома о постановке этого балета в Большом театре, — ответила Малиновская.

— Мне думается, что эту постановку трудно будет осуществить силами балетной труппы, хотя я и ценю труппу очень высоко, — сказал я.

— Вы должны будете дать расписку в том, что берете либретто по собственному желанию.

Я согласился. Она позвонила и попросила принести рукопись.

Чтобы нарушить неловкое молчание, я попытался продолжить свою мысль:

— Эту постановку надо осуществлять несколько иными силами, да и постановщика я сейчас не вижу. Существует, мне кажется, человек, которому была бы по силам эта тема, но его нет здесь.

— Кто же это такой? — спросила Малиновская.

— Это не «такой», а «такая»: Айседора Дункан.

Малиновская передала разговор Луначарскому. Вот почему именно я должен был, по мнению Анатолия Васильевича, встретить Айседору Дункан и позаботиться о ней.

Позвонив на квартиру Гельцер, я предупредил экономку о прибытии неожиданных гостей и попросил, чтобы приготовили что-нибудь закусить. Пообещали только яичницу. По тем временам и это было роскошно. Я уехал на вокзал, где в это время Дункан получала свой багаж. Флаксерман отправился туда на машине Луначарского.

На площади перед Николаевским (ныне Ленинградским) вокзалом машины Луначарского не было: Флаксерман успел увезти Дункан. Вдруг из ворот вокзала выехал воз, и я невольно

обратил на него внимание: множество кофров, корзин и чемоданов — метра в два высотою. Я сразу же подумал, что, вероятно, это и есть багаж Дункан. Я проехал к дому Гельцер на Рождественский бульвар. Гости уже были на месте.

Я видел Дункан на сцене давно, еще в 1908 году. Воздушная фигурка в легкой тунике; сцена, декорированная гладкими сукнами и однотонным ковром…

Два слова — «Айседора Дункан» — были для меня синонимами какой-то необычайной женственности, грации, поэзии… А сейчас впечатление было неожиданным: Дункан показалась мне крупной и монументальной, с гордо посаженной царственной головой, облитой красноватой медью густых, гладких, стриженых волос. Одета она была в нечто вроде блестящей кожаной куртки с белым атласным жилетом, отороченным красным кантом. (После того как Дункан, готовившаяся к отъезду в Советскую Россию, заказала себе костюм по этой модели, законодатель парижских мод Поль Пуаре пустил модель в оборот под названием «а-ля большевик».)

Я спросил, удовлетворены ли гости квартирой, и объяснил, что Луначарский поручил мне позаботиться на первых порах «о мисс Дункан и ее спутницах».

Дункан поморщилась. Я решил, что ее раздражает мой немецкий диалект, но через несколько дней узнал, что причина недовольства — мое обращение: «мисс Дункан».

Теперь, когда Айседора пересекла границу социалистического государства, ей претили всякие, даже словесные, атрибуты оставленного «старого мира», ее манило новое созвучие: соединение ее имени со словом «товарищ».

Дункан приехала из Лондона через Ревель в Петроград.

За границей в те годы мало писали о нашей жизни. Истину заменяли подчас невероятные, фантастические слухи. Приняв за истину россказни об уничтожении денежной системы в Советской России, Дункан решила, что слова «товарищ» будет достаточно, чтобы извозчик отвез ее без всякой оплаты по нужному ей адресу, и, так как у нее не было с собой никаких денег, ей пришлось совершить первый «рейс» в Петрограде пешком. Это ее не обескуражило. Она шла по улицам и с интересом вглядывалась в лица встречных. Был июль 1921 года. Люди были плохо одеты, озабочены. Нет ничего удивительного в том, что Дункан увидела тогда «облик нового мира» только в выражении лиц и глаз красноармейцев, беспрерывно встречавшихся ей на улицах.

В комнату вошла тоненькая девушка в шелковом кремовом пеньюаре.

— Это Ирма — единственная из моих учениц, решившаяся

ехать со мной в Москву, — представила Айседора.

Она придвинула мне папиросную коробку. На коробке была обозначена ничего не говорившая мне тогда фирма: «фабрика Мэри Дести».

Мы закурили.

— Да, нас сильно пугали… — улыбнулась Айседора, как-то неумело затягиваясь сигаретой (курила она немного). — В Париже ко мне пришли бывший русский посол Маклаков и еще Чайковский — однофамилец вашего гениального композитора. Он кто был? — спросила она.

— Глава белого правительства на Севере, организованного англичанами после оккупации ими Архангельска.

— Так вот, оба они, — а этот Чайковский даже встал передо мной на колени, — оба умоляли меня не ехать в Россию, так как, по его уверениям, на границе я и Ирма будем изнасилованы, а если нам и удастся доехать до Петрограда, то там придется есть суп, в котором будут плавать отрубленные человеческие пальцы…

Редакция «Известий ВЦИК» поручила мне написать небольшую статью о приезде к нам Айседоры Дункан, и я хотел услышать от нее если не «декларацию», то какие-то новые и свежие слова, объясняющие социальные причины ее приезда в Советскую Россию. Все дореволюционные писания об Айседоре Дункан как о «легкокрылой танцовщице-босоножке, задумавшей возродить древнегреческий танец», явно устарели и не годились. Кроме того, хотя со времени войны и революции мы находились в фактической блокаде, понаслышке мы знали, что Дункан давным-давно эволюционировала от «ангела со скрипкой» к «пластической философии жизни» в Шестой патетической симфонии и «Славянском марше» Чайковского… Она танцевала целиком Пятую симфонию Бетховена, Седьмую и «Неоконченную» Шуберта, огромные циклы из произведений Шопена и Листа.

— Я бежала из Европы от искусства, тесно связанного с коммерцией. Кокетливому, грациозному, но аффектированному жесту красивой женщины я предпочитаю движение существа горбатого, но одухотворенного внутренней идеей. Нет такой позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе. Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и искренне выражает чувства и мысли. Фраза «красота линий» сама по себе — абсурд. Линия только тогда красива, когда она направлена к прекрасной цели.

Она с увлечением говорила о своих планах: создать в Москве школу, где танец был бы средством воспитания детей — новых людей нового мира, гармонически развитых — физически и духовно.

Сообщение о приезде Айседоры Дункан и эта маленькая ее «декларация» были напечатаны через несколько дней в «Известиях».

Ирма присела за наш стол. Она была среднего роста, хорошо сложена, с прекрасными каштановыми волосами, подстриженными «по-дунканoвски», с красивыми темными глазами. Жанна, камеристка Дункан, без которой Айседора никуда не выезжала, суетилась, выгружая на стол банки с вареньем и мармеладом, плитки шоколада, бисквиты и какие-то маленькие пакетики в пергаментной бумаге. Жанна разрывала их с треском, вынимая белые хлебцы. Я заглянул в огромную корзину, из которой Жанна вытаскивала всю эту снедь…

— Для чего вы везли с собой из-за границы столько хлеба? — обратился я к Дункан.

Она не успела ответить, а Ирма смешком выпалила:

— У нас еще две такие корзины!

Айседора смущенно объяснила, что хлебцы — диетические, нельзя же ей полнеть… Но, заметив недоверчивое выражение моего лица, призналась на своем особом немецком диалекте (она владела тремя языками, и иногда в ее речи к немецким словам примешивались французские и английские):

— Они все настаивали, чтобы мы взяли с собой побольше хлеба, так как в России его нет.

И, вытащив из сумки широкую палочку губной помады, размашисто провела по губам, не вынимая зеркальца. Потом, вкусно облизнувшись, добавила:

— Ну, а помимо всего, это действительно диетический хлеб.

Айседора завешивала тонкими шелковыми шалями розовато-желтой окраски лампы и бра, и без того снабженные абажурами.

— Я не выношу белого света, — объяснила она, осторожно, чтобы не зацепить какую-нибудь статуэтку или вазу из хрупкого фарфора, накидывая шали на абажуры. — Я не способна коллекционировать эти вещи и поклоняться им, — говорила Дункан. — Разница между красивым и прекрасным слишком велика. — И вдруг остановилась перед картиной Тропинина: — А вот это прекрасно… Есть у вас… спички? — спросила она, опять примешивая к немецкой речи французские слова, и, вынув сигарету, протянула мне коробку. — Строя новый мир, создавая новых людей, надо бороться с ложным пониманием красоты. Каждая мелочь в быту, в одежде, каждая этикетка на коробке должны воспитывать вкус. Я верю, что здесь, в России, все так и будет. Я приехала сюда для большой работы, и я хочу, чтобы меня здесь поняли. Ведь столько лет во всем мире мне приписывают желание возродить античный танец! Это так неверно! Я работала,

изучая античную скульптуру, вазовую живопись и отдельные, зафиксированные в живописи и скульптуре моменты античного танца, но я видела в них лишь непревзойденные образцы естественных и прекрасных движений человека. Мой танец — не танец прошлого, это — танец будущего. А каков был танец древних греков в целом — мы ведь не знаем. Музыка их, по-видимому, была примитивной.

Раздался звонок. Приехал Луначарский, с которым Дункан уже виделась днем в Наркомпросе. Мы не стали мешать их беседе и вышли на воздух.

Ирма предложила:

— Пойдемте в «синема».

Был понедельник — все синематографы были закрыты. (В Москве в то время было всего несколько кинотеатров.) К счастью, я вспомнил, что именно по понедельникам в просмотровом зале частной прокатной конторы «Тиман и Рейнгард» демонстрируют киноленты для артистов балета Большого театра.

Мы отправились в Гнездниковский. «Балет» — преимущественно балетная молодежь и не менее молодая балетная критика — был уже там. Все мы хорошо знали друг друга. Я объявил о приезде Дункан и представил Ирму.

«Классический балет» принял представительницу «дункановской школы» вполне гостеприимно.

2. Станиславский и Дункан. «I am red, red!»[73] Спич во дворце «сахарного короля». Статья Луначарского

Когда мы возвратились на Рождественский, Луначарского там уже не было. Дункан о чем-то горячо спорила со Станиславским. С ним ее связывала дружба и воспоминания о давнем увлечении…

Дружба между Дункан и Станиславским возникла еще в годы приезда Айседоры Дункан в дореволюционную Россию.

В конце января 1908 года Станиславский пишет ей в Гельсингфорс, где также проходили ее гастроли:

«Вы потрясли мои принципы. После Вашего отъезда я ищу в своем искусстве то, что Вы создали в Вашем. Это красота, простая, как природа. Сегодня прекрасная Дузе повторила передо мною то, что я знаю, то, что я видел сотни раз. Дузе не заставит меня забыть Дункан!»

Вскоре после приезда, кажется, дня через три, Дункан получила приглашение на небольшой раут в особняк Наркоминдела. Для этого приема она выбрала туалет, который, вплоть до тюрбана и туфель, был красного цвета.

Когда я спросил, следует ли, отправляясь на первый официальный вечер, так подчеркивать свои революционные убеждения, она, ударяя себя в грудь, воскликнула:

— I am red, red!

Несколько лет спустя Айседора во время путешествия вместе с Сергеем Есениным по США в присутствии десяти тысяч человек, собравшихся на ее концерт в симфоническом павильоне в Бостоне, крикнула со сцены: «I am red, red!»

Публика с галерки, прослышавшая о том, что на предыдущих концертах Дункан танцевала под музыку «Интернационала», хлынула в партер, требуя исполнения этого номера. Тут произошел единственный в истории театра случай: распахнулись двери огромного павильона, в партер… въехала конная полиция и начала разгонять публику.

На другой день одна из бостонских газет в сенсационном подробном сообщении о происшедшем «скандале» поместила карикатуру на Дункан в красном плаще и с надписью: «I am red, red!»

… В особняке Наркоминдела, до революции принадлежавшем сахарозаводчику Харитоненко, мебель золоченая, на тонких ножках. Гобелены. Расписные потолки: маркизы и пастушки.

В одной из гостиных молоденькая актриса, аккомпанируя себе на рояле, пела какую-то французскую песенку.

Ей аплодировали и кричали «браво».

Все были хорошо одеты и говорили с Дункан на прекрасном французском языке. Кто-то назвал ее «мадмуазель Дункан».

Она поправила: «Товарищ Дункан» — и поднялась с бокалом в руке:

— Товарищи, спич! Товарищи! Вы совершили революцию. Вы строите новый прекрасный мир, а следовательно, ломаете все старое, ненужное и обветшалое. Ломка должна быть во всем: в образовании, в искусстве, в морали, в быту. Вы сумели выкинуть сахарных королей из их дворцов. Но почему же вы сохранили дурной вкус их жилищ? Выбросьте за окно эти пузатые тонконогие и хрупкие золотые стульчики. На всех потолках и картинах у вас живут пастушки и пастушки Ватто. Эта девушка очень мило пела, но во время Французской революции ей отрубили бы голову. Она поет песенки Людовика XVI! Я думала сегодня увидать здесь новое, а вам не хватает только фраков и цилиндров, как всем дипломатам.

Она села. Кто-то пытался объяснить ей действительное положение дел, не совпадающее с ее романтическими представлениями о переустройстве общества и с ее революционной экзальтацией, не считающейся ни с трудностью этих реформ и процессов, ни со временем, которого они потребуют.

Айседора вернулась домой расстроенная.

Годы спустя, после гибели Айседоры Дункан, Луначарский писал в своих «Воспоминаниях»: «В центре миросозерцания Айседоры стояла великая ненависть к нынешнему буржуазному быту. Ей казалось, что и нынешняя биржа, и государственная чиновничья служба, и современная фабрично-заводская работа, весь уклад обывательской жизни — все, за исключением некоторых, по ее мнению, оставшихся здоровыми частей деревни, представляет из себя грубый и глупый отход от природы…

Айседоре казалось, что если тело будет легким, грациозным, свободно двигающимся, то это в значительной степени повлияет и на сознание людей, и даже на их общественную жизнь. Она утверждала: «Если вы научите человека вполне владеть своим телом, если вы при этом будете упражнять его в выражении высоких чувств, сделаете так, что движения его глаз, головы, рук, туловища, ног будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, дружбу или гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, враждебного и т. д., то это отразится воспитывающе на самом его сознании, на его душе».

Она говорила, что человек, привыкший благородно двигаться, не только научается благородно чувствовать, но начинает с величайшим нетерпением сносить окружающее безобразие, устремляется к тому, чтобы соответственно этим движениям одеться, соответственно им устроить свое жилище, у него изменяется отношение ко всем окружающим людям.

Вести о революции, происшедшей в царской России, об огромных перспективах культурной революции, которую политический переворот провозгласил, заставили Айседору резко порвать свои буржуазные связи, и, несмотря на всякие предупреждения об опасности такого шага и самого пребывания в революционной России, несмотря на угрозы репрессиями со стороны капиталистических антрепренеров, она приехала в Москву, в голодную, холодную Москву самых тяжелых годов нашей революции и приступила здесь к работе. Она очень хорошо мирилась с запущенностью и бедностью нашей тогдашней жизни.

…Айседора внесла максимум своего пламенного идеализма в основанное ею дело и сама, наоборот, часто доказывала мне, что, конечно, пройдет несколько очень трудных лет, но что она все-таки сможет вывести свое дело на широкий простор.

Она уехала из Москвы, оставив школу на попечение своей приемной дочери Ирмы Дункан, но не переставала с болезненной чуткостью следить за этой школой. Незадолго до своей смерти она посетила меня в Париже, расспрашивала о школе, рассказывала об издании своего дневника на русском языке, о великих перспективах найти средства, чтобы подвести под школу серьезную материальную базу, и т. д.»

3. Воробьевы горы. Н. И. Подвойский. Символическое восхождение

На квартире Гельцер вместо трех дней гости прожили более двух недель. Днем Дункан терпеливо ожидала моего прихода, чтобы тотчас потащить нас всех на Воробьевы горы — она была непоседой. Ехали обычно на извозчике до Новодевичьего монастыря, потом пешком по каким-то огородам, тянувшимся до Москвы-реки. У перевоза садились в лодку, если она была тут, или кричали лодочнику, вызывая его с другого берега. Перебравшись через реку, бродили по заросшим аллеям и лужайкам Нескучного сада, купались, отдыхали. Потом снова ходили и все говорили, говорили.

— Я всегда говорю детям, когда учу их, — рассказывала Айседора, — смотрите, как взлетает птица, как порхает бабочка, как ветер колышет ветви деревьев, как он рябит воду. Учитесь движениям у природы. Все, что природно, — естественно.

Вечерело. Мы стояли с Айседорой около старой, с колоннами, беседки Нескучного сада, у самой реки, которая огибает здесь блестящей подковой темно-зеленый берег. Розовел и золотился Новодевичий монастырь. Айседора медленно переводила взор с него на реку, на наш берег, долго глядела на спускающийся амфитеатром огромный зеленый склон, на самой верхушке которого одиноко высилось большое каменное здание.

— Вот здесь, — сказала Айседора, — среди зелени, должен быть грандиозный массовый театр без стен и без крыши… Вот тут, — показала она, — природная орхестра, площадка древнегреческого театра, на которой будет происходить действие. Вон там, — провела она рукой в сторону зеленого склона, — места для тысяч зрителей.

Она выбрала то самое место, где приблизительно через десять лет построили Зеленый театр…

— А вот там, — показала она в сторону каменного здания наверху склона, — хороший дом для моей школы…

— Товарищ, — позвал меня кто-то, — можно вас на одну минуту?

Я увидел человека в хорошо сшитой кавалерийской шинели с ярко-красными нашивками. Военная фуражка. Бледное узкое лицо. Небольшая рыжеватая бородка. Я подошел к нему.

— Скажите, это Дункан? — спросил он и представился: — Я Подвойский. Переведите, пожалуйста… я бы хотел с ней поговорить.

Подвойский… Это он был в Октябре председателем Петроградского военно-революционного комитета, возглавляя взятие Зимнего дворца!

Я едва успевал переводить. Айседора и Подвойский задавали друг другу множество вопросов, почувствовав единомыслие: Подвойского тоже волновали проблемы массового физического воспитания.

— Все последние годы, — говорила Айседора, — мои мысли были в России, и душа моя была здесь. Приехав сюда, я чувствую, что иду по тем путям, которые ведут в царство всеобщей любви, гармонии, товарищества, братства… Я презираю богатство, лицемерие и те глупые правила и условности, в которых мне приходилось жить. Я хочу учить ваших детей и создавать прекрасные тела с гармонически развитыми душами, которые сумеют проявить себя во всем том, что они будут делать, став взрослыми, в любой своей профессии. Грешно предопределять будущую профессию ребенка, который не может еще ни обсудить ее, ни сделать выбор. Всех детей я хочу учить, но не для того, чтобы делать из них танцовщиц и танцовщиков! Свободный дух может быть только в освобожденном теле, и я хочу раскрепостить эти детские тела. Мои ученики будут обучать других детей, а те в свою очередь новых, пока дети всего мира не станут жизнерадостной и прекрасной, гармоничной и танцующей массой. Мы создадим детский интернационал — залог будущего братства всех народов! Я знаю, что я еще слишком невежественна в политике, но я хорошо понимаю, что здесь, у вас, заложено начало тому чуду, которое обновит мир…

Темнело. Подвойский вел нас какими-то одному ему ведомыми тропинками.

— Я считаю, — продолжала Айседора, — что с тех пор, как на земле началось христианство, большевизм является величайшим событием, которое спасет человечество. Но…

И Айседора стала сетовать на то, что по ее мнению, не во всех еще областях жизни началась перестройка…

— Айседора, Айседора, — пытался убедить ее Подвойский, — вы родились на сто лет раньше, чем следовало. Вы слишком рано пришли в этот мир.

— Вы должны, — перебивала его Айседора, — уже сейчас давать своему народу многие радости за все то мученичество, которое переживала Россия.

— Мы еще только рубим глыбы мрамора, — объяснял Подвойский, — а вы уже хотите обтачивать их тонким вашим резцом. Послушайте меня: идите к рабочим, в рабочие районы, в рабочие клубы. Начните заниматься с небольшими группами

детей, покажите их родителям-рабочим результаты этих занятий. А после этого открывайте большую школу, и тогда рабочие поведут к вам своих детей. Добейтесь у рабочих признания важности вашего дела, тропинками, через рабочие районы выходите на большую дорогу. А потом, когда вы покажете большой, законченный результат вашей работы, пусть, пусть… тогда Луначарский встанет в очередь за билетом, чтобы посмотреть на это… — засмеялся Подвойский.

Стало совсем темно. Мы взбирались на гору, тропинок уже не было видно, какие-то каменные глыбы и развалины преграждали нам путь.

— Вот, — шутил Подвойский, — такой трудной дорогой вам надо идти к признанию и успеху. Я нарочно повел вас сюда. Это — развалины старого мира: бывший ресторан Крынкина — разгульное заведение старой Москвы, взорванное рабочими. Тропинками, Айседора, через пролетарские районы на большую дорогу!

— Мичательно! — на свой лад, по-русски произнесла Айседора усвоенное ею за эти дни слово. — Но как мы спустимся отсюда?

Подвойский рассмеялся:

— Это называется — завел… Но найдем средства и спуститься.

Спускаться было нелегко…

Вдруг далеко внизу замелькали какие-то огни, послышались голоса. Они все приближались, и наконец мы услышали совсем ясно:

— Товарищ Подвойский!.. Товарищ Подвойский!..

— Это Мехоношин, — узнал наш «вожак» и подал голос: — Здесь мы!

(Подвойский в то время был начальником Всевобуча, а Мехоношин — его заместителем.)

Обеспокоенный долгим отсутствием Подвойского, который, оказывается, сегодня впервые поднялся после тяжелой болезни, Мехоношин обыскал все Воробьевы горы и, узнав от прохожих, что мы поднимались к развалинам ресторана Крынкина, вышел искать нас с несколькими красноармейцами, захватив фонари и веревки.

Начался спуск — фонари и веревки действительно оказались необходимыми. Но Айседора была в восхищении и от знакомства с Подвойским, и от путешествия. Да и сам Подвойский ничуть не был обескуражен и все просил меня:

— Скажите ей, скажите, что препятствия не останавливают, а лишь подхлестывают, и нет препятствий непреодолимых. А ей

придется еще столкнуться со многими трудностями, не такими пустячными, как эти. Пусть она не падает духом, пусть не сетует и не удивляется. Ей помогут.

Мы по-прежнему каждый день бывали на Воробьевых горах и всегда встречали Подвойского, временно поселившегося там после болезни. Он был поглощен проектом строительства на Воробьевых горах Красного стадиона.

Однажды Айседора сказала ему, что ей хотелось бы, вместо того чтобы совершать дважды в день длинный путь, пожить здесь некоторое время, пока еще не наступила осень.

Подвойский распорядился предоставить Дункан небольшую пустовавшую дачку, где жила лишь какая-то старушка.

На другой день я перевез обеих Дункан с их Жанной на Воробьевы горы. Я знал, что Луначарский, которого я информировал о переезде, делает все, что только в его силах, чтобы подыскать помещение для школы и решить другие насущные вопросы.

Позднее, когда Дункан уже переехала в город и томилась в бездействии, Подвойский, встретив нас опять на Воробьевых горах, еще раз предложил Дункан начать работу вместе с пим и, указав рукой на тот самый дом на верхушке зеленого склона, который когда-то так ей понравился, сказал:

— Здесь будет ваша школа.

Айседора сразу согласилась.

— Вы, — обратился ко мне Подвойский, — в курсе всех дел, всех ее планов, проектов и нужд. Я думаю, что вы не откажетесь помочь Дункан и мне в нашей работе.

Я, конечно, обещал. Наутро к Дункан явился Мехоношин и по-военному четко отрапортовал ей, что в здании ее школы на Воробьевых горах «приступлено к утеплению». Он передал мне мандат на бланке Всевобуча за подписью Подвойского, назначавшего меня главным уполномоченным по организации школы. Луначарский на предложение Подвойского ответил официальным отношением, где говорилось, что Дункан является гостем Наркомпроса, который и будет ведать организацией всей ее работы в Советской России.

Еще долгие, долгие годы Николай Ильич Подвойский был постоянно связан и с Московской школой имени Айседоры Дункан, и с выросшим из нее театром-студией имени Дункан. Он звонил мне, расспрашивал, инструктировал, вызывал меня к себе (жил он очень скромно — с большой семьей в двухкомнатном номере гостиницы «Националь»), Усадив меня на стул, он шагал по комнате и говорил:

— Запишите. Передайте им (Айседоре и Ирме): нам

необходимо героическое искусство, показ борьбы, трудностей и достижений. Пусть будет и радостное, но скажите им: «Наше счастье суровое, счастье на костре…» Я запомнил его слова.

Но мы не знали тогда главного, о чем лишь почти 25 лет спустя, в декабре 1945 года, рассказал Подвойский в своем докладе на Первой всесоюзной конференции по художественной гимнастике для женщин. Когда в 1921 году по докладу Л. Б. Красина обсуждался вопрос, приглашать ли к нам Дункан в такие тяжелые для страны годы, Владимир Ильич Ленин настоял на том, чтобы вопрос был решен положительно. Подвойский рассказал, что Владимир Ильич очень интересовался работой Дункан, следил за ней. Ленина интересовали массовые занятия, которые Дункан вела на арене Красного стадиона.

4. Особняк на Пречистенке. Чай для русских и иностранцев. Золотая чашка. А. Б. Красин и «Аве Мария». Первые «дунканята»

Наступили дикие холода, я штурмовал Луначарского, пытаясь отвоевать для Дункан комнаты балерины Балашовой в ее особняке на Пречистенке, которые были опечатаны ВЧК после бегства Балашовой за границу. Все остальные помещения в особняке были заняты вначале различными учреждениями — Центропленбежем, МУЗО, Наркомпросом и т. д.

… «Пречистенка была улица конюшея, касаяся почти самому Боровицкому мосту, а следовательно конюшему и колымажному дворам. На Девичьем поле книли сено на Государевы конюшни, а на Остоженке ставили стоги…» — писал знаменитый, времен Екатерины, русский архитектор В. И. Баженов.

Две улицы, Остоженка и Пречистенка, взяв начало одна у Крымской площади, а другая у Зубовской, бежали рядышком, все сближаясь и сближаясь. Сбежав под горку, они вливались в площадь у Пречистенских ворот, где в зеленом сквере белел громадный храм Христа Спасителя, блиставший своими главами, которые дали материал для арифметических задачников, требовавших решать, сколько золота пошло на покрытие его куполов.

Обе древние московские улицы у самых своих устьев натыкались на неуклюжий дом, не дававший им окончательно соединиться и выходивший прямо на площадь. Дом этот горел еще при Наполеоне, потом, простояв десятки лет памятником московского пожара, был кое-как восстановлен — стоял до 1972 года, поглядывая узкими окошками на то, как храм будто провалился сквозь землю, оставив открытым огромный котлован, как мгновенно исчезла розовая церквушка, выстроенная «во искупление грехов» Малютой Скуратовым, как слева вдруг выскочила из-под земли полукруглая арка с пылающей над ней буквой «М», как до этого вздыбилась старая Остоженка, которая, скинув трамвайные рельсы и вывернув свое чрево, приняла в него тоннели метро. А до этого дом испытал дни, когда старую штукатурку на его стенах разбивали октябрьские пули, видал, как на его узеньких глазах по обеим дряхлым улицам понесся широкий размах новой молодой жизни, как приняли они новый облик и новые имена, как принаряжались и хорошели, румянясь

алыми стягами, в дни светлых праздников, когда по руслам их текли шумные, поющие толпы людей, плясавших при остановках прямо на булыжной мостовой, которая расстелила потом для них и асфальтовые полотнища.

На Пречистенке, почти на углу Мертвого переулка, окрещенного этим зловещим названием со времен московской чумы, стоит солидный двухэтажный особняк с рядами высоких зеркальных окон в верхнем этаже и более низких — в нижнем; с балконом в середине фасада, с оцинкованной крышей, выпершей в центре большой купол, увенчанный вазой, и с двумя такими же вазами на углах. Рядом с особняком — старое здание бывшей Хамовнической полицейской части, с нелепой пожарной каланчой (ныне снесена. — Авт.), под которой можете увидеть окошко, откуда тоскливо смотрел в утро своего первого ареста юный Герцен, заплакавший при виде въехавшей во двор пролетки с их кучером, привезшим ему вещи и провизию.

К этим воротам подкатила и коляска, с которой легко соскочил Грибоедов и прошел во двор, волнуясь, что сейчас он увидит живущего здесь «покорителя Кавказа» — генерала Ермолова. Говорят, что особняк был построен на том самом месте, где когда-то стоял дом с садиком доктора Лодера. Иностранный врач лечил московскую аристократию минеральными водами, которые его пациенты пили тут же, после чего им предписывался «моцион» — длительная прогулка по дорожкам садика. Проходивший мимо народ наблюдал пышущих здоровьем «больных», бегавших по садовым дорожкам доктора Лодера, и окрестил эту лечебную процедуру своими словами, оставшимися в русском языке: «Лодыря гоняют»…

Новый особняк на этом месте построил водочник Смирнов, продавший его потом миллионеру Ушкову (чайная фирма «Губкин и Кузнецов»), которому дом так понравился, что он построил точную копию его еще и в Казани. Вход в особняк вчерчен двумя приземистыми колонками с левого бока фасада, где в маленькой нише темнеет тяжелая дубовая дверь. За нею вестибюль с колоннами и росписью на потолке в стиле портиков Геркуланума и Помпеи[74], извлеченных из-под лавы. У стен две большие и холодные мраморные скамьи со спинками и с усевшимися на локотниках фавнами. Ни летом ни зимой присесть на ледяные скамьи нельзя и сдвинуть их с места невозможно. Широкая лестница белого мрамора ведет в огражденный мраморной балюстрадой вестибюль с колоннами розового дерева, испещренными золотой лепкой. Задрав голову, вы встречаете взгляды десятка римских и греческих красавиц, взирающих на вас с потолка, на котором каждой из них отведена клетка в

скульптурной раме.

Все двери в особняке высокие, двустворчатые, с украшениями из бронзы и с барельефом голов Жозефины и Наполеона. Одноглавые бронзовые орлы, будто спугнутые с древков наполеоновских штандартов, настороженно сидят на высоких карнизах… Прямо из вестибюля — два «наполеоновских» зала. В обоих огромные, в широченных тяжелых рамах картины батального характера с Наполеоном во весь рост на первом плане. Дальше — гостиная «севр», со стенами, обитыми розовым в цветах атласом, где из всего фарфора уцелела одна великолепная люстра. За гостиной — «восточная комната» в мавританском стиле, с вызолоченным жерлом камина, со стенами и потолком, покрытыми сплошными лепными узорами из золота и ярких красок. Еще дальше — двусветный заброшенный «зимний сад» со стоячим, нагретым воздухом, с каменной, вьющейся книзу лестницей, с какими-то сохранившимися зачахшими растениями в подвесных горшочках, с парой запыленных пальм и маленьким бассейном молчаливого, высохшего и потому кажущегося грустным фонтана…

Этот дом был предоставлен Московской школе Айседоры Дункан, там же мы и жили. Вспоминаю как потом я увидел однажды Айседору молча стоящей на белой мраморной лестнице особняка. Она исподлобья оглядывала балашовских потолочных красавиц, мраморную балюстраду, испещренные золотой лепкой колонны розового дерева… Потом сказала:

— Я давно говорю, что нужно содрать эту позолоту вместе с римлянками и гречанками и выбелить все!

Помню, после Февральской революции, когда в Большом театре был устроен какой-то благотворительный бал, мне пришлось заехать к Балашовой. Она провела меня по всему особняку, показала даже свою спальню, похожую на небольшой зал и отделенную от будуара маленькой гардеробной.

Этот зал-спальня стал потом комнатой Айседоры Дункан.

Войдя впервые в особняк, Дункан скривила губы при виде потолочных красавиц, облепленных золотом колонн и бронзовых барельефов.

В своей комнате Айседора опустилась в кресло и залилась неудержимым смехом:

— Кадриль! — кричала она, заразительно смеясь. Changez vos places![75]

Оказалось, что балерина Балашова, бежав из Советской России, приехала в Париж и в поисках особнячка попала на Rue de La Pampe, в дом, принадлежащий Дункан.

Дом представлял собой обширную, затянутую строгими, в

складках, сукнами студию с несколькими комнатами, ванной и холлом. Никаких украшений и аляповатостей, гладкие ковры и портьеры, немного хорошей стильной мебели и мраморная ванна — все это никак не удовлетворило бывшую владелицу особняка на Пречистенке, куда теперь, по игре случая, вошла Дункан, также не оценившая «купеческого ампира», который прельщал Балашову.

Айседора завесила шалями лампы и бра в своей комнате, в комнате Ирмы, и «жизнь на Пречистенке» началась.

Появились гости, но на первых порах почти не было посуды — ни стаканов, ни чашек, ни блюдец. Зато стояла целая шеренга больших стеклянных бокалов, и пить чай приходилось из них. Навещавшие Дункан иностранцы полагали, что русские, любящие чаепитие, предпочитают пить этот душистый напиток из винных и пивных бокалов. А русские в свою очередь удивлялись неудобным «заграничным обычаям»…

Я принес из дома кое-какую посуду. Но это были «кузнецовские», «гарднеровские» и «поповские»[76] коллекционные чашки с блюдцами и еще несколько узких хрустальных бокалов для шампанского.

Среди принесенных мною чашек была одна особенная — золотая, «кузнецовская», тончайшего фарфора. Когда потом Есенин появился на Пречистенке, эта чашка очень понравилась ему, и он всегда пил чай только из нее. Внутри она была ослепительно белой, а внешние стороны ее, рифленые, сверкали чистым золотом. Есенин восторгался ее необычайной легкостью и тонкостью фарфора.

— Вот все говорят: китайский фарфор, французский! — восклицал он. — А посмотрите, каков наш, русский!

Эту хрупкую чашку я потом сохранял долгие годы, но однажды неловкий гость, приподняв ее с блюдца, вертя в руках и приговаривая: «Подумать только, что из нее пил Есенин!» — уронил чашку на стол, она треснула, один золотой кусочек отвалился.

Чашку склеили, и никто из нее никогда уже больше не пил. Совсем недавно (в 1971 году. — Ред.) я расстался с чашкой, подарив ее тезке Есенина, поэту Сергею Александровичу Васильеву[77] в день его 60-летия.

Айседора скучала. Официальные визитеры постепенно схлынули. Школа уже имела большой обслуживающий персонал в шестьдесят человек и целый «организационный комитет», заседавший то в том, то в другом зале.

Вечером приходили знакомые. Был среди них австрийский посланник — доктор Поль; впоследствии он покинул свой

дипломатический пост и, оставшись в Советской России, возглавил большое издательство на немецком языке, имевшее общеевропейское значение.

Заезжал Луначарский. Однажды, предупредив заранее, приехал Леонид Борисович Красин[78]. Он был большим любителем музыки, ценил искусство Дункан и был одним из горячих сторонников ее приезда из Лондона в Москву. Дункан решила доставить ему удовольствие — станцевала «Аве Мария» Шуберта — его любимую вещь.

Комитет ежедневно обещал объявить прием детей, но почему-то бесконечно откладывал этот самый важный для Дункан момент, означавший для нее начало работы, к которой она так стремилась.

С тех пор как Луначарский не разрешил Дункан работать в системе Всевобуча, я отстранился от всякого непосредственного участия в организационной работе и лишь по-прежнему поддерживал контакт с самим Луначарским.

Айседора раздражалась:

— Я хочу только «черни хлеб, черни каша», но тысячу детей и большой зал…

Тысяча детей и большой зал были, конечно, утопией.

В Москве было плохо с топливом. Луначарский мог обещать только небольшую школу с интернатом на 40 детей.

Айседора мрачнела. Я тут же стал убеждать ее, что эта группа станет «фалангой энтузиастов», будущими инструкторами. Айседора согласилась, но от своей мечты не отступилась…

Вечером я пошел в редакцию «Рабочей Москвы», написал там короткую заметку об открытии в Москве школы Айседоры Дункан для детей обоего пола в возрасте от 4 до 10 лет и примечание: предпочтение при приеме отдается детям рабочих.

В тот же вечер Айседора, Ирма и я, вооружившись молотками, гвоздями и лестницей-стремянкой, повесили небесно-голубые сукна Айседоры в «наполеоновском зале», завесив и Наполеона, и солнце Аустерлица, и затянули паркетный пол гладким голубым ковром.

— Теперь свет, свет! — кричала Айседора. — Эту люстру убрать невозможно! Сколько в ней тонн? Но мы ее преобразуем! Революция так революция! Долой Наполеона! Солнца, солнца! Пусть здесь будет теплый солнечный свет, а не этот мертвящий белый! — не успокаивалась она.

Я понимал требовательность Дункан. Ее искусство органически требовало полнейшей гармонии музыки и света. Она, конечно, была далека от технологии светооформления, так же как и от законов физики, она говорила просто о вещах,

казавшихся ей само собой разумеющимися.

— Вы ведь не представляете себе, чтобы кто-нибудь танцевал «Ноктюрн» Шопена в красном свете, а «Военный марш» Шуберта — в синем? Вспомните знаменитого слепого у Джона Локка[79] в «Опытах о человеческом разуме». Он представляет себе пурпурный цвет как звук трубы…

Нелюбовь Дункан к мертвому белому свету зижделась на тяготении ко всему природному, естественному, в том числе и к теплому солнечному свету. Она категорически запрещала, чтобы прожектор «следил» за ее движениями на сцене.

— Солнечные лучи не бегают за человеком, — говорила она.

Я спустил с недействующей люстры одиноко горевшую вместо лампионов и свеч большую лампу, и Айседора затянула ее оранжево-розовой шалью. Зал сразу потеплел. Возле стены поставили маленький электрокамин. Я заслонил его листом синего целлофана, и в волшебном розовом свете засверкал кусок не то синего моря, не то южного неба…

Айседора предупредила комитет, чтобы к утру все было готово для записи и осмотра детей. Утром же, едва газета с заметкой попала в руки родителей, дети появились: множество девочек и несколько мальчиков. Комитет недаром так долго корпел над своим «положением о школе»: родители привели детей в «школу танца».

Врач осматривал детей, а мы помогали записывать и давали объяснения родителям. Я смотрел, как Тамары, Люси, Мани, Нины, Юли, Лиды то стояли дичком, то шушукались, то вырывались из рук матерей, чтобы взбежать по широкой лестнице белого мрамора, и не думал, что отныне на долгие, долгие годы буду свидетелем их жизни, творчества, их счастья и горечи утрат, побед и поражений в искусстве.

Итак, школа была создана.

5. Встреча с Есениным. «Энергичные слова». Поэты. Есенин читает свои стихи. Три дарственных надписи. Игра в корни. «Волчья гибель». Белые бумажки. Николай Клюев. С. Т. Коненков

Однажды меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов[80]. Он был популярен, оформлял в те годы премьеры крупных московских театров.

Кто мог предугадать, что благодаря этой нашей встрече на московской улице в тот же вечер произойдет встреча двух знаменитых людей, о которых вот уже свыше пятидесяти лет пишут и, может, еще долго будут писать газеты и журналы всего мира, создаются поэмы, романы, пьесы, кинофильмы, музыка, картины, скульптуры…

— У меня в студии сегодня небольшой вечер, — сказал Якулов, — приезжайте обязательно. И, если возможно, привезите Дункан. Было бы любопытно ввести ее в круг московских художников и поэтов.

Я пообещал. Дункан согласилась сразу.

Студия Якулова помещалась на верхотуре высокого дома где-то около «Аквариума», на Садовой.

Появление Дункан вызвало мгновенную паузу, а потом начался невообразимый шум. Явственно слышались только возгласы: «Дункан!»

Якулов сиял. Он пригласил нас к столу, но Айседора ужинать не захотела, и мы проводили ее в соседнюю комнату, где она, сейчас же окруженная людьми, расположилась на кушетке.

Вдруг меня чуть не сшиб с ног какой-то человек в светло-сером костюме. Он промчался, крича: «Где Дункан? Где Дункан?»

— Кто это? — спросил я Якулова.

— Есенин… — засмеялся он.

Я несколько раз видал Есенина, но тут не сразу успел узнать его.

Немного позже мы с Якуловым подошли к Айседоре. Она полулежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях, она гладила его по волосам, скандируя по-русски:

— За-ла-тая га-ла-ва…

(Это единственный верно описанный Анатолием Мариенгофом эпизод из эпопеи Дункан — Есенин в его

нашумевшем «Романе без вранья».) Трудно было поверить, что это первая их встреча, — казалось, они знают друг друга давным-давно, так непосредственно вели они себя в тот вечер.

Якулов познакомил нас. Я внимательно смотрел на Есенина. Вопреки пословице: «Дурная слава бежит, а хорошая лежит», — за ним вперегонки бежали обе славы: слава его стихов, в которых была настоящая большая поэзия, и «слава» о его эксцентрических выходках.

Роста он был небольшого, при всем изяществе — фигура плотная. Запоминались глаза — синие и как будто смущающиеся. Ничего резкого — ни в чертах лица, ни в выражении глаз.

… Есенин, стоя на коленях и обращаясь к нам, объяснял: «Мне сказали, Дункан в «Эрмитаже». Я полетел туда…»

Айседора вновь погрузила руку в «золото его волос»… Так они «проговорили» весь вечер на разных языках буквально (Есенин не владел ни одним из иностранных языков, Дункан не говорила по-русски), но, кажется, вполне понимая друг друга.

— Он читал мне свои стихи, — говорила мне в тот вечер Айседора, — я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка и что стихи эти писал гений!

Было за полночь. Я спросил Айседору, собирается ли она домой. Гости расходились. Айседора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней.

Когда мы вышли на Садовую, было уже совсем светло. Такси в Москве тогда не было. Я оглянулся: ни одного извозчика. Вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора опустилась на сиденье, будто в экипаж, запряженный цугом. Есенин сел с нею рядом.

— Очень мило, — сказал я. — А где же я сяду?

Айседора смущенно и виновато взглянула на меня и, улыбаясь, похлопана ладошками по коленям. Я отрицательно покачал головой. Есенин заерзал. Потом похлопал по своим коленкам. Он не знал ни меня, ни того, почему Айседора приехала на вечер со мной, ни того, почему мы уезжаем вместе. Может, в своем неведении даже… приревновал Айседору.

Я пристроился на облучке, почти спиной к извозчику. Есенин затих, не выпуская руки Айседоры. Пролетка тихо протарахтела по Садовым, уже освещенным первыми лучами солнца, потом, за Смоленским, свернула и выехала не к Староконюшенному и не к Мертвому переулку, выходящему на Пречистенку, а очутилась около большой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали мы очень медленно, что моим спутникам, по-видимому, было совершенно безразлично. Они казались счастливыми и даже не теребили меня просьбами перевести что-то…

Мне вспоминается сейчас, как много позднее мы ехали с Айседорой в пролетке. Дункан, не выносившая медленной езды, просила меня сказать извозчику, чтобы ехал побыстрее, что я и сделал. Но возница, дернув вожжами, причмокнув и протянув знаменитое «но-о-о», успокоился. Айседора снова попросила поторопить его. Вся «процедура» повторилась с прежним результатом.

— Вы не то говорите ему, — рассердилась Айседора. — Вот Езенин (она так произносила его фамилию) говорит им всегда что-то такое, после чего они сразу едут быстро…

Я попробовал применить все традиционные старые средства понукания извозчиков, он-де «не кислое молоко везет», и даже поинтересовался, «не крысу ли он удавил на вожжах», но и это не помогло.

— Нет, нет, — сказала Айседора, — это не те слова. Есенин говорит что-то очень короткое, энергичное… Я не могу вспомнить… Ну, вот как при игре в шахматы… После этого они сразу гонят лошадей…

Помнится, я все же не рискнул применить этот «лексикон» в присутствии Айседоры.

Но в то первое утро ни Айседора, ни Есенин не обращали никакого внимания на то, что мы уже в который раз объезжаем церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого.

— Эй, отец! — тронул я его за плечо. — Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, третий раз едешь.

Есенин встрепенулся и, узнав, в чем дело, радостно рассмеялся.

— Повенчал! — раскачивался он в хохоте, ударяя себя по коленям и поглядывая смеющимися глазами на Айседору.

Она захотела узнать, что произошло, и, когда я объяснил, со счастливой улыбкой протянула:

— Свадьба…

Наконец извозчик выехал Чистым переулком на Пречистенку и остановился у подъезда нашего особняка.

Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались.

Айседора глянула на меня виноватыми глазами и просительно произнесла, кивнув на дверь:

— Иля Илич… ча-ай?

— Чай, конечно, можно организовать, — сказал я, и мы все вошли в дом.

С появлением Есенина в доме на Пречистенке здесь стали бывать поэты-имажинисты[81]. Чаще других — Анатолий Мариенгоф, молодой, высокий и очень красивый мужчина; Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев, Кусиков, Ваня Старцев. Ваня Старцев

был совсем молодой, жизнерадостный парень, но отъявленный неряха. Поэты сложили по этому случаю про него и про Есенина частушку:

Ваня ходит неумыт,
А Сережа чистенький.
Потому — Сережа спит
Часто на Пречистенке.

Как-то Есенин сказал ему:

— Вот, Ваня, я знаю наизусть стихи многих поэтов, а вот твои… Знаю наизусть полное собрание твоих сочинений! (Этот Ваня за всю свою жизнь записал… одно стихотворение.)

Их было много, этих имажинистов, они вились вокруг Есенина, подобно мошкаре в солнечном луче… Впрочем, не только имажинисты… Бывал, например, некто Гриша Колобов, которого поэты прозвали «Почем-соль»: он служил инспектором Всероссийской эвакуационной комиссии, имел свой салон-вагон. Прибыв на место, первым долгом осведомлялся: «Почем соль?» — и, закупив не один мешок, доставлял в своем салон-вагоне в Москву, меняя соль на водку и прочее, и поил и угощал своих друзей-поэтов.

Есенин вошел в группу имажинистов в 1919 году. Тогда ему казалось, что их роднит близость литературных позиций. А этой пустой и довольно реакционной группке, питавшейся остатками российского декадентства, Есенин был необходим: его имя было хорошей рекламой.

На первых порах имажинисты оказали на Есенина вредное влияние. Но Есенин остался Есениным. «Слово о полку Игореве» — вот откуда, может быть, начало моего имажинизма», — говорил Есенин литературоведу Ивану Никаноровичу Розанову[82].

Впрочем, имажинисты были еще и предприимчивыми «хозяйчиками»: книжная лавка на Никитской, издательства, гастрольные поездки и кафе «Стойло Пегаса» на Тверской — все эти «доходные предприятия» также входили в программу имажинизма.

«Близость Есенина с имажинистами в значительной степени носила бытовой характер и объяснялась самим характером литературной жизни того времени, когда множились многочисленные литературные группы и группки […]. Главное в Есенине — народное зерно, которое само прорастало навстречу солнцу Октября, вопреки всем крутым изломам, всем настроениям, всем перипетиям и передрягам в его жизни. И

именно в первые пооктябрьские годы в творческом развитии Есенина происходил процесс очищения от народности сусальной, клюевской и рождалось новое, реалистическое восприятие действительности в духе задач новой советской литературы»[83].

Помню, как много позднее на Пречистенке собрались под вечер гости. Среди них — и поэт Рукавишников, носивший очень длинную козлиную бородку. Ждали Луначарского. Я был занят внизу, в школе, и не поднимался наверх, хотя Айседора уже два раза присылала за мной. Наконец, кто-то прибежал в третий: Айседора срочно звала меня.

Войдя в комнату Айседоры, я увидел такую картину: на диване с золотыми лебедями сидел в напряженной воинственной позе Есенин, со злым и решительным выражением лица. Рядом тихо ссутулился Рукавишников. Есенин крепко держал его за козлиную бородку, целиком зажав ее в кулаке.

— Что же вы не шли? — зашептала Айседора. — Он уже двадцать минут держит его так.

Когда я подошел к дивану, Есенин заулыбался, отпустил Рукавишникова, встал и поздоровался со мной. Вообще он при мне почему-то всегда сдерживался. Никогда я не слышал от него ни одного резкого слова. Айседора этим пользовалась. Сердиться на него было невозможно: его лицо расцветало такой детской, ангельской улыбкой, синевой смущенных глаз…

— Сергей Александрович! Что вы себе позволяете? — тихо сказал я ему.

А он громко ответил мне:

— Илья Ильич! А зачем он стихи пишет? Пусть не пишет.

Но думаю, что дело было не только в плохих стихах, которые писал Рукавишников: «прилипалы» мешали Есенину работать.

Через несколько месяцев, в марте 1922 года, в письме к поэту Р. В. Иванову-Разумнику Есенин писал: «…живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишникова. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко…»

Дружил он, кажется, только с одним Мариенгофом. Жили они вместе в одной комнате, рядом с театром Корша, в Богословском переулке. Вместе щеголяли в новеньких блестящих цилиндрах. Впрочем, эксцентричность эта объяснялась весьма прозаически. Очутившись, уже не помню почему, в Петрограде без шляп, Есенин и Мариенгоф безуспешно оббегали магазины. И вдруг обнаружили сиротливо стоящие на пустой полке цилиндры. Один из них Есенин немедленно водрузил себе на голову, а

Мариенгофу с его аристократическим профилем и «сам бог велел» носить цилиндр.

Вечерами, когда собирались гости, Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно и чаще всего «Исповедь хулигана» и монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев», над которой в то время работал. В интимном кругу читал он негромко, хрипловатым голосом, иногда переходившим в шепот, очень внятный; иногда в его голосе звучала медь. Звук «г» Есенин выговаривал мягко, как «х». Как бы задумавшись и вглядываясь в какие-то одному ему видные рязанские дали, он почти шептал строфу из «Исповеди»:

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверное, стали некрасивыми.
Так же боитесь бога…

«И болотных недр…» — заканчивал он таинственным шепотом, произнося «о» с какой-то особенной напевностью.

Со сцены он, наоборот, читал громко, чуть-чуть «окая». В монологе Хлопуши поднимался до трагического пафоса, а заключительные слова поэмы читал на совсем замирающих тонах, голосом, сжатым горловыми спазмами:

Дорогие мои… дорогие… хор-рошие…

Он так часто читал монолог Хлопуши, что и сейчас я явственно вижу его и слышу его голос:

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?

… Брови сошлись, лицо стало серо-белым, мрачно засветились и ушли вглубь глаза. С какой-то поражающей силой и настойчивостью повторялось:

Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

Существующая запись голоса Есенина (монолог Хлопуши из «Пугачева») не дает полного представления о потрясающем таланте Есенина-чтеца. Слишком несовершенна тогда была техника записи, и Есенина, очевидно, заставили сильно повысить голос. Ведь не Есенина вина в том, что он после переезда из

Петрограда в Москву сразу попал в какое-то дурное богемное окружение, но тот, кто любит Есенина, легко разберется, что в его так называемом «хулиганстве» было гораздо больше измученности, растерянности, бравады, показного, что ли, хулиганства.

Много написали и наговорили о Есенине — и творил-то он пьяным, и стихи лились будто бы из-под его пера без помарок, без труда и раздумий…

Все это неверно. Никогда, ни одного стихотворения в нетрезвом виде Есенин не написал.

Он трудился над стихом много, но это не значит, что мучительно долго писал, черкал и перечеркивал строки. Бывало и так, но чаще он долго вынашивал стихотворение, вернее, не стихи, а самую мысль. И в голове же стихи складывались в почти законченную форму. Поэтому, наверно, так легко и ложились они потом на бумагу.

Я не помню точно его слов, сказанных по этому поводу, но смысл их был таким: «Пишу, говорят, без помарок… Бывают и помарки. А пишу не пером. Пером только отделываю потом…»

Я не раз видел у Есенина его рукописи, особенно запомнились они мне, когда он собирал и сортировал их перед отъездом в Берлин. Они все были с помарками (он вез в Берлин и беловые автографы, и гранки, и вырезки — «для сборников»).

Разбирая как-то тонкую пачку, в которой был и листок со стихотворением «Не жалею, не зову, не плачу…», тогда уже опубликованным, Есенин, зажав листок между пальцами и потряхивая им, сказал: «О, моя утраченная свежесть!..» — и вдруг дважды произнес: «Это Гоголь, Гоголь!» Потом улыбнулся и больше не сказал ни слова, погрузившись в разборку рукописей. На мою попытку расшифровать его слова ответил: «Перечитайте «Мертвые души».

Я вспомнил об этом разговоре много лет спустя, наткнувшись во вступлении к 6-й главе «Мертвых душ» на следующие строчки: «…то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и неумолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть!»

Над «Пугачевым» Есенин работал много, долго и очень серьезно. Есенин очень любил своего «Пугачева» и был им поглощен. Еще не кончив работу над поэмой, хлопотал об издании ее отдельной книжкой, бегал и звонил в издательство и типографию и однажды ворвался на Пречистенку торжествующий, с пачкой только что сброшюрованных тонких книжечек темно-кирпичного цвета, на которых прямыми и толстыми буквами

было оттиснуто: «Пугачев».

Он тут же сделал на одной из них коротенькую надпись и подарил книжку мне. Но у меня ее очень быстро стащил кто-то из есенинской «поэтической свиты». Я заметил эту пропажу лишь тогда, когда Есенин и Дункан уже колесили по Европе. Было очень досадно, тем более что я не запомнил текста дарственной надписи. Такая же участь постигла и книжку, подаренную Есениным Ирме Дункан.

Айседоре на экземпляре «Пугачева» Есенин сделал такую дарственную надпись: «За все, за все, за все тебя благодарю я…» (Есенин любил Лермонтова, прекрасно знал его стихи, и такая интерпретация лермонтовской строки не шла от незнания текста.)

В этом экземпляре Есенин подчеркнул заключительные строки:

… Дорогие мои… дорогие… хор-рошие…

Я только один раз видел Есенина пишущим стихи. Это было днем; он сидел за большим красного дерева письменным столом Айседоры, тихий, серьезный, сосредоточенный.

Писал он в тот день «Волчью гибель». Когда я через некоторое время еще раз зашел в комнату, он, без присущих ему порывистых движений, как будто тяжело чем-то нагруженный, поднялся с кресла и, держа листок в руках, предложил послушать…

Между прочим, на одном из заседаний «есенинской группы» Института мировой литературы имени Горького Академии наук СССР, подготавливавшей к изданию полное собрание сочинений С. Есенина в 5 томах, возник спор: как читать 17-ю и 18-ю строки этого стихотворения:

Пусть для сердца тягуче колка
Эта песня звериных прав…

или:

Пусть для сердца тягуче колко
Это песня звериных прав!..

Остановились на втором варианте. Но я был первым слушателем этого стихотворения в исполнении самого Есенина. Есенин читал: «Пусть для сердца тягуче колка эта песня звериных

прав». Однако противопоставить восприятие на слух мнению «есенинской группы», в работе которой я тоже принимал участие, я не мог: текстологических доказательств у меня не было.

Под заглавием «Волчья гибель» стихотворение это было несколько раз опубликовано, но в беловом автографе Есенин вычеркнул название, теперь оно озаглавлено первой строкой: «Мир таинственный, мир мой древний…»

Между прочим, тот самый Ваня Старцев, который стал потом руководителем «Стойла Пегаса», а в будущем — уважаемым редактором Иваном Ивановичем Старцевым, доброжелательным, хорошим человеком, упоминая в своих воспоминаниях о есенинской «своеобразной манере в работе» — заранее вынашивать в голове материал, а потом «быстро и легко облекать его в стихотворный наряд», — пишет, что ему «показалась однажды до поразительности странной та быстрота, с какой было написано (по существу, оформлено на бумаге) стихотворение «Волчья гибель».

Есенин прочитал Старцеву написанную им с маху «Волчью гибель». А далее Иван Иванович пишет: «Стилистическая отделка записанного стихотворения производилась им уже спустя некоторое время по мере того, как он прислушивался к собственному голосу и чтению».

Вот в этом и разгадка: Есенин прочитал Старцеву «стилистически отделанную» и написанную им ранее на Пречистенке «Волчью гибель». И читал он это стихотворение на Пречистенке не только мне. А в «Стойле Пегаса», по словам Старцева, прочитал его впервые в тот же день, когда прочитал ему.

Русский язык Есенин любил страстно, знал многие говоры и наречия, знал и древнеславянский.

— Бях, бяше, бяшеть… Бых, бы, бысть, — смеясь тарабанил он и тут же добавлял что-то и о канувшем в вечность «двойственном» числе, и об утраченных «счетном» и «местном» падежах, которые хотя и исчезли из грамматики, но остались, жить и в литературном языке, и в разговорном.

Есенина возмущали печатные и устные языковые небрежности.

Не случайностью является и то, что Есенин не изучал ни одного иностранного языка.

Как-то в разговоре он сказал мне, что ему «это мешало бы». В одном письме из Америки Есенин писал: «…Кроме русского, никакого другого не признаю и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски».

Он часто затевал игру в «отыскивание» корней. Усаживал

поэтов из своей «свиты» и меня в кружок и предлагал называть любые слова. Не успевал кто-нибудь назвать слово, как Есенин буквально «выстреливал» цепочкой слов, «корчуя» корень.

— Стакан! — кричал кто-нибудь из нас…

— Сток — стекарь — стакан! — «стрелял» Есенин.

— Есенин! — подзадоривал кто-то.

— Осень — ясень — весень — Есенин! — отвечал он.

Обладая несметными россыпями слов, он в тот период, когда мне привелось общаться с ним, может быть, под влиянием своего имажинистского окружения, бросался иногда на какие-то совсем не нужные ему эксперименты.

Однажды, когда он до окончательного переезда на Пречистенку жил еще в Богословском переулке, я заехал к нему днем и застал его сидящим на полу, окруженным разбросанными повсюду маленькими, аккуратно нарезанными белыми бумажными квадратиками.

Не поднимаясь, он радостно объявил мне:

— Смотрите! Замечательно получается! Такие неожиданные сочетания!

На обратной стороне бумажек были написаны самые разнообразные, не имеющие никакого отношения друг к другу слова. Есенин брал по одной бумажке справа и слева, читал их, отбрасывал, брал другие и вдруг вспыхивал, оживлялся, когда какое-нибудь случайное и невероятное сочетание будоражило его мысль, вызывая метафоры, которые, как он выразился, «никогда не пришли бы сами в голову!».

— Зачем вам это нужно? — удивился я. — Ведь это чистая механика!

Есенин рассмеялся, смешал бумажки и вскочил с пола:

— Я поеду с вами! Вы на извозчике? На Пречистенку? — и быстрыми мелкими шагами устремился по коридору к выходу.

Мне довелось еще раз увидеть эти «квадратики», на которых характерным почерком Есенина (буквы не соединяются и рассыпаны, как зерна) написано: «снег», «огонь», «лист», «осень», «дерево», «горит», «плачет», «жует», «падает», «синий», «розовый», «красный».

На одной из выставок, организованных Литературным музеем, они фигурировали в качестве экспоната, демонстрирующего «метод» поэта. Табличка гласила: «Слова на отдельных листочках бумаги, которые Есенин раскладывал, составляя различные комбинации стихотворных строк».

Это меня огорчило. Ведь он стремился к пушкинской ясности, а не к сочетанию слов, взятых слева и справа. Игра в «слова» была всего лишь чудачеством, забавой…

Вот что нашел К. Зелинский в записях А. Серафимовича о Есенине:

«С огромной интуицией, с огромным творчеством, единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших, — ни у кого из современников. И огромная, все ломающая смелость эпитетов, сравнений, выражений, поэтических построений. Сам. Ни у кого не спрашивая, никому не подражая… Чудесное наследство»[84]. Серьезнее было раннее увлечение «триптихами богородицы», культом «рогожной», «сермяжной» Руси, след детских лет и влияния на Есенина поэзии Николая Клюева, его «духовного отца» и «наставника» в годы юности.

…В 1915–1916 годах в концертах знаменитой исполнительницы русских народных песен Плевицкой появился новый участник. В аккуратной синей поддевке, в смазных сапогах и с подстриженными под скобку волосами, приглаженными растительным маслом, он выходил «первым номером» на эстраду, низко, в пояс кланялся публике, разгибался и, помолчав, говорил, резко «окая»:

— Я не поэт, а мужик.

Это был Николай Клюев. Одна из его книг — «Сосен перезвон» — имела успех. Клюева заметил Блок.

Соблазнившись путешествиями, я, не бросая журналистики, несколько лет работал в крупнейшей российской гастрольной организации, возглавляемой очень интересным человеком — В. Н. Афанасьевым. (В свое время он был приговорен царским судом к смертной казни через повешение за революционную деятельность, но бежал из тюрьмы и жил под чужой фамилией.) Здесь я и столкнулся с Клюевым.

Трудно было разгадать этого «мужика». Он был умен, а «работал под дурачка». Был хитер, а старался казаться простодушным. Был невероятно скуп, а прикидывался добрым. В одной из поездок, когда он на ходу пробирался из вагона в вагон, ветром унесло его шапку. Несмотря на предзимнее время, Клюев до конца поездки так и не купил новой, потому что в Москве у него была вторая шапка.

Вокруг шеи он наматывал шарф необычайной длины. Причем невероятно медленно и методически, и этим почему-то приводил всех нас в бешенство.

Помню, как мы, направляясь из Москвы на концерт Плевицкой во Владимир, сели в новенький вагон III класса — «зеленый», — в поезде местного сообщения не было ни «желтых», ни «синих».

В купе Клюев начал разматывать свой шарф, предварительно заняв себе «верхнюю полочку» (его выражение) каким-то аккуратненьким деревянным чемоданчиком. Мы нетерпеливо ждали конца этой процедуры, так как собирались играть в карты. На этот раз Клюев разоблачался дольше, чем обычно. Мы готовы были растерзать его. Когда он наконец тщательно сложил шарф наподобие подушки и, осторожно взобравшись на полку, замер, мы заговорщицки переглянулись и, убедившись, что Клюев мгновенно заснул, стали тут же надевать свои пальто и шляпы, схватили чемоданы и разбудили Клюева:

— Подъезжаем к Владимиру!

А поезд наш, взяв разгон, мчался еще мимо пустых и посеревших подмосковных дач.

Клюев молча и неторопливо начал наматывать шарф в обратном направлении, прихватывая по-кучерски остриженные волосы на затылке. Увидев, что мы открываем дверь купе, он заторопился и, протиснувшись вперед, быстро прошел по пустому коридору на площадку, чтобы быть первым и при выходе.

Мы задвинули обратно дверь, разделись и сели за карты. Клюев пробыл на площадке часа полтора. Он давно понял, что его разыграли, но упорно продолжал стоять в тамбуре. Это было, конечно, жестоко с нашей стороны, и Плевицкая ругала нас, но мы решились на эту злую шутку внезапно и единодушно.

Промерзнув на площадке, Клюев вернулся в купе и, не глядя на нас, размотал шарф. Затем улегся в прежней позе — «на бочку» — и замер. За всю поездку он не проронил ни слова.

Потом я долго не видел Клюева. Есенин много говорил о нем, читал его стихи и однажды появился на Пречистенке с ним и с Коненковым — высоким, широкоплечим, крепким и моложавым. А Клюев был все тот же: в неизменной поддевке, в русской косоворотке, в сапогах, с теми же промасленными волосами и елейным выражением лица. Только шарф сгинул куда-то, но я уверен: шапка была та, вторая, оставленная в Москве.

Обращался Есенин к этому времени с Клюевым не по-сыновьи, снисходительно и скрытно-враждебно.

Однажды произошел такой случай.

Айседора попросила Клюева почитать стихи. Клюев читал много и охотно. Айседоре, не знавшей русского, стихи понравились своей напевностью.

— Надо, — обратилась она ко мне, — чтобы Клюев преподавал детям русскую литературу.

Я начал ей объяснять, что по наркомпросовским правилам это запрещено. Вдруг Есенин:

— Ни в коем случае не допускайте этого. Вы не знаете

политических взглядов Клюева. Да и вообще — это ерунда!

Да и Клюев, хотя и елейничал с Есениным и даже лебезил перед ним, иногда вдруг огрызался. Помню, как однажды Есенин сказал Клюеву:

— Старо! Об этом уже и собаки не лают! Не съедите нас!

Клюев сначала ощетинился, потом, глянув на Айседору, слащаво улыбнулся и, тыча в сторону Есенина большим пальцем, ядовито пропел:

— В Рязани пироги с глазами, их ядять, а они глядять!

Дункан, конечно, ничего не поняла. (Позднее я встретил эту же фразу, кажется, в одном из писем Клюева к Есенину.)

Есенин рывком поднялся из-за стола. В потемневших глазах его была ненависть. Клюев смиренно остался сидеть. Айседора теребила меня: «О чем они?»

Где-то С. Городецкий, поэт и современник Есенина, писал, что даже у близких Клюеву людей возникали к нему приступы ненависти и что Есенин однажды сказал: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!»

Позднее Есенин писал о своем бывшем учителе:

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи, как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел,
И в клетке сдохла канарейка…

Клюев своеобразно «отомстил» Есенину, создав легенду, которой ввел в заблуждение такого уважаемого и опытного литератора, как Вс. Рождественский.

По словам Клюева, Дункан налила ему из самовара «чаю стакан крепкого-прекрепкого», Клюев «хлебнул», и у него «глаза на лоб полезли». Оказался коньяк… «Вот, — продолжается повествование со слов Клюева, — думаю, ловко! Это она с утра-то, натощак — и из самовара прямо! Что же за обедом делать будут?»

У Дункан никогда не было никакого самовара, за исключением двухведерного, стоявшего внизу в детской ванной.

Позднее, когда Клюев оказался в Вытегре, Есенин получал от него большие письма, написанные «при огарке» карандашом, на длинных узких листочках бумаги, и раза два отправлял ему посылки с продуктами.

— Он должен был кончить этим… — сказал как-то Есенин.

Есенин дружил с Коненковым. Они были знакомы с 1918 года. Вечерами Есенин иногда тормошил всех:

— Едем на Красную Пресню! Изадора — Коненков!

На Красной Пресне помещалась маленькая студия-мастерская Коненкова, насквозь промороженная, несмотря на две установленные там печи.

На Красной Пресне нас встречали выточенные из дерева русские Паны — лесные божки с добренькими и проницательными глазками. Коненков представлял их нам, называя «лесовичками». В мастерской лежали пни и чурбаны и пахло свежим деревом и лесом.

В 1918 году к первой годовщине Октября в Кремлевской стене, на Красной площади была установлена в память бойцов, павших в октябрьских боях в Москве, большая мемориальная доска работы Коненкова, скрытая теперь за Мавзолеем В. И. Ленина и имеющая надпись:

ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА МИР И БРАТСТВО НАРОДОВ

Над этой доской Коненков работал во дворе своей мастерской. Доска лежала на земле, и над нею были построены высокие лестницы, по которым неустанно взбирался и опускался Коненков, увлеченный этой захватившей его и столь ответственной работой.

В эти дни Есенин часто бывал в мастерской Коненкова и вместе с поэтами М. П. Герасимовым и С. А. Клычковым написал «Кантату», посвященную бойцам Октября, захороненным у Кремлевской стены:

Спите, любимые братья,
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц…
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот…
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.

Коненков приходил и в студию Айседоры, подолгу смотрел

на нее танцующую. Расспрашивал о Родене, с которым Дункан была в большой дружбе. Она рассказывала, как Роден впервые приехал к ней в Париж и она танцевала перед ним. После одного танца Роден поднялся и двинулся к ней. Он схватывал пальцами и мял и ломал, как глину, ее руки…

— Я была слишком молода и глупа тогда — я оскорбилась и оттолкнула его!.. Родена! Я так упрекала потом себя за это. Я не должна была отталкивать его.

Коненков выточил из дерева две статуэтки танцующей Айседоры и подарил ей. Она увезла их во Францию. Что случилось с ними после ее гибели, я не знаю. Они были прекрасны.

6. Надписи на зеркале. Шестая симфония и «Славянский марш». Ленин в Большом театре. «Имажинизм» Айседоры

На высоком, от пола до потолка, узком зеркале, стоявшем в комнате Айседоры, виднелся нестертый след нашей с Есениным шутки над Айседорой: пучок расходившихся линий, нанесенных кусочком мыла, давал иллюзию разбитого трюмо. Мыло так и осталось лежать на мраморном подоконнике. Однажды Айседора взяла его и неожиданно для нас написала на зеркале по-русски печатными буквами: «Я лублу Есенина».

Взяв у нее этот мыльный карандашик, Есенин провел под надписью черту и быстро написал: «А я нет».

Айседора отвернулась, печальная. Я взял у Есенина карандашик, который он с затаенной улыбкой продолжал держать в руке, и, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и подписал: «Это время придет».

Сколько раз потом, когда Есенин был уже во власти какой-то распаленной, поглощавшей его любви к Айседоре, он вспоминал эти оправдавшиеся слова.

Айседора не стирала эти надписи, и они еще долго оставались на зеркале. И лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все три фразы и написал: «Я люблю Айседору».

Айседора погрузилась в работу. На занятия ежедневно приходило сто пятьдесят детей. Нужно было отобрать из них сорок… Конечно, мы не оставили своей старой мечты о тысяче детей и большом зале. Подвойский время от времени что-то подыскивал и присылал за нами машину. Однако возвращались мы разочарованными: залы были холодными.

Полтораста детей, ежедневно ходивших в школу на предварительные занятия, полюбили Айседору, полюбили танцы.

Айседора страдала оттого, что приближалось время, когда ей придется отобрать «сорок энтузиастов». И она продлила уроки, репетируя с детьми «Интернационал», которым решила закончить свой первый спектакль, назначенный на 7 ноября 1921 года — в день четвертой годовщины Октябрьской революции, в Большом театре.

Кроме «Интернационала», Дункан включила в программу «Славянский марш» и Шестую симфонию Чайковского.

— Шестая симфония — это жизнь человечества! — не раз восклицала Дункан. — На заре своего существования, когда человек стал духовно пробуждаться, он изумленно познавал

окружающий мир, его страшили стихии природы, блеск воды, движение светил. Он постигал этот мир, в котором ему предстоит вечная борьба. Как предвестник грядущих страданий человечества проходит и повторяется в первой части симфонии скорбный лейтмотив… Вторая часть — это весна, любовь, цветение души человечества. Удары сердца ясно слышатся в этой мелодии. Третья часть, скерцо, — это борьба, проходящая через всю историю человечества, и, наконец, смерть.

В своем толковании Шестой симфонии Дункан подходила к музыкальному произведению не как музыковед и даже не как публицист; она искала раскрытие образа через свою громадную творческую интуицию, и, может быть, именно поэтому ей часто удавалось воплотить в своем движении такую глубокую сущность композиторского замысла, достигнуть такого слияния с ним, какое трудно дается, даже если идти путем кропотливого исследования отдельных тем, их развития и сплетения.

Одновременно с Шестой симфонией Дункан репетировала «Славянский марш».

Дункан никогда не хотела согласиться с общеизвестной трактовкой «Славянского марша» и не менее известным замыслом Чайковского, написавшего его в память освобождения болгар от турецкого ига Россией.

— Я не верю, — говорила она, — чтобы такой великий человек, как Чайковский, глубоко философски мыслящий, удовлетворился бы в этом грандиозном произведении только одной этой идеей. Такой человек, как Чайковский, не мог не быть революционером в душе! Он посмеялся над всеми и вложил в этот марш неизмеримо большие мысли, упования, надежду и веру в грядущее освобождение самой России от царизма.

…Под глухие удары первых тактов «Славянского марша» Дункан в темно-красной тунике, выглядевшей как русская рубашка, появлялась из кулисы на заднем плане — согбенная, с руками, как бы скованными за спиной. И шла, казалось, целую вечность тяжким шагом, словно поднявшийся из бездонной глуби темных шахт человек, отвыкший от яркого света, придавленный, порабощенный, человек, идущий из тьмы к свету. И вот Дункан в центре сцены. Она все еще скована, но уже распрямилась. Она прислушивается к звукам отдаленного бодрого марша, слышит ритм шагов, гудящих освобождением. Она, большой раб с дрожащим телом, мучительно вслушивается в эти приближающиеся звуки, все еще не веря им. С боязливой радостью начинает неуклюже притопывать одной ногой в ритм все громче звучащему маршу. Но вот лицо ее исказилось ужасом — труба звучит призывно для других! Обман! Как меч, вонзается

медный голос проклятого царского гимна. Она рухнула на колени, придавленная к земле, ее рассыпавшиеся волосы метут эту землю, все тело ее раскачивается в отчаянии и горе. Но она поднимается, грозная и суровая, в страшном, нечеловеческом напряжении сил, вы вздрагиваете от оглушающего удара, с которым рвутся оковы и гремят цепи.

Человек освободил свои веками скованные руки! Он простирает их перед собой. Они искривлены, изуродованы неволей, пальцы их скрючены и застыли в конвульсиях. И тело Дункан охватывает дрожь отвращения к себе, к этим уродливым, вывороченным рукам. Эта дрожь потрясает всю ее, и вы начинаете содрогаться и дрожать вместе с нею. Опять врывается медный голос царского гимна, и Дункан преображается: ноги ее как бы нашли крепкий упор, сама она выгнулась, готовая к борьбе, к битве за жизнь. Руки взметнулись, лицо, глаза устремлены ввысь, где парит страшная двуглавая птица. Вот она! Труба ревет предсмертным криком. Дункан схватила и душит, душит зловещую птицу. И вдруг падают в изнеможении руки, вырвался вздох радости и великого облегчения. Торжество победы и освобождения на ее лице, по которому льются и льются слезы счастья.

Я чувствую, как слабо мое перо и как трудно словами передать силу искусства Дункан в «Славянском марше». Изумительна сама история его создания. Он возник экспромтом.

Дункан давала концерт в Нью-Йорке, когда пришла весть о революции в России. «Славянский марш» оркестр должен был исполнять один после Шестой симфонии, в которой выступала Айседора.

В антракте она позвала к себе дирижера и сказала ему, что выйдет сегодня на сцену в «Славянском марше».

Тот ужаснулся.

— Как? Без репетиции?

— Мне не нужно его репетировать. Он давно бушует во мне, и сегодня, когда Россия наконец освобождена, он разрывает меня…

7 ноября Большой театр был до того переполнен, что оказались сломанными барьеры, разделявшие ложи.

Из-за множества людей, стремившихся попасть в театр, начало спектакля задерживалось. Даже кулуары были забиты зрителями.

В хлопотах за сценой мы не услыхали, что в театр приехал Ленин.

Сорок лет спустя газета «Советская культура» напечатала об этом подробное сообщение за подписью Б. Яковлева: «Ленин в Большом театре».

Приведу выдержки из этой статьи.

«В день четвертой годовщины Октябрьской революции — 7 ноября 1921 года, — пишет Б. Яковлев, — Ленин выступает на собрании рабочих, красноармейцев и молодежи Хамовнического района столицы. Отсюда, с Малой Царицынской, как называлась тогда Малая Пироговская улица, Ленин едет на другой конец города — в Старосимоновскую слободу, на завод «Электросила». Ныне этот район Москвы именуется Ленинской слободой, а бывшая «Электросила» стала заводом «Динамо».

Установленные биографами Владимира Ильича Ленина места его пребывания в столице и области зарегистрированы в книге «Ленин в Москве», подготовленной Институтом истории партии МК и МГК КПСС. Согласно этому справочному пособию 7 ноября 1921 года после выступления на «Электросиле» Владимир Ильич нигде более не появлялся. Никаких дополнительных данных не содержит и указатель «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина» в томе 33-м четвертого издания сочинений.

Есть, однако, еще одно неучтенное свидетельство мемуариста. О том, что вечер 7 ноября Ленин заканчивает в Большом театре, сообщает на страницах газеты «Литературен фронт» полковник болгарской армии Христо Паков. В то время он учился в Первой советской школе военных летчиков. Политический комиссар Чуркин вручил ему и курсанту Фрадкину билеты на октябрьский вечер в Большом театре. Но предоставим слово самому Христо Пакову. Вот что он рассказывает:

«Нам досталось кресло в партере. Вдруг все зрители встали со своих мест и повернулись к расположенной в центре правительственной ложе. Со всех сторон слышалось: «Ильич… Ильич… Ильич…» В ложе, всего лишь в нескольких шагах от нас, показался вместе с Дзержинским и его помощником Менжинским весело улыбающийся Ленин. Он приветственно поднял руку, и весь многоярусный зал встретил его нескончаемыми рукоплесканиями.

На авансцену вышел Луначарский. Он кратко рассказал о творчестве всемирно известной балерины Айседоры Дункан и пояснил содержание предстоящего балета.

Поднялся занавес. Сцена изображала полушарие Земли. В центре лежал закованный цепями раб. Его роль исполняла сама Айседора. Из оркестра чуть слышно доносились первые аккорды, напоминавшие песню русских бурлаков (Христо Паков принял за песню бурлаков «Патетическую симфонию», а «Славянский марш» — за «Марсельезу». — Авт.). Под эти звуки балерина мастерски передала страдания измученного оковами раба. Внезапно прозвучала мелодия ненавистного народу гимна «Боже, царя

храни»… В то же мгновение в глубине сцены возник страшный двуглавый орел. Он хотел растерзать раба. Царский гимн гремел все громче. Но раб мужественно сопротивлялся. В каждом движении, каждом жесте и выразительной мимике великой артистки отражалось все напряжение неравной борьбы. Но вот под бравурные звуки «Марсельезы» рабу удалось, освободив от цепей одну руку, схватить двуглавого орла. И тогда «Марсельезу» сменил величавый мотив «Интернационала». Раб сбросил остальные цепи. Радостно засияло лицо балерины. Вихрем понеслась она по сцене в ликующем танце Освобождения…

Честно говоря, в то время я неважно разбирался в хореографическом искусстве. К тому же куда чаще, чем на сцену, я смотрел на правительственную ложу. Ведь там — всего-навсего в нескольких метрах от нас — находился Ленин. Ясно видел я его такое проникновенное, выразительное лицо. Передо мной был необыкновенно восприимчивый зритель, чутко откликавшийся на все, что происходило на сцене.

Ленин склонился над барьером ложи. И когда прозвучали последние аккорды «Интернационала», Владимир Ильич встал и громко, во весь голос воскликнул:

— Браво, браво, мисс Дункан!

На сцене снова Луначарский. Он объявил, что артистка готова повторить заключительную сцену балета, если зрители исполнят вместе с ней «Интернационал». Публика встретила эту весть с энтузиазмом. И когда Дункан вышла на сцену, все, не ожидая оркестра, стоя запели «Интернационал». Пел вместе со всеми, кто был в зале, и Владимир Ильич…»

Свидетельство Христо Пакова еще раз подчеркивает интерес В. И. Ленина к искусству Айседоры Дункан. Кстати, о детали, характеризующей силу выразительности ее искусства: никакого двуглавого орла на сцене не было, но болгарский летчик увидел его!

В связи с необычайной выразительностью мастерства Дункан мне вспоминается еще один эпизод.

Однажды, узнав, что ее школу собирается посетить Михаил Иванович Калинин, Дункан решила показать ему свою первую работу с русскими детьми, и не только в танцах на музыку классических композиторов. Дункан «поставила в движении» ряд русских революционных песен. Среди них была и «Варшавянка».

Идея «Варшавянки» в постановке Дункан была в том, что знамя революции подхватывается из рук павших борцов новыми и новыми борцами. Для этой работы Дункан попросила принести небольшой красный флаг.

Я выдернул из никчемных «воротец» балашовской

«мавританской» комнаты ореховую палку с круглым набалдашником на конце, делавшим ее похожей на длинный муштабель художников, прикрепил к ней кусок красного шелка и отнес Айседоре в студию, где шел урок с детьми. Палка легкая, но Айседора сказала:

— Не будет ли этот флаг тяжел для детей?

— Что вы говорите! — удивился я. — А как же вы в третьей части Шестой симфонии держите огромное знамя с таким тяжелым древком?..

Айседора молча, долгим взглядом посмотрела на меня и ничего не сказала при детях. Не было никакого древка, не было никакого знамени… Но сила выразительности ее искусства была так велика, что я видел в ее руках тяжелое древко огромного знамени, с силой раздуваемого ветром.

Есенин не пропустил ни одного спектакля Айседоры ни в Москве, ни в Петрограде. И на тот первый спектакль Есенин привел с собой массу друзей. Ему нужны были дополнительные пропуска и места. Он носился в поисках организаторов вечера, и за ним, как хвост кометы, несся поток его друзей и знакомых.

Особенно он любил «Славянский марш», который смотрел иногда не из зрительного зала, а со сцены. Его удивляли речи, которые постоянно произносила Дункан и во время спектакля, и по окончании его. Сам Есенин, как известно, ораторским талантом не обладал, хотя стихи свои читал с потрясающей силой. Умение произносить речь без пауз, «эканья» и «меканья» вызывало у него восторг.

— А вы действительно переводите со сцены все, что говорит Изадора, или от себя добавляете? — допытывался у меня как-то после спектакля Есенин, возбужденно улыбаясь и сияя глазами. — Поговорить-то она любит! И как вы запоминаете такие длинные периоды? Язык у вас хорошо подвешен! — удивлялся он, становясь серьезным и тряся меня за плечи своими сильными руками. И вдруг, задумавшись, оставил свои руки на моих плечах, потом медленно снял их и сказал: — Вот «Славянский марш»… Изадора ненавидела русскую царщину. Я тоже, всегда… Даже пострадал когда-то за это и угодил в штрафной батальон…

Мы сели около гримировочной Айседоры в ожидании, пока она разгримируется и переоденется, и Есенин рассказал о своем солдатском прошлом. Тогда очень мало было известно о годе, проведенном Есениным в Царском Селе.

В 1916 году Есенина направили служить в «санитарный поезд императрицы Александры Федоровны», с этим поездом Есенин и побывал на фронте. Летом его положили в госпиталь — на

операцию аппендицита, а затем, признав негодным к строевой службе, назначили писарем при «Федоровском государевом соборе» в Царском Селе. Тут и произошло его знакомство с штаб-офицером для поручений при дворцовом коменданте Д. Н. Ломаном. Ломан и организовал чтения перед членами царской фамилии.

Однажды, когда госпиталь в очередной раз должны были посетить дочери царя, Ломан потребовал, чтобы Есенин срочно написал оду в честь этого посещения. Под угрозой отправки в дисциплинарный батальон Есенин написал стихотворение. Но в нем больше говорилось не о посещении госпиталя царевнами, а о страданиях солдата, умирающего в госпитале от ран.

Это стихотворение «В багровом зареве закат шипуч и пенен» напечатано в 5-м томе собрания сочинений С. А. Есенина. (Подлинник, написанный славянской вязью на листе ватманской бумаги, хранится в архиве Екатерининского дворца в г. Пушкине.)

На стихотворении стоит дата: 22 июля 1916 года.

Как-то Есенин сказал Айседоре:

— Ты — имажинист!

Она поняла, но, подняв на него свои «синие брызги», недоумевающе спросила:

— Па-чи-му?

— Потому, что в твоем искусстве главное — образ!

— Was ist «обрасс»? — повернулась Айседора ко мне.

Я перевел.

Есенин засмеялся, потом попытался объяснить на безглагольном диалекте.

— Изадора, — сказал он, делая рукой резкий отрицательный жест, — нет образ Мариенгоф! Образ — Изадора! — вытянул он палец в ее сторону.

Она не поняла. Я тоже не мог достаточно ясно объяснить ей есенинскую мысль, да и многого не знал еще, хотя бы тех слов Есенина об имажинистах из его статьи «Быт и искусство»: «… Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слово и образ — это уже все…» А тогда Есенин смотрел на Айседору смеющимися глазами.

— Мне-то хоть поясните, Сергей Александрович, — обратился я к Есенину, — а я — Айседоре.

Он махнул рукой.

— Надоело до черта! В другой раз… Ну их! — И тут же, остановив на Дункан задумчивый взгляд, еще раз повторил: — Ты — имажинист. Но хороший. Понимаешь?

Она кивнула головой.

— Ты — Revolution! Понимаешь?

Этот разговор происходил незадолго до отъезда Есенина и Дункан за границу.

7. 3 декабря 1921 года. Есенин и Дункан в Петрограде. Комната № 5 в гостинице «Англетер». Выступление перед моряками «Авроры»

В тот день, когда нужно было отобрать 40 детей из всех ходивших на предварительные занятия, Айседора с тяжелой душой пошла в «голубой зал».

Ей дали пачку красных и зеленых билетиков. Красных билетиков было сорок. Урок начался, как обычно, с тихого шага под медленный марш Шуберта.

— Up! Up! — кричала Айседора. — Stop, Manya, what are you doing with your hands?[85] — обращалась она к хорошенькой, светловолосой девочке с темными глазами. И снова слышалось:

— Вверх! Вверх!

Время от времени Айседора подзывала к себе кого-нибудь из детей и давала им красный или зеленый билетик, после чего они убегали в соседнюю комнату, где их соответственно распределяли «руководительницы».

— От этих билетиков мне еще тяжелее, — жаловалась Дункан, — они с такой радостью схватывают и зеленые и красные!

Наконец 3 декабря 1921 года отбор был окончен.

3 декабря стало днем школы. Годовщина эта отмечалась нами, где бы мы в это время ни находились: и на гастролях в Минске, и плывя на английском пароходе из Тяньцзиня в Шанхай, и в зимнем Кисловодске, и в теплом, несмотря на декабрь, Ташкенте, и в Москве, и в Нью-Йорке, и в памятный для всех нас день 25-летия со дня основания школы и 20-летия студии на юбилейных спектаклях в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, и в зале имени Чайковского, где мы тогда впервые показали всю Шестую симфонию Чайковского, полностью восстановив массовую постановку Айседоры.

Сорок детей уже жили в школе, но сама школа еще не существовала. Распорядок дня, выработанный Дункан, соблюдался плохо. Общее образование, предусмотренное тогда в объеме семилетки, велось сумбурно. Среди набранных преподавательниц — руководительниц — только две были с педагогическим опытом и знакомы с практикой новой школы. Но и практика эта тоже была сомнительной, так как и в эти годы, и в последующие общее образование скакало с «Дальтонплана» на

«комплекс», и от всех этих систем было мало пользы. Организационный комитет не мог наладить даже быт, хотя персонала было в полтора раза больше, чем детей. В школе стоял невообразимый шум и гам.

— Дети приходят на урок танца, — расстраивалась Дункан, — какими-то «расплесканными», несосредоточенными. В таком состоянии они не могут слушать музыку так, как это нужно.

Дней через десять после открытия школы как-то вечером к Дункан приехал Луначарский. В их разговоре, происходившем в комнате Айседоры, принимали участие Ирма и я. Дункан сказала, что ей очень трудно работать, многого не хватает, до сих пор нет директора. Луначарский заметил, что о кандидатуре придется серьезно подумать, так как нужен человек, который был бы не только организатором, но и близко стоял к искусству и понимал целевую установку такой школы и самую идею Дункан.

— Вот директор! — вдруг сказала Айседора, указав на меня.

Я отказался: школе нужно посвятить все свое время, а я не хотел расстаться ни с театром, ни с журналистикой, и к школьной работе не имел отношения.

— Разве моя школа не имеет отношения к искусству? — спросила, улыбаясь, Дункан.

— Ну, что же, — сказал Луначарский, — я товарища Шнейдера хорошо знаю, но…

Он наклонился к Айседоре, и я услышал обрывок его фразы: «Mais c'est un j'eune homme»[86]. Потом все же сказал:

— Сегодня что? Понедельник? Ну вот, в среду приезжайте ко мне в Наркомпрос, мы все практически решим, я подпишу необходимые распоряжения, а завтра дам приказ о вашем назначении…

Потом было много сред, четвергов и по семи пятниц на неделе, много трудновыполнимых решений, радостей, огорчений, но школу Дункан я тогда же принял. Дункан постоянно повторяла, что она «бежала из Европы от искусства, тесно связанного с коммерцией», и категорически отказывалась от платных выступлений. Я, по ее настойчивому желанию, отклонял все поступавшие предложения. Но Луначарский все же убедил ее не лишать зрителей возможности видеть ее спектакли на условиях, принятых во всей стране для театральных мероприятий.

Дункан сдалась, и мы объявили в филиале Большого театра четыре ее выступления с симфоническим оркестром, после которых сейчас же поступило приглашение приехать на несколько спектаклей в Петроград, выступить перед творцами Октябрьской

революции — петербургскими рабочими и моряками «Авроры».

В начале февраля, оставив Ирму со школой, Айседора, я и Жанна поехали на Николаевский вокзал. Есенин провожал нас. Точного расписания отправления поездов не было. Билеты не продавались, а бронировались бесплатно по заявкам. У меня была бронь на два двухместных купе в международном вагоне.

Усадив Жанну в зале ожидания, мы втроем заняли столик в буфете. Поговаривали, что поезд отправится лишь в 12 часов ночи, а может, и в два. Айседора была счастлива: еще не сейчас расставаться с Есениным! Они радовались этому, казалось бы, томительному часу в холодном ресторанном зале. Пухленькая Жанна безмятежно спала на вещах и, должно быть, гуляла во сне по Булонскому лесу. Айседора, взяв у меня записную книжку, с увлечением чертила, объясняя Есенину роль хора в древнегреческом театре. Смелой линией, нарисовав полукруг амфитеатра, она замкнула орхестру и, поставив в центре ее черный кружок, написала под ним: «Поэт». Затем быстро провела от точки множество расходящихся лучей, направленных к зрителям.

— Мы будем выступать вместе! — говорила она Есенину. — Ты один заменишь древнегреческий хор. Слово поэта и танец создадут такое гармоническое зрелище, что мы… Werden die ganze Welt beherrschen![87] — рассмеялась Айседора. Потом вдруг наклонилась ко мне и умоляющим голосом тихо сказала: — Уговорите Езенин ехать вместе с нами в Петроград…

— Да его и не надо уговаривать. Сергей Александрович, хотите в Петроград?

Он радостно закивал головой, обращаясь к Айседоре:

— Изадора! Ты… я… Изадора — Езенин — Петроград!

Настроение поднялось. Айседора принялась рисовать шаржи на себя и на Есенина. Эта книжка долго хранилась у меня. Двумя-тремя линиями Айседора набрасывала человечков, изображая себя и Есенина. Есенин весело смеялся.

В Петрограде мы остановились в гостинице «Англетер». Я взял для них большой номер. Приехали мы только к вечеру и, утомленные дорогой, легли спать.

В номерах было холодно. Несколько раз в день либо я, либо Есенин взбирались на письменный стол и щупали рукой верхушку трубы отопления (вернее, двух трубок, спускавшихся по стене). Внизу они были совершенно холодными, наверху еле теплились.

Наконец я пригласил директора гостиницы и попросил для Есенина и Дункан теплую комнату.

Дункан и Есенин покинули комнату номер «5» — ту самую комнату, где почти четыре года спустя Есенин покончил с

жизнью, прикрепив веревку, сдернутую с американского чемодана, к той самой трубе отопления, которая в феврале 1922 года не давала никакого тепла, а в декабре 25-го, раскаленная паром, даже обожгла его лицо.

В новой комнате, куда перешли Дункан и Есенин, тоже было не особенно тепло.

Однажды днем мы вышли пройтись по Невскому и зашли в комиссионный магазин. Дункан сразу молча указала мне на черную, довольно высокую электропечь, стоявшую на полу среди других вещей. Печь стоила один миллион рублей. (Большая двуспальная кровать, которую мы с Айседорой нашли на Сухаревском рынке, стоила десять миллионов…)

Мы купили эту кустарную печь, и она потом щедро отдавала тепло в комнате Дункан и Есенина и в Петрограде, и в Москве. Мы сразу включили ее, как только вошли в номер. Есенин, не снимая пальто, вдруг вышел в коридор, сказав: «Я сейчас вернусь». Он действительно скоро возвратился, держа в руках небольшой сверток и, как всегда, смущенно улыбаясь. Оказывается, он вернулся в комиссионный магазин, где присмотрел какую-то чернильницу, но почему-то не купил ее тут же.

Эта чернильница простояла потом все годы на большом, красного дерева письменном столе в комнате Дункан и Есенина на Пречистенке, 20. За этим столом Есенин написал стихотворение «Волчья гибель» («Мир таинственный, мир мой древний…»), но писал он карандашом или чернилами — не помню. Автограф хранится в ЦГАЛИ.

Когда Есенин и Дункан улетали 10 мая 1922 года через Кенигсберг в Берлин, Айседора перед выходом из дома сказала мне: «Я дарю вам этот «балшой кравать…» — «А я — мою чернильницу!» — сказал Есенин. И «кравать», и чернильница оставались на своих местах, когда супруги вернулись из-за границы.

В углублении для чернил был маленький стеклянный стаканчик, давно утерянный. Перед чернильницей стояла подставка из толстого черного стекла для карандашей и ручек. Подставка разбилась, но я долго сохранял ее перед чернильницей, складывая все три части, на которые она разбилась. В 1931 году кто-то без меня выбросил эти куски.

Чернильница наполовину нефритовая, бледно-фисташкового цвета, наполовину металлическая.

Она стояла на совсем ненужной ей большой нефритовой подставке, огражденной металлическим барьером. Чернильница перешла от меня к известному есениноведу Ю. Л. Прокушеву.

Подставку я храню у себя.

В 1904 году Айседора Дункан впервые приехала на гастроли в Россию.

Однажды поезд, в котором Айседора возвращалась в Петербург, подходил к столице перед рассветом, сильно опоздав из-за снежных заносов. Ее везли по темным и затихшим петербургским улицам на высоких и узких санках «лихача», прикрытых меховой полостью. Вдруг навстречу из темноты показалась похоронная процессия: суровые люди молча несли на руках и везли на санях несколько гробов.

— Что это? — с ужасом спросила Дункан.

Ей объяснили. Дункан возвратилась в Петербург после Кровавого воскресенья и расстрела у Зимнего дворца.

— Это страшное шествие оставило во мне след на всю жизнь и направило ее по истинному пути… — не раз повторяла потом Дункан.

Петроград 1922 года ожидал первого выступления Айседоры Дункан с острым интересом. Балетный мир и русские последовательницы школы Дункан, так называемые «пластички», к которым Дуккан относилась с нескрываемым раздражением, предпочитая им даже классическую школу танца, проявляли нетерпение.

Но не балетный мир, переполнивший ложи бывшего Мариинского театра на первом спектакле Дункан, волновал ее. Основная масса зрителей этого огромного театра состояла из моряков «Авроры» и петроградских рабочих.

Еще больше, чем Дункан, волновался я: Дункан требовала, чтобы во вступительном слове я рассказал и об идее ее школы, и о глубоких причинах неудач с ее школами в Европе, и о социальных корнях ее тяги к Советской России, и о перспективах ее работы здесь, и об ее творческих устремлениях.

— Но ведь на это надо полчаса! — встревоженно доказывал я Айседоре.

— Даже больше, если нужно, — отвечала она.

— Но меня и слушать не захотят. Они пришли смотреть ваш спектакль, а не слушать мои речи!

— Эти люди, — перебила меня Дункан, — хотят и имеют право знать многое. Когда я приезжала в Петербург в годы царизма, их не пускали в театры. Их боялись, их от страха перед грядущим убивали на улицах! Я приехала в Россию ради этих зрителей. Неужели они не захотят узнать, зачем я здесь? Я сама дрожу сейчас, как дебютантка!

В гримировальную вошел Есенин. Ему нужен был для кого-то пропуск. Айседора прильнула к нему. Он ободряюще похлопал ее

по плечу, испачкав руку в пудре, улыбнулся и «благословил» меня на выход. Я выписал пропуск и вышел на просцениум.

Аудитория была очень внимательна, и это поддержало меня. Я представил Дункан.

Зал принимал Дункан громовым рукоплесканием. И восторженно гудел после каждой части Шестой симфонии. Вдруг, уже во второй половине, сцена внезапно погрузилась во мрак. Оркестр, медленно теряя звучание, остановился. В зале зачиркали спичками. Я вынес на сцену «летучую мышь» и, поставив фонарь у рампы, едва осветил Дункан, неподвижно стоявшую в центре огромной сцены. Потом попросил зрителей не зажигать огня и дождаться исправления повреждения электросети.

Наступила полная тишина. Не верилось, что в театре такое множество людей. Пламя в фонаре чуть-чуть потрескивало, бросая слабые отсветы на застывшую фигуру Дункан, в которой, по-видимому, продолжала мучительно звучать оборвавшаяся музыка симфонии.

Свет не зажигался. На сцене было прохладно. Я взял красный плащ Айседоры и набросил ей на плечи. Дункан поправила плащ, приблизилась к фонарю, горевшему красноватым светом, и подняла его высоко над головой. В красном плаще, с призывно поднятой головой и со светочем в руке, она выглядела каким-то революционным символом. Зал ответил грохотом аплодисментов. Дункан выжидала, когда все утихнет. Потом сделала шаг вперед и обернулась. Я понял и подошел.

— Товарищи, — сказала она, — прошу вас спеть ваши народные песни.

И зал, огромный, переполненный зал, запел. Без дирижера, без аккомпанемента, в темноте, поразительно соблюдая темпы, нюансы и стройность, зал пел одну за другой русские народные песни.

Дункан так и стояла с высоко поднятым над головой огнем, и вытянутая рука ни на мгновение не дрогнула, хотя я видел, что это стоит ей огромного напряжения воли и великого физического усилия.

— Если бы я опустила тогда руку, — объяснила она потом, — прервалось бы и пение, и все невыразимое очарование его. Это было так прекрасно, что никакие самые знаменитые капеллы не выдержали бы сравнения с этим вдохновенным пением!

Так продолжалось около часа. Дункан не опускала руки, и зал пел снова и снова. Уже прозвучали «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу…».

— Есть еще одна ваша песня, которую я один раз слышала, — сказала Дункан во время короткой паузы. — Это печальная песня,

но она говорит о заре новой жизни. В финале заря занимается, и песня звучит грозной силой и верой в победу. Прошу вас спеть эту песню.

Едва я перевел эти слова, как, словно по взмаху руки невидимого дирижера, совсем пианиссимо возникли напев и слова:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил,
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил…

Песня нарастала, звучала все громче и громче, наливалась неслыханной мощью. По лицу Дункан катились слезы…

И вдруг, когда необычайный хор гремел заключительными словами:

Но знаем, как знал ты, родимый,
Что скоро из наших костей
Поднимется мститель суровый,
И будет он нас посильней! —

в хрустальных бра и люстрах зала, в прожекторах и софитах стал теплеть, разжигаться свет. Красноватый, потом желтый, солнечный и, наконец, ослепительно-белый затопил потоками громадный театр и гигантский хор, который вместе со светом медленно поднимался со своих мест, потрясая зал последним рефреном:

Будет по-силь-ней!

Одновременно взметнулся красный плащ Дункан — и медленно пошел вниз занавес.

Ни один режиссер не мог бы так блестяще театрально поставить эту сцену…

8. «Неожиданности» Есенина. Золотые часы. Есенин «уезжает в Персию». Дункан и Есенин в ЗАГСе. Отлет в Берлин. Завещание. Голубой блокнот

На письменном столе Айседоры лежали «Эмиль» Жан-Жака Руссо в ярко-желтой обложке и крохотный томик «Мыслей» Платона. Томик этот она часто брала в руки и, почитав, надолго задумывалась.

Однажды я видел, как Айседора Дункан, сидя с книжкой на своей кровати, отложила ее и, нагнувшись к полу, чтобы надеть туфлю, подняла руку и погрозила кулаком трем ангелам со скрипками, смотревшим на нее с картины, висевшей на стене.

Впрочем, может быть, этот жест имел свою причину: Айседора утверждала, что один из трех ангелов — вылитый Есенин. Действительно, сходство было большое.

А Есенин, сидя в комнате Айседоры, за ее письменным столом, в странном раздумье, подул несколько раз на огонь настольной лампы и, зло щелкнув пальцем по стеклянной груше, погасил ее.

С Есениным иногда было трудно, тяжело.

Вспоминаю, как той, первой их весной я услышал дробный цокот копыт, замерший у подъезда нашего особняка, и, подойдя к окну, увидел Айседору, подъехавшую на извозчичьей пролетке.

Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в которой что-то блеснуло. Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, остановилась передо мной все такая же сияющая и радостно-взволнованная.

— Смотрите, — вытянула руку. На ладони заблестели золотом большие мужские часы. — Для Езенин! Он будет так рад, что у него есть теперь часы!

Айседора ножницами придала нужную форму своей маленькой фотографии и, открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку.

Есенин был в восторге (у него не было часов). Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и вынимал снова, по-детски радуясь.

— Посмотрим, — говорил он, вытаскивая часы из карманчика, — который теперь час? — И, удовлетворившись, с треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал ее, шутливо шепча: — А

тут кто?

А через несколько дней, возвратившись как-то домой из Наркомпроса, я вошел в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части.

Айседора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка.

Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте. На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронес его в ванную, опустил перед умывальником и, нагнув ему голову, открыл душ. Потом хорошенько вытер ему голову и, отбросив полотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущенные глаза.

— Вот какая чертовщина… — сказал он расчесывая пальцами волосы, — как скверно вышло… А где Изадора?

Мы вошли к ней. Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до ее ног. Неподалеку лежала и ее фотография. Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Айседоре.

Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами.

— Холодной водой? — Она подняла на меня испуганные глаза. — Он не простудится?

Ни он ни она не смогли вспомнить и рассказать мне, с чего началась и чем была вызвана вспышка Есенина.

«Ехать в Персию» Есенин собрался тоже внезапно, без всяких сборов. Айседора слегла. Несколько дней она не поднималась с постели а последние два дня не хотела ни есть, ни пить.

Поздно вечером я вошел в ее огромную комнату. Было темно. Только на столике у кровати горела настольная лампа с зеленым абажуром.

— Вот здесь, — показала Айседора на низкую никелированную спинку кровати, — здесь сейчас стоял Езенин.

— Конечно, — постарался самым спокойным тоном объяснить я, — если и дальше вы не будете ни есть, ни пить, то у вас появятся не только зрительные, но и слуховые галлюцинации…

И вдруг сам совершенно явственно услышал голос Есенина, произнесший мое имя. Голос звучал где-то за «восточной» комнатой. Пробежав ее и розовую атласную, я увидел в амбразуре арки темного «голубого зала» что-то белое, двигавшееся прямо на меня…

Думайте обо мне что хотите, но в это мгновение мною овладел страх.

— Илья Ильич! — заорало это белое, и я уткнулся прямо в живот Есенина. Он был в распахнутом пиджаке и в белой рубашке. — Живой, живой! — кричал он.

Оказалось, «Почем-соль» ехал в своем вагоне в Ростов-на-Дону и согласился взять с собой Есенина (может, втайне рассчитывал на его помощь при погрузке мешков с солью). «Ростов — это Северный Кавказ, а следовательно — почти Закавказье, а там и до Персии рукой подать» — так, очевидно, рассуждал Есенин, всегда стремившийся на родину Омара Хайяма и Гафиза.

В Ростове, пока «Почем-соль» управлялся с солью и кое-какими поручениями комиссии, Есенин поссорился с ним и методически перебил одно за другим все стекла «салон-вагона». После этого «Почем-соль» отправил его в Москву, к великому счастью Айседоры. (Впоследствии, весной 1923 года, Есенин писал из Парижа А. Мариенгофу: «…после скандалов (я бил Европу и Америку, как Гришкин вагон) хочется опять к тишине…»)

Один раз кто-то спросил меня, чего было больше в самоубийстве Есенина — страха перед жизнью или храбрости перед смертью? Есенин от природы был человеком, что называется, не робкого десятка.

Однажды произошло следующее. В бывшем балашовском особняке стали происходить какие-то таинственные истории. Ночью в дом проникали неведомыми путями неизвестные люди с потайными фонарями. При малейшей тревоге таинственные посетители мгновенно исчезали. Мы установили наблюдение, но однажды дело приняло очень серьезный оборот: открыв отмычкой дверь, бандиты через подсобную лестницу проникли в спальню детей.

Одна девочка проснулась.

— Молчи! — зашипел на нее бандит и погрозил издали ножом. Но она от страха громко закричала и, соскочив с кровати, стрелой пронеслась мимо налетчиков к выходу. Поднялся многоголосый крик.

Есенин, все мы и кто-то из гостей бросились обследовать дом. Внизу около большой мраморной лестницы был маленький кабинетик, где я принимал родителей. В одном углу была низкая дверца, через которую, сильно согнувшись, можно было пролезть в темную кладовку под лестницей. Кладовка имела вторую такую же дверцу, выходившую в коридор около детской столовой. Не знаю почему, эту кладовку в школе называли «котомазкой».

Вот около этой «котомазки» и собрались все мы, предводительствуемые Есениным. Открыли дверцу, я чиркнул

спичкой, и вдруг в самом темном углу что-то зашевелилось. Я зажег сразу несколько спичек. Есенин так дернулся вперед, что спички погасли, но он бесстрашно пролез в дверцу, крича и размахивая поленом:

— Выходи, выходи! Нечего теперь уже! Попался!

Фигура закопошилась, покорно полезла прямо на Есенина, и тут все увидели нашего швейцара Павла Васильевича. Он жил где-то далеко на окраине и не пошел домой, решив переночевать в «котомазке».

Случай, конечно, комический, но, очутись на месте Павла Васильевича один из бандитов, Есенин мог бы получить удар ножом.

Через некоторое время за деревянной панелью в стене детской спальной мы обнаружили выдолбленную пустую дыру. Там Балашова, очевидно, прятала свои драгоценности. Об этом, по-видимому, знал кто-то из ее «дворни». Мы заявили в милицию, и вскоре выяснилось, что вожаком «искателей кладов» был бывший управляющий балашовским домом, проживавший по соседству. Его арестовали. Ночные визиты прекратились.

Вскоре после этого случая Есенин принес купленный где-то великолепный «нож для харакири», зеркально блестевший немного выгнутым клинком. На больших ножнах были еще маленькие — с острым и тонким стилетом внутри.

— Большим ножом, — объяснял Есенин, — японцы, кончая жизнь самоубийством, вскрывают себе живот, и, когда кишки вываливаются, они перерезают маленьким кинжальчиком последнюю кишку… Какое самообладание и изуверство! — добавлял он.

И вскоре охладел к ножу, ему неприятно было видеть его, он все запрятывал куда-то этот нож, а потом подарил его мне. Нож в дальнейшем таинственно исчез. Много лет спустя я случайно обнаружил его следы у родственника школьной медсестры, которую Ирма Дункан, также не любившая «нож для харакири», попросила куда-нибудь унести его. Нож давно утратил и свои прекрасные ножны, и маленький кинжальчик, а клинок, по-прежнему зеркально блестевший, превратился в охотничий нож, с которым владелец его ходил на кабана.

Айседора вошла ко мне, держа листок бумаги с текстом телеграммы. Это была телеграмма известному американскому импресарио Юроку, постоянному организатору гастролей Айседоры Дункан.

Телеграмма гласила:

«Можете ли организовать мои спектакли участием моей ученицы Ирмы, двадцати восхитительных русских детей и моего

мужа, знаменитого русского поэта Сергея Есенина. Телеграфируйте немедленно. Айседора Дункан».

Пришел ответ из Нью-Йорка:

«Интересуюсь, телеграфируйте условия и начало турне. Юрок».

Да. Тот самый Юрок, о котором спустя 50 лет писали наши газеты и который явился жертвой бандитов — непрошеных защитников советских евреев. Они совершили в Нью-Йорке налет на оффис Юрока, занимавший целый этаж в одном из небоскребов, брошенной бомбой убили молоденькую сотрудницу, ранили Юрока, разрушили помещение.

И все это за то, что Юрок является постоянным организатором гастролей в США знаменитых советских артистов, ансамблей и театров.

Советское правительство дало согласие на выезд школы, и Дункан стала деятельно готовиться и к первому показательному спектаклю ее школы в Москве, и к своему отъезду за границу, намереваясь провести там до приезда школы большую предварительную работу.

Чувство Есенина к Айседоре, которое вначале было еще каким-то неясным и тревожным отсветом ее сильной любви, теперь, пожалуй, пылало с такой же яркостью и силой, как и любовь к нему Айседоры.

Оба они решили закрепить свой брак по советским законам, тем более что им предстояла поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней «полиции нравов», да и Есенин знал о том, что произошло в Соединенных Штатах с М. Ф. Андреевой и А. М. Горьким только потому, что они не были «повенчаны».

Ранним солнечным утром мы втроем отправились в загс Хамовнического Совета, расположенный по соседству с нами в одном из пречистенских переулков.

Загс был серенький и канцелярский. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию — «Дункан-Есенин». И так записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта — она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую «филькину грамоту». На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Айседоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей.

— Теперь я — Дункан! — кричал Есенин, когда мы вышли из

загса на улицу.

Накануне Айседора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский «паспорт».

— Не можете ли вы немножко тут исправить? — еще более смущаясь, попросила она.

Я не понял. Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся — передо мной стояла Айседора, такая красивая, стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айседоры Дункан, которую я впервые, около года назад, увидел в квартире Гельцер.

Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью…

— Ну, тушь у меня есть… — сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения. — Но, по-моему, это вам и не нужно.

— Это для Езенин, — ответила она. — Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана… и мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно… Паспорт же мне вскоре не будет нужен. Я получу другой.

Я исправил цифру.

Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянули с визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролететь.

Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час. Все дети хотели проводить Айседору, и я обратился в Коминтерн, владевший единственным тогда в Москве автобусом, с просьбой предоставить его нам. Это был большой красный автобус английской фирмы «Лейланд». Нам потом не раз давали его для прогулок по городу (так сказать, «агитпоездки». Дети были одеты в особую форму, на борту автобуса лозунг: «Свободный дух может быть только в освобожденном теле!» Надпись: «Школа Дункан»).

Конечно, тогда в Москве не было наших теперешних аэропортов. Сидели мы прямо на траве неровного Ходынского поля, знаменитого еще со времен коронации Николая II, когда на этом поле погибли в давке тысячи людей. Сидели в ожидании, пока заправят маленький шестиместный самолетик. Они были первыми пассажирами открывавшейся в этот день новой воздушной линии «Дерулуфта» Москва — Кенигсберг. Третьим пассажиром оказался мой бывший однокашник и сосед по парте Пашуканис, которого я с гимназических времен не встречал и который работал тогда заместителем наркома иностранных дел.

Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами:

— Его может укачать, если же он будет сосать лимон, с ним ничего не случится.

В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы. Есенин, очень бледный, облачился в мешковатый костюм, Дункан отказалась. Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг спохватилась, что не написала никакого завещания. Я вынул из военной сумки маленький голубой блокнот. Дункан быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием: в случае ее смерти наследником является ее муж — Сергей Есенин-Дункан.

Она показала мне текст.

— Ведь вы летите вместе, — сказал я, — и, если случится катастрофа, погибнете оба.

— Я об этом не подумала, — засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу: «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан», — поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей.

Наконец супруги Дункан-Есенины сели в самолет, и он, оглушив нас воем мотора, двинулся по полю. Вдруг в окне (там были большие окна) показалось бледное и встревоженное лицо Есенина, он стучал кулаком по стеклу. Оказалось, забыли корзинку с лимонами. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медленно ковылявшим по неровному полю, догнал его и, вбежав под крыло, передал корзину в окно, опущенное Есениным.

Легонький самолет быстро пробежал по аэродрому, отделился от земли и вскоре превратился в небольшой темный силуэтик на сверкающем голубизной небе.

Дети первый раз видели отлет воздушного корабля и стояли бледные и затихшие, подняв головы, с широко раскрытыми глазами.

Шофер возился с мотором, автобус никак не заводился. Все молча опустились на траву. Я присел на лежавшие поблизости телеграфные столбы, вынул голубой блокнот и, раскрыв его, начал писать на последних страницах информацию об отлете в Берлин Дункан и Есенина, заказанную мне театральным журналом «Рабочий зритель».

Небо нахмурилось, стал накрапывать мелкий дождик, и на листках блокнота от капель дождя, попадавших на строчки, написанные чернильным карандашом, зарябили лиловые

крапинки.

Голубой блокнот я сунул между бумагами в сумку и забыл о нем. Я не знал, что через пять лет об этом блокноте будут писать газеты Европы и Америки…

Сергей Есенин погиб через три года с лишним. Айседора Дункан — спустя полтора года после смерти Есенина. О катастрофе в Ницце мы узнали, находясь со студией на гастролях в Донбассе. Мне, как советскому гражданину, нужно было получить заграничный паспорт, в один день выполнить все формальности было невозможно, и Ирма улетела во Францию одна.

Некоторое время спустя я получил от нее телеграмму из Парижа:

«Немедленно вышлите завещание Айседоры».

За шесть лет, прошедшие со дня основания школы, накопился значительный архив. Кроме того, в большом письменном столе, стоявшем прежде в комнате Айседоры и Есенина, а теперь перенесенном в мою, все семь ящиков были полны различными бумагами и Дункан, и Есенина, и моими. Я начал поиски завещания и неожиданно быстро нашел среди бумаг узенький голубой блокнот. Я сразу узнал лиловые крапинки от капель дождя.

Однако завещания Айседоры в нем не оказалось. В середине блокнота было вырвано много листков. Очевидно, подумал я, Айседора в 1923 году, возвратившись с Есениным из-за границы, случайно нашла этот блокнот и, может быть, в том же году или в 1924-м, когда Дункан и Есенин уже расстались, уничтожила свое завещание.

Я телеграфировал в Париж, что завещания нет.

А еще через несколько дней произошло следующее.

Я сидел за письменным столом Айседоры и перебирал бумаги. Арку, ведущую в соседний «голубой зал», по моему указанию заделали, и плотники установили в образовавшейся нише полки. Этот открытый шкаф, в котором разместился архив школы, я завесил широкой портьерой. Вдруг раздался легкий стук. Я взглянул под стол и увидел на полу возле портьеры голубой блокнот.

«Откуда он упал, — подумал я, — ведь я положил его в средний ящик письменного стола?» Но, выдвинув ящик, сразу увидел голубой блокнот. Он по-прежнему лежал поверх бумаг.

Раскрыв «двойник», я увидел завещание Айседоры.

Тут-то я и вспомнил: этих грошовых блокнотов у меня было несколько. Очевидно, в день проводов в моей сумке лежало два одинаковых блокнота. В одном — Айседора написала свое

завещание, а заметку, обрызганную лиловыми капельками, я написал в другом.

Я тут же дал телеграмму Ирме:

«Завещание найдено».

Когда Ирма и часть студии в следующем году уехали на гастроли в Америку, завещание Айседоры было предъявлено там в суде Манхеттена. Луначарский дал мне газету «Русский голос» (она выходила в Нью-Йорке на русском языке). Сразу бросился в глаза заголовок, набранный крупным шрифтом над заметкой в две колонки:

«Завещание Айседоры Дункан утверждено государственным судом Манхеттена»…

Однако «история с завещанием» увела нас на пять с лишним лет вперед, а пока Айседора Дункан и Сергей Есенин, пересекая прибалтийские и польские равнины, летели в Европу.

9. Несколько слов об этой главе. Приезд Дункан и Есенина в Берлин. Письма Есенина из Европы. Встреча с М. Горьким и А. Толстым

Ехать за границу вместе с Есениным и Дункан мне и моим «дунканятам» не пришлось, так как Америка отказала нам в визах после решения лишить Дункан американского гражданства «за советскую пропаганду» и предложения Есенину и ей покинуть пределы Соединенных Штатов.

Однако через несколько месяцев после их возвращения я проехал по свежим следам их путешествия, многое узнал от брата Айседоры Раймонда Дункан в Париже и ее сестры Елизаветы Дункан в Берлине. Есенин и Дункан писали мне из Европы и Америки, о многом рассказывали, вернувшись в Москву. Кстати, они привезли с собой целую корзину газетных вырезок об их путешествии.

Мне кажется целесообразным поделиться некоторыми малоизвестными читателю фактами, штрихами, рисующими характер Есенина, Дункан, отношение к ним за границей в те годы.

Я считал также необходимым, тщательно выверив и сопоставив описания одних и тех же фактов в газетах с рассказами и письмами Есенина и Дункан, восстановить истину, искаженную Мэри Дести в ее книге об Айседоре Дункан и Сергее Есенине.

Кто же такая Мэри Дести?

Айседора мало упоминала о ней. Впервые я увидел это имя в первый день приезда Дункан в Москву на этикетке сигарет «Aromatique», а вскоре заметил такую же надпись — «Фабрика Мэри Дести» — на флакончике с духами.

Дести знала Айседору с 1901 года. Тогда же началась их дружба, продолжавшаяся больше двадцати лет. Дести, по ее словам, боготворила Айседору, и этому можно поверить. Мэри то путешествовала, то пыталась танцевать, то открывала маленькие кустарные производства, громко именуемые фабриками.

Дести во всем пыталась подражать Айседоре. Она носила такие же плащи и шляпы, ту же прическу, старалась даже перенять походку Дункан.

Вначале я не знал, что Дести собирается писать книгу о Дункан. Она, приехав в Москву после гибели Айседоры,

постоянно расспрашивала меня о разных подробностях жизни Айседоры в Москве, о ее поездках. Намерение ее стало мне понятным лишь после того, как Мэри решила записывать не только отдельные детали из моих рассказов, но и целые эпизоды. Она подолгу рылась в большом ворохе газетных вырезок, привезенных Дункан и Есениным из-за границы.

С чувством невыразимой досады читал я потом в книге Дести некоторые рассказанные мною эпизоды, искаженные ею до неузнаваемости (о выступлении Дункан перед моряками «Авроры» в Петрограде и многие другие). Часть ее вины и перед истиной, и перед читателями, и перед памятью Дункан и Есенина я переношу на ее «литературного секретаря» — сотрудника издательства, заинтересованного в книге. Собственно, он и писал эти воспоминания, сидя у кровати умирающей Дести в нью-йоркском госпитале…

12 мая 1922 года Дункан и Есенин прибыли в Берлин. В отеле «Адлон», где Айседора всегда останавливалась, ее уже ждали журналисты. Приезд Айседоры Дункан из «большевистской Москвы», да еще в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего ее мужем, — это была сенсация, а следовательно, и «хлеб» для репортеров. Ее буквально «обстреляли» вопросами.

— Несмотря на лишения, русская интеллигенция с энтузиазмом продолжает свой тяжелый труд по перестройке всей жизни, — отвечала она им. — Мой великий друг Станиславский, глава Художественного театра, и его семья с аппетитом едят бобовую кашу, но это не препятствует ему творить величайшие образы в искусстве.

В берлинском «Кафе Леон» обосновался Дом искусств, не имевший постоянного помещения. В Доме искусств бывало много русских, сочувственно относящихся к Советской России, а также «сменовеховцев», печатным органом которых была газета «Накануне». Они были очень заинтересованы приездом Есенина.

На следующий же день, 13 мая, Есенин пришел в «Кафе Леон» один, без Дункан, и сразу же стал читать стихи. Принимали его восторженно. После выступления, когда Есенин сел за столик, к нему подошел кельнер и сказал, что приехала Айседора Дункан. Есенин сразу поднялся, вышел в вестибюль и вернулся в зал под руку с Айседорой, радостный и улыбающийся. Их встретили шумными аплодисментами. Айседора предложила спеть в честь Есенина советский гимн — «Интернационал». Она и Есенин запели, и к ним сразу присоединились многие. Но в зале оказалось несколько белогвардейцев, они криками «долой» и свистом прервали пение. Есенин, вскочив на стул, «богатырским свистом» прекратил шум, а потом крикнул: «Все равно не

пересвистите нас! Как заложу четыре пальца в рот и свистну — тут вам и конец. Лучше нас никто свистеть не умеет». И продолжал петь. И снова читал стихи.

Периоды меланхолии, сильного нервного возбуждения были у Есенина и во время путешествия. Но почти всегда, когда назревал инцидент, его можно было предотвратить, предложив Есенину что-нибудь спеть. Особенно часто пел он «Цыганочку», хотя назвать его исполнение настоящим пением, кажется, нельзя. Это было скорее то, что специалисты называют parlando, то есть переход от музыкального звучания к речевой интонации.

Есенин запевал:

Вечер, поезд, огоньки,
Вдаль моя дорога…

и переходил на parlando, перескакивая на несколько тонов выше, ведя всю дальнейшую фразу на одной, почти фальцетом звучащей ноте:

Сердце ноет от тоски,
А на душе тревога…

И такая тоска была в его голосе, и такая тревога, что у вас невольно сжималось сердце…

В Берлине в честь Есенина был организован большой вечер в зале общества зубных врачей… На первом вечере в Доме искусств он был в московском костюме, в парусиновых туфлях, простой, доброжелательно настроенный и полный сил. А на этот раз пришел в смокинге, цилиндре и в черной пелерине на белой подкладке, нервничал и все время презрительно усмехался. Но когда стал читать, преобразился и читал потрясающе.

В те дни в Берлине были Горький и Алексей Толстой. Толстой пригласил Дункан и Есенина на обед. На обеде был Горький.

Об этой встрече с Есениным и Дункан Горький и написал свою известную статью.

Дункан знала Алексея Толстого раньше и в дальнейшем встречалась с ним в Смоленске. Однажды мне пришлось срочно выехать оттуда в Москву, и я попросил находившегося в это время в Смоленске Алексея Толстого выступить на спектакле Дункан со вступительным словом. Он охотно согласился.

Горького Айседора видела впервые в жизни. Она была взволнована этой встречей, счастлива за Есенина, сидящего за одним столом с Горьким и Толстым, и к тому же возбуждена

выпитым вином.

Об этой встрече Горький писал:

«Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно» (т. 17, с. 61).

«Но мы располагаем и другими фактами, заставляющими нас не вполне согласиться с впечатлениями Горького, который видел Дункан лишь несколько часов и наблюдал ее танец, когда она вышла из-за обеденного стола, обильно уставленного вином», — пишет Е. Наумов в своей книге «Сергей Есенин».

Горький увидел перед собой не Айседору Дункан, большого художника и реформатора искусства танца, а раскрасневшуюся от вина, уже не молодую женщину, танцевавшую с какими-то увядшими цветами и «дурившую», изображая под патефонную пластинку парижского апаша, задушившего свою возлюбленную. Возлюбленную заменял шарф, извивавшийся в выразительных руках Айседоры.

Из Германии, Остенде и Брюсселя Есенин послал мне несколько писем. Часть их я сдал весной 1940 года в Литературный музей.

Вот два из этих писем.

> «Висбаден. Июнь. 21.1922
>
> Милый Илья Ильич!
>
> Привет Вам и целование. Простите, что так долго не писал Вам, берлинская атмосфера меня издергала вконец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ногу. Лечусь в Висбадене. Пить перестал и начинаю работать.
>
> Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег. Пока получил только сто тысяч с лишним марок, между тем в перспективе около 400. У Изадоры дела ужасны. В Берлине адвокат дом ее продал и заплатил ей всего 90 тыс. (марок). (В те годы немецкая марка была совершенно обесценена. — Авт.) Такая же история может получиться и в Париже. Имущество ее: библиотека и мебель расхищены, на деньги в банке наложен арест. Сейчас туда она отправила спешно одного ей близкого человека. Знаменитый Поль Бонкур[88] не только в чем-нибудь не помог ей, но даже отказался дать подпись для визы в Париж. Таковы ее

дела… Она же, как ни в чем не бывало, скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии — истерика.

Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер[89]. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик, спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы.

Нужен поход на Европу…

Однако серьезные мысли в этом письме мне сейчас не к лицу. Перехожу к делу. Ради бога, отыщите мою сестру (Е. А. Есенина, учившаяся в это время в Москве) через магазин (Книжная лавка писателей, помещавшаяся на Б. Никитской, в доме № 15, была основана в 1920 году С. Есениным и А. Мариенгофом и существовала до 1923 года. — Авт.) (оставьте ей письмо) и устройте ей получить деньги по этому чеку в АРА (сокращенное название Американской администрации помощи, созданной в США в 1919 году), она, вероятно, очень нуждается. Чек для Ирмы только пробный. Когда узнаем, что Вы получили его, тогда Изадора пошлет столько, сколько надо.

Если сестры моей в Москве нет, то напишите ей письмо и передайте Мариенгофу — пусть он отошлет его ей. Кроме того, когда Вы поедете в Лондон, Вы позовите ее к себе и запишите ее точный адрес, по которому можно было бы высылать ей деньги, без которых она погибнет.

Передайте мой привет и все чувства любви моей Мариенгофу. Я послал ему два письма, на которые он почему-то не отвечает мне.

О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень замечательное (особенно о некоторых доносах во французскую полицию, чтобы я не попал в Париж. Но все это после, сейчас жаль нервов). Когда поедете, захватите с собой все книги мои и Мариенгофа и то, что обо мне писалось за это время.

Жму Вашу руку.

До скорого свидания, любящий вас Есенин.

Ирме мой нижайший привет. Изадора вышла за меня замуж второй раз и теперь уже не Дункан-Есенина, а просто Есенина».

Письмо из Бельгии:

«Брюссель. 13 июля 1922 г.

Милый Илья Ильич!

Я довольно пространно описывал Вам о всех наших происшествиях и поездках в трех больших письмах. Не знаю, дошли ли они до Вас?

Если бы Вы меня сейчас увидели, то Вы, вероятно, не поверили бы своим глазам. Скоро месяц, как я уже не пью. Дал зарок, что не буду пить до октября. Все далось мне через тяжелый неврит и неврастению, но теперь и это кончилось. Изадора в сильном беспокойстве о Вас. При всех возможностях послать Вам денег, как казалось из Москвы, отсюда, оказывается, невозможно.

В субботу 15 июля мы летим в Париж. Оттуда через АРА сделать это легче.

В одном пакете, который был послан аэропланным сообщением через бюро Красина (Советское торгпредство), были вложены Вам два чека по 10 фунтов. Один Ирме, другой моей сестре. Получили ли Вы их?

Это мы сделали для того, чтобы узнать, можно ли Вам так пересылать. Вообще, что нужно.

Милый, милый Илья Ильич!

Со школой, конечно, в Европе Вы произведете фурор.

С нетерпением ждем Вашего приезда.

Особенно жду я, потому что Изадора ровно ни черта не понимает в практических делах, а мне очень больно смотреть на всю эту свору бандитов, которая окружает ее. Когда приедете, воздух немного проветрится.

К Вам у меня очень и очень большая просьба: с одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте ради бога денег моей сестре. Если нет у Вас, у отца Вашего или еще у кого-нибудь, то попросите Сашку и Мариенгофа, узнайте, сколько дают ей из магазина.

Это моя самая большая просьба. Потому что ей нужно учиться, а когда мы с Вами зальемся в Америку, то оттуда совсем будет невозможно помочь ей.

Самые лучшие пожелания и тысячу приветов

передайте Ирме. Нам кто-то здесь сбрехнул, что Вы обкомиссариатились?

Приезжайте. Отпразднуем. О том, чтобы Вы выезжали, Вам послана телеграмма. Ехать нужно в Берлин, а оттуда Вас доставят «заказным» в Париж, или Остенде.

Вот и все. Поговорим больше, когда увидимся.

Езжайте! Езжайте!

Дайте денег сестре. Возьмите у Мариенгофа адреса и много новых книг. Здесь скучно дьявольски.

Любящий Вас С. Есенин».

Два месяца Есенины-Дункан путешествовали. Они побывали в Любеке, Франкфурте, Вейпунге, Веймаре, Висбадене, посетили Венецию, Рим, Неаполь, Флоренцию.

Есенин продолжал работать над изданием своих прежних стихов, писал новые. Задумал и начал большие вещи — «Страну негодяев» и «Черного человека».

В Берлине, в издательстве З. И. Гржебина, вышли «Собрание стихов и поэм С. Есенина (т. 1)», «Пугачев» в «Русском универсальном издательстве» и «Стихи скандалиста» в издании И. Т. Благова.

Айседора рассказывала мне, что Есенин разговаривал в Веймаре шепотом, с благоговением взирая на свидетелей жизни великих поэтов, — старые грабы, мощно растущие среди молодых фруктовых деревьев. Долго смотрел на недописанную Гёте страничку, лежащую на его письменном столе.

Из Брюсселя Дункан и Есенин намеревались поехать в Париж, но неожиданно встретилось затруднение с визами. Дункан привыкла к тому, что любые консульства и посольства любезно и незамедлительно ставили в ее паспорте визы на въезд в их страны. Теперь все крайне осложнилось. Московские визы на паспорте Дункан, «красный» паспорт Есенина и газетный шум, сопровождавший их путешествие, пугали дипломатических представителей.

Наконец, в конце июля 1922 года при содействии друга Дункан, знаменитой французской актрисы Сесиль Сорель, Айседора и Есенин приехали в Париж, предупрежденные о недопустимости каких-либо политических выступлений. За ними был установлен полицейский надзор.

В октябре на гигантском пароходе «Париж» они отплыли из Гавра в Нью-Йорк.

10. «Остров слез». «Коммунизм является единственным выходом для мира!» Конная полиция в партере. «Железный Миргород». Кинозвезда Англии. Снова Париж. Есенин уезжает в Берлин. Автомобильная скачка с препятствиями. Отъезд в Москву

Люди, не видавшие никогда гигантских стимеров, пересекающих океан, пожалуй, удивятся, узнав, что на этих пароходах, высотою с многоэтажный дом, команда и обслуживающий персонал насчитывают до 700–800 человек. В каждом из трех классов имеются не только ресторан, бар и кафе, плавательные бассейны и кинозалы, но и дансинги, роскошная отделка которых увеличивается пропорционально стоимости проездных билетов. В первых двух классах существуют еще и концертные залы.

Целые улицы с ярко освещенными витринами магазинов. Стучат линотипные и типографские машины, печатая ежедневную газету. Мычат быки — рестораны должны иметь в пути свежее мясо. Взлетают теннисные и футбольные мячи, на верхней палубе есть даже самолет для желающих попасть в Нью-Йорк на 24 часа раньше. Каждую ночь все часы на пароходе переводятся на один час.

На стимере «Париж» Дункан и Есенин прибыли в Америку, но сразу сойти им на берег не удалось. Иммиграционный инспектор заявил, что ночь они должны провести в своей каюте, а утром проследовать на Эллис-Айленд («Остров слез») для проверки. Инспектор воздержался от каких бы то ни было объяснений и лишь случайно проговорился, что действует согласно инструкции из Вашингтона.

Дункан в белой фетровой шляпе, в красных, «русских», сапожках и в длинном плаще стояла под руку с Есениным на палубе, окруженная толпой пробравшихся сюда репортеров.

Есенин, заготовивший целую речь, молчал. А сказать он хотел (как сам потом рассказывал) о своей вере в то, что «душа России и душа Америки в состоянии понять одна другую и что они приехали рассказать о великих русских идеях и работать для сближения двух великих стран».

Американские журналисты остались верны себе: они наперебой задавали Дункан нелепые вопросы об ее танцах, о Москве, о Есенине, о визах, об отношении к американцам, и даже

— «как она выглядит, когда танцует». На это Айседора резонно ответила, что она не может этого сказать, ибо никогда не видела себя танцующей.

Обращаясь через головы репортеров к американцам, она сказала:

— Они задержали нас только потому, что мы приехали из Москвы, хотя американский консул в Париже, завизировавший наши паспорта, заверил нас, что никаких препятствий к въезду теперь не будет!

В то время как Есенин и Дункан сидели в своей каюте с перспективой очутиться утром на Эллис-Айленде, «Таймс» писала:

«Айседора Дункан задержана на Эллис-Айленде! Боги могут смеяться! Айседора Дункан, которой мир обязан созданием нового искусства танца, — зачислена в опаснейшие иммигранты!»

Утром стало известно, что от департамента труда, которому подчинялось иммиграционное бюро, не исходило никаких приказаний. Дункан и Есенину заявили, что приказ был дан министерством юстиции — «ввиду долгого пребывания Айседоры Дункан в Советской России». Подозревали, что она, «оказывая дружескую услугу Советскому правительству, привезла в Америку какие-то документы».

Про Эллис-Айленд Есенин писал после приезда из США в статье «Железный Миргород» в «Известиях»: «…когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напоминали мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

— Смотри, — сказал я спутнику, — это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу — и мы спасены.

Взяли с меня расписку не петь «Интернационал», как это я сделал в Берлине…».

После двухчасового допроса Есенин и Дункан были освобождены. Айседора заявила ожидавшим ее репортерам:

— Мне никогда не приходило в голову, что люди могут задавать такие невероятные вопросы!

Друзья Айседоры устроили дружескую встречу и банкет в отеле, где они поселились. Дункан была счастлива, с жаром делилась впечатлениями о Советской России и ни о чем другом не желала говорить. Ей не терпелось рассказать об этом всей Америке, как она выразилась. Репортеры вынуждены были записывать и фразу, которой она заканчивала каждое свое интервью:

— Коммунизм является единственным выходом для мира!

Три спектакля Дункан в «Карнеги-холл» прошли с большим успехом и благополучно заканчивались, несмотря на выступления Айседоры с речами о Советской России.

Но последствия сказались очень скоро. Начавшееся в Филадельфии турне приостановилось: мэр Индианополя испугался «большевистских речей» Айседоры и запретил ей въезд в город.

Юрок дал мэру от имени Дункан обязательство, что она не будет выступать с речами, но на первом же спектакле Айседора произнесла, как выразились местные газеты, «одну из своих наиболее ярких речей о коммунистической России».

Наутро репортеры сообщили Дункан, что ей навсегда запрещен въезд в Индианополь. И Дункан и Есенин равнодушно выслушали эту «сенсационную» новость. Но Юрок нервничал и предупредил Айседору, что первый, самый незначительный инцидент приведет к отмене турне.

В Милуоки он не допустил к ней корреспондентов и объявил, что Дункан никого не принимает, но на банкете, где чествовали ее и Есенина, она опять высказалась всласть.

В Бостоне ее выступление вызвало скандал. В партер была введена конная полиция. Вдобавок ко всему Есенин, открыв за сценой окно, собрал целую толпу бостонцев и с помощью какого-то добровольного переводчика рассказывал правду о жизни новой России.

Турне прекратилось. Но в Нью-Йорке Дункан продолжала выступать, и, как она и Есенин мне рассказывали, двенадцать раз после ее спектаклей, неизменно заканчивающихся «Интернационалом», «зеленая карета» отвозила Айседору в полицию. Правда, дело ограничивалось взятием с нее подписки о невыезде.

Но газеты взбесились, набрасываясь и на Дункан, и на Есенина. Они приписывали Есенину дебоши, которых не было, раздували в скандал каждое резкое высказывание Есенина, его недовольство американскими нравами и чувство разочарования, какое он испытывал в этой стране.

Есенин нервничал.

Была и еще одна причина «взрывчатого» состояния Есенина (об этом мне рассказывала Дункан): он считал, что Америка не приняла и не оценила его как поэта.

Если бы сейчас он был жив! И поехал бы в Америку… Он увидал бы, какой прием был бы теперь ему оказан, насколько там его теперь знают как поэта! А тогда сенсация была лишь в том, что мировая знаменитость Айседора Дункан приехала из «большевистской Москвы», да еще в сопровождении молодого

известного советского поэта, ставшего ее мужем.

В последующие годы вести об Есенине прорывались туда из удушливого тумана легенд и вздорных выдумок, окружавшего Есенина, развеять который удалось лишь значительно позже. Недавно на одном из кинофестивалей в Москве демонстрировался английский широкоэкранный цветной фильм «Айседора» с кинозвездой Ванессой Редгрейв в роли Дункан. Несмотря на старания режиссера втиснуть актрису в рамки легковесного и фантастического сценария, ее художественное чутье позволило ей в большой мере донести до зрителей образ Айседоры, добиваясь подчас и внешнего сходства. Я получил от Ванессы Редгрейв фотографии и письмо, в котором она пишет, что, к сожалению, лишь после съемок она смогла прочитать мою большую книгу «Айседора Дункан. Годы в России», изданную тогда через АПН в Лондоне и в Нью-Йорке на английском языке (но ей перевели отрывки из первого издания «Встреч с Есениным»).

Однако образ Есенина, одного из величайших лириков современья, искажен невероятно. Неужели создатели фильма не могли найти актера, хотя бы внешне похожего на Есенина, прекрасное лицо которого с его обаянием, детской улыбкой и синевой глаз любимо и знакомо сотням миллионов почитателей его поэзии?

Самым высшим наказанием для авторов фильма за такую дискредитацию было то, что у советских зрителей подобное искажение образа поэта вызывало не взрыв возмущения, а лишь веселый смех всего зрительного зала.

Советское посольство в Лондоне прислало в АПН свыше пятидесяти рецензий на книгу «Айседора Дункан. Годы в России» из газет и журналов Англии, Америки, Австралии, Новой Зеландии, из Голландии, Ирландии и Шотландии и даже из Африки — из Замбии и Танзании. Из этих рецензий видно, что теперь многим читателям за границей стал известен и понятен настоящий Есенин.

Речи Айседоры, газетный шум привели к тому, что Дункан была лишена американского гражданства — «за красную пропаганду». Ей и Есенину было предложено покинуть Соединенные Штаты.

Уезжая из Америки, Дункан заявила журналистам:

— Если бы я приехала в эту страну как большой финансист за займом, мне был бы оказан великолепный прием, но так как я приехала как признанная артистка, меня направили на «Остров слез» в качестве опасного человека и опасного революционера. Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся

революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня.

Эти ее слова были напечатаны в газетах наутро после отплытия Дункан и Есенина от берегов Америки.

А Есенин писал в «Известиях»:

«…Сила железобетона, громада зданий стиснули мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенные гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурнее страны, чем Америка.

— Слушайте, — говорил мне один американец, — я знаю Европу. Не спорьте со мной. Я изъездил всю Грецию, я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новее и лучше?

От таких слов смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю!..»

13 февраля одна из вечерних парижских газет напечатала заметку:

«Сегодня «Марди-Гра» («Марди-Гра» — «жирный вторник», масленица) была расстроена по двум причинам: первая — шел дождь, а вторая — исчезновение Айседоры Дункан. Ее поклонники надеялись, что ее приезд окажется светлым серебряным лучом в этом проклятии дождя, который на два дня окутал столицу Франции. Однако после своей высадки с «Джорджа Вашингтона» в Шербурге она укрылась где-то отшельником во Франции…»

Но Дункан и Есенин были уже в Париже.

В Париже Есенин много работал над сборником «Исповедь хулигана» (он вышел в переводе Ф. Элленсона и М. Милославской) и даже занимался английским.

Но его уже давно тянуло на Родину.

В Париже Есенин писал про «низенький» «родительский дом»:

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

И еще:

Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

А вскоре Айседора почувствовала себя больной.

Вызванная телеграммой из Лондона, Дести перевезла ее в отель «Резервуар» в Версале. Нервное напряжение во время турне по Америке, возмущение назойливостью и беспардонностью журналистов, раздувающих и раскрашивающих каждый шаг Есенина, каждый инцидент, связанный с его именем и именем Айседоры, — все это сказалось в Париже.

Айседора, окончательно разболевшаяся, решила послать Жанну сопровождать Есенина до Берлина, где у него оставались друзья и где было советское полпредство, которого во Франции еще не было. Все свои вещи она отправила с ним, надеясь выехать в Берлин, как только поправится, но температура все подымалась. Айседора совсем не могла спать… Ведь Есенин вынужденно покинул Францию.

А из Берлина сыпались телеграммы от Есенина. Наконец пришла такая:

«Изадора браунинг дарлинг Сергей любишь моя дарлинг скурри скурри».

Никто не понял бы эту телеграмму, текст которой приняли на берлинском почтамте, очевидно, за частный шифр.

Но Айседора быстро расшифровала одной ей понятный «код»: «Изадора! Браунинг убьет твоего дарлинг (дорогого) Сергея. Если любишь меня, моя дарлинг, приезжай скорей, скорей».

Заложив за 60 тысяч франков три принадлежащие ей картины Эжена Каррьера, ценность которых была во много раз выше, она выехала в Берлин.

Внезапный отъезд Есенина, разумеется, стал лакомой пищей для парижских газет, и потому последнее время Айседора категорически отказывалась принимать корреспондентов. Накануне назначенного отъезда она, поднимаясь со своим другом Мерфи в лифте к себе в номер, заметила притаившегося в углу кабины корреспондента. Продолжая разговаривать с Мерфи, она назвала его Сергеем, сделав знак Мерфи, чтобы тот принял участие в розыгрыше. Корреспондент навострил уши.

— Мисс Дункан, — обратился он к Дункан, понимающе и доверительно улыбаясь, — вы не откажетесь теперь признать, что Есенин все еще в Париже?

— Нет, нет! — с деланным испугом стала отрицать Айседора.

Корреспондент настаивал.

Айседора умолила журналиста зайти к ней переговорить и затолкнула Мерфи в ванную, шепнув ему, чтобы он изобразил какой-нибудь громоподобный шум.

Убеждая корреспондента в том, насколько ужасным оказалось бы появление в печати сообщения о пребывании Есенина в Париже, она с опаской поглядывала на ванную. Айседора цепко держала корреспондента за руку, когда грянул гром из ванной, но тот, клятвенно пообещав не рассказывать о происшедшем ни слова, вырвался и в страхе выбежал из номера.

— Я отомстила всем им за все их нелепые писания обо мне и Есенине! — кричала Айседора, задыхаясь от смеха.

Наутро корреспондент упивался сенсационным разоблачением, но через пару часов сел в лужу.

Путь из Парижа в Берлин не маленький, а тем более на машине. К тому же в автомобильных поездках Айседору Дункан как будто бы преследовал какой-то рок, они постоянно сопровождались авариями.

Она попала в автомобильную катастрофу между Псковом и Ленинградом; под Батуми мы чуть не свалились в пропасть; под Москвой застряли в лесу и т. д.

На этот раз машина довезла Айседору только до Страсбурга и благополучно сломалась. Следующая машина проехала еще меньше и стала. Третья машина на каждом шагу капризничала и, кроме того, была без фар. А дело было уже к вечеру.

Но Дункан все-таки нашла попутчика. Он мчался, как сумасшедший, а Дункан, любившая быструю езду, всю дорогу понукала его к еще большей скорости. Автомобилист, исполняя ее желание, летел сломя голову, сшиб барьер, поставленный посреди дороги, а затем врезался в кучу камней и, разнеся ее, катил как ни в чем не бывало дальше, глядя больше на Айседору, чем на летящий навстречу асфальт.

Наконец через два дня в 10 часов вечера машина подкатила к берлинскому «Аддон-отелю», пункту встречи с Есениным…

Едва машина остановилась — Есенин прыгнул через голову автомобилиста прямо в объятия Айседоры. Собралась толпа, но Айседора и Есенин ничего и никого не замечали.

В Берлине Айседора получила мою телеграмму. Я телеграфировал, чтобы она выезжала в Москву, Айседора была нам нужна: с помощью Николая Ильича Подвойского я организовал на одном из московских стадионов занятия с 600 детьми рабочих двух московских районов. Об этих занятиях «Правда» писала: «Дети школы Дункан, отказавшись от летнего отдыха ради 600 детей Замоскворецкого и Хамовнического районов, вели с ними ежедневные занятия на спортарене Красного стадиона.

Занятия эти дали блестящие результаты: дети, поступившие болезненными, хилыми и робкими, быстро начинали крепнуть,

смелеть, буквально перерождаться».

Дункан решила ехать, но ей зачем-то понадобилось вернуться в Париж.

Ведь знала, что у Есенина визы нет, что въезд во Францию ему невозможен, да еще прицепился к ним какой-то длинный русский поэт в красной рубахе, с всклоченными волосами и… с балалайкой. Но она провезла их. Правда, Есенин по дороге нечаянно раздавил в машине эту балалайку, но в Париж они прибыли.

Здесь снова начались неприятности. Ночной портье принимал никому не известных супругов Есениных, а утром управляющий, разобравшись, что Есенины — это «разрекламированные» газетами Есенины-Дункан, спешил сообщить Айседоре и Есенину, что занятые ими ночью комнаты сданы с 2 часов другим лицам.

Есенин был очень спокоен, насмешлив и так же, как Айседора, бессилен, памятуя о возможном вмешательстве полиции в случае справедливых возражений.

Для выезда в Москву нужны были деньги.

Айседора могла получить их у ростовщиков под заложенные ею картины Эжена Каррьера. Но ростовщик прятался от нее. Тогда она отправилась к владельцу художественного магазина, большому поклоннику ее искусства, и рассказала ему о заложенных картинах Каррьера. Тот купил их у Дункан по настоящей стоимости. Продана была также вся мебель из дома Айседоры на Rue de la Pompe, 103. (Когда я через несколько месяцев приехал в Париж, я нашел дом совершенно пустым.)

— Что мы будем сегодня есть? — весело спрашивала Айседора. — Эту софу или этот книжный шкаф?

— Я решила, — говорила мне потом Айседора в Москве, — уйти от всей этой сумбурной жизни и спрятаться с Есениным в мой маленький домик со студией, где я могла бы отдохнуть и приготовиться к большой работе в Москве.

Задолго до их отъезда в парижской газете «Эклер» появилась клеветническая статья писателя-эмигранта Мережковского об Есенине и Дункан. Еще до этого Айседора писала (в «Эклере», в «Нувель ревю» и в «Нью-Йорк геральд»):

«…Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудные. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, чтобы спасти свой разум, так как без России он жить не может. Я знаю, что очень много сердец будут молиться, чтобы этот великий поэт был спасен для того, чтобы и дальше творить Красоту…»

Отвечая Мережковскому, который в своей статье назвал

Есенина «пьяным мужиком» и обвинял Дункан в том, что она «продалась большевикам», Айседора писала: «…Во время войны я танцевала «Марсельезу», потому что считала, что эта дорога ведет к свободе. Теперь я танцую «Интернационал», потому что чувствую, что это гимн будущего человечества. Есенин — самый великий из живущих русских поэтов. Эдгар По, Верлен, Бодлер, Мусоргский, Достоевский, Гоголь — все они оставили творения бессмертного гения. Я хорошо понимаю, что господин Мережковский не мог бы жить с этими людьми, так как таланты всегда в страхе перед гениями.

Несмотря на это, я желаю господину Мережковскому спокойной старости в его буржуазном убежище и респектабельных похорон среди черных плюмажей катафальщиков и наемных плакальщиков в черных перчатках…»

Сделав все свои дела, наутро они должны были выезжать в Москву, а вечером пошли поужинать в ресторан «Шехерезада»…

Через несколько месяцев после возвращения Дункан и Есенина в Москву я проехал почти по всему их европейскому маршруту. Побывал и в этом парижском ресторане. Хозяева его — французы, а весь обслуживающий персонал — русские. Все официанты — бывшие царские и белогвардейские офицеры.

Когда Есенин и Дункан заканчивали ужин и мирно сидели под большим торшером, официант наклонился к нему:

— Вот, господин Есенин… Я флигель-адъютант свиты его императорского величества, а теперь вот — прислуживаю вам.

Есенин не терпел этих гвардейских лакеев и в ответ ему сказал что-то дерзкое. Произошел скандал. Есенину угрожали неприятности.

Утром Айседора поехала к мэру Парижа. Есенин был реабилитирован, и в тот же день они выехали в Москву.

Мери Дести писала в своей книге: «Когда поезд, увозивший Айседору и Сергея в Москву, тронулся от платформы парижского вокзала, они стояли с бледными лицами, как две маленькие потерянные души…» Нет, не потерялись эти души. Хотя Айседоре оставалось всего четыре года прожить в этом мире, а Есенину и того меньше — всего два с половиной, — и она создала за эти годы многое в своем искусстве, а для Есенина эти последние два с половиной года его жизни явились периодом невиданного взлета есенинской поэзии.

Самые вдохновенные его произведения написаны именно в этот период — более ста стихотворений, поэма «Анна Снегина» и другие.

Но сложная, противоречивая натура Есенина надломилась трагически. В своей так безжалостно короткой жизни он пришел к

чудовищной развязке…

И ведь видел, понимал, какой шумный и радостный поток новой жизни несется ему навстречу, а все же написал горькие строки в своем предсмертном стихотворении.

Есенин был человеком необыкновенной впечатлительности. Все его ранило, возбуждало, все могло овладеть им сразу, целиком. Потому он был так беззащитен и перед красотой, и перед чувством, и перед друзьями. Когда он встретился с Дзержинским, Феликс Эдмундович сказал ему:

— Как это вы так живете?

— А как? — спросил Есенин.

— Незащищенным! — ответил Дзержинский.

Да, он жил беззащитным, незащищенным…

Все это обязывает каждого человека, желающего по-настоящему понять Есенина, не брать его слишком прямолинейно, в лоб, грубо объясняя его поступки и высказывания. Есенина можно понять только в его стихах, ибо слова поэта — суть его дела, как говорил Пушкин.

11. Возвращение на Родину. Отъезд Дункан в Кисловодск. Есенин остается в Москве

Когда белые фартуки носильщиков рассыпались вдоль перрона цепочкой белых пятнышек, встречающие, как по команде, двинулись по платформе: поезд подходил к перрону.

Мы сразу увидели их. Есенин и Дункан, веселые, улыбающиеся, стояли в тамбуре вагона. Спустившись со ступенек на платформу, Айседора, мягко взяв Есенина за запястье, привлекла к себе и, наклонившись ко мне, серьезно сказала по-немецки: «Вот я привезла этого ребенка на его Родину, но у меня нет более ничего общего с ним…»

Но чувства оказались сильнее решений.

Школа отдыхала в Литвинове. Решено было ехать туда.

Раздобыли открытую легковую машину, и обе Дункан, Есенин и я отправились в Литвиново.

По дороге нам попалось коровье стадо. Есенин, увидав стадо, вытянул шею:

— Коровы…

Потом, оглядываясь на нас, быстро заговорил:

— А вот если бы не было коров? Россия — и без коров! Ну, нет! Без коровы нет деревни. А без деревни нельзя себе представить Россию.

Все шло благополучно, пока мы мчались по шоссе вдоль железной дороги, но, свернув на Литвиново, машина то и дело стала останавливаться на проселке и, наконец, въехав уже в сумерках в лес, села дифером на горб колеи, а затем и совсем отказалась двигаться дальше. Стемнело окончательно. До Литвинова оставалось около трех километров, и я предложил идти пешком. Так и сделали. Идти в темноте было трудно. Неожиданно далеко впереди забрезжили какие-то розовые отблески, резко обозначились черные стволы деревьев.

Это розовое сиянье быстро надвигалось на нас и вдруг прорезало лесную тьму языками пламени, перебегавшими и плясавшими в руках невидимых гномов, несомненно несших в хрустальном гробу Белоснежку… Факелы приближались и, внезапно ринувшись прямо на нас, образовали огненный круг, шумевший, и кричавший, и осветивший радостные лица и сияющие глаза «дунканят» в их красных туниках и со смоляными факелами в руках. Они направились навстречу нам, обеспокоенные долгим отсутствием машины, везшей к ним их Айседору.

А она, как завороженная, смотрела расширившимися, счастливыми глазами на этих загорелых эльфов, окруживших ее в ночном лесу Подмосковья.

Как было хорошо идти всем вместе до Литвинова, войти в просторный дом, убранный пахучими березовыми лозами, сесть за стол, украшенный гирляндами полевых цветов, сплетенными детьми. Как хорошо было утром, когда мы не дачи долго спать Айседоре и Есенину: потащили их в парк.

Взволнованно смотрела Айседора на танцующих детей, по-детски радовался их успехам Есенин, хлопал руками по коленкам и заливаясь удивленным смехом.

В Литвинове мы прожили несколько дней. Есенин и Дункан рассказывали о своей поездке. Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать.

Когда рассказывали о первом посещении берлинского Дома искусств в «Кафе Леон», Айседора вдруг, восторженно глядя на Есенина, воскликнула:

— Он коммунист!

Есенин усмехнулся:

— Даже больше…

— Что? — переспросил я.

— В Берлине, в автобиографии, написал, что я «гораздо левее» коммунистов… Эк хватил! А вступлю обязательно!

Каждый день Есенин с удовольствием присутствовал на уроке танца, который Ирма устраивала на зеленой лужайке возле дома. Иногда уходили далеко гулять, возвращались голодные, как волки.

Начались дожди. На дорожках вытянулись, затопив все вокруг, огромные желтые лужи; настроение сразу упало. Иногда казалось, сейчас посветлеет, вырвется из туч золотой шар и зажжет на деревьях зеленые искры, но дождь затянул косой сеткой парк, белые развалины барского дома, серые сараи и намокшие, потемневшие крыши деревенских изб. Через три дня мы с зонтами молча усаживались в раздобытые экипажи, чтобы ехать на станцию.

Но в сухом, светлом и теплом вагоне все снова ожили и проговорили до самой Москвы. Радостные, оживленные, вернулись Дункан и Есенин на Пречистенку. Казалось, ничто не предвещало бурю.

Но случилось так, что через несколько дней между Есениным и Дункан произошла размолвка. Есенин исчез.

Айседора затихла и безропотно подчинилась взбунтовавшейся Ирме, которая настойчиво потребовала от меня, чтобы мы втроем немедленно отправились в Кисловодск:

«Айседора серьезно больна, и ей необходимо курортное лечение».

Потрескивали ремни и хлопали сундучные крышки — Ирма хозяйничала, собирая Айседору в дорогу.

Айседора была обижена на Есенина. Ею опять овладела мысль о неизбежном конце их отношений…

Я объявил «моим дамам», что смогу выехать в Кисловодск только через три дня, а они вдвоем выедут в Минеральные Воды завтра к вечеру скорым поездом. Сам я был занят мыслью: как и где разыскать Есенина? Не знаю, было ли это сентиментальностью или отзвуком чего-то пережитого, но я буквально страдал в этот вечер за Есенина, представляя, что он почувствует, явившись через несколько дней, найдя комнаты опустевшими и узнав, что Айседора где-то на Кавказе. Но главное было в другом: ведь Есенина, собственно говоря, не уберегли…

Мы, люди, жившие так близко рядом с Есениным, мы, конечно, понимали, что он большой, выдающийся поэт, но всего величия Есенина, всего его будущего значения для всей русской литературы мы еще не осознавали. Повторяю: слишком близко общались с ним, а «большое видится на расстоянии»… Но интуитивно не только такие рядовые люди, как я, но и такие, как Маяковский, всегда старались как-то оградить его, уберечь… Так же было и в этом случае.

Я попросил дворника, швейцара и завхоза помочь мне и разослал их во все места, где только мог быть Есенин, дав задание во что бы то ни стало привезти его. Дамы ничего об этом не знали и продолжали укладываться. Ирма заявила мне, что, если Есенин и появится, Айседора не должна его видеть. Айседора молчала, по-видимому, соглашаясь и с этим тяжелым требованием.

Первым возвратился дворник Филипп Сергеевич, имевший почему-то обыкновение разговаривать со мной, присев на корточки и подперев лицо кулаками:

— Нашел… Тверезый… — и, опустившись на корточки, удовлетворенно добавил: — Сейчас будут, — после чего последовал длинный выход и устремленный на меня снизу вверх выжидательный взгляд.

Я пошел посмотреть, что делает Айседора, но едва я вошел в ее комнату, как кто-то прибежал с сообщением о том, что приехал Есенин.

Айседора метнулась в комнату Ирмы, и та тотчас же заперла за ней дверь. Но она забыла о двери из «гобеленового коридора».

Я встретил Есенина в вестибюле. Он выглядел взволнованным.

— Айседора уезжает, — сказал я ему.

— Куда? — нервно встрепенулся он.

— Совсем… от вас.

— Куда она хочет ехать?

— В Кисловодск.

— Я хочу к ней.

— Идемте.

Я тихо нажал бронзовую ручку и так же тихо отворил дверь. Айседора сидела на полукруглом диване, спиной к нам.

Она не услыхала, как мы вошли в комнату.

Есенин тихо подошел сзади и, опершись о полочку на спинке дивана, наклонился к Дункан.

— Я тебя очень люблю, Изадора… очень люблю, — с хрипотцой прошептал он.

… Было решено, что Есенин поедет в Кисловодск вместе со мной через три дня. Ему были предъявлены «твердые требования»: ночевать эти дни здесь, на Пречистенке. Он принял их, не задумываясь, беспечно улыбаясь и не сводя с Айседоры радостных глаз:

— Завтра проводим вас в Кисловодск, а там и мы с Ильей Ильичем подъедем!

На другой день мы с Есениным проводили Айседору и Ирму в Кисловодск. Айседора собиралась выступить в Минеральных Водах, а потом совершить небольшое турне по Закавказью.

В первый вечер Есенин в самом деле рано вернулся домой, рассказывал мне о непорядках в «Лавке писателей», ругал своего издателя, прошелся с грустным лицом по комнате, где все напоминало об Айседоре, поговорил со мной и о деле, владевшем его мыслями: он считал крайне необходимым, чтобы поэты сами издавали собственный журнал.

На следующий день прибежал в возбужденном состоянии и объявил:

— Ехать не могу! Остаюсь в Москве! Такие большие дела! Меня вызвали в Кремль, дают деньги на издание журнала!

Он суматошно метался от ящиков стола к чемоданам:

— Такие большие дела! Изадоре я напишу. Объясню. А как только налажу все, приеду туда к вам!

Вечером он опять не пришел, а ночью вернулся с целой компанией, которая к утру исчезла вместе с Есениным, сильно облегчившим свои чемоданы: он щедро раздавал случайным спутникам все, что попадало под руку.

На следующий день Есенин пришел проститься — чемоданы были почему-то обвязаны веревками…

— Жить тут один не буду. Перееду обратно в Богословский, — ответил он на мой вопрошающий взгляд.

— А что за веревки? Куда девались ремни?
— А черт их знает! Кто-то снял.
И он ушел. Почти навсегда.
Вечером я уехал в Кисловодск.

12. «Персидская деревня». Был ли Есенин в Персии и была ли Шаганэ в Баку? Есенин-прокурор. На тройке с Шаганэ. Иркутская находка. Письмо Есенина. Тифлисские «пластички». Жестокая телеграмма. Галина Бениславская. Разрыв

В Пятигорске Айседора спросила меня: будет ли концерт ее там, где убит русский поэт Лермонтов? Очевидно, Есенин говорил с ней о Лермонтове. Дункан плохо знала русскую поэзию.

Концерт в Пятигорске, разумеется, стоял в плане ее гастролей в Минеральных Водах. Она выступала повсюду в Шестой симфонии, но в Пятигорске изменила программу, сказав, что будет танцевать там «Неоконченную симфонию» Шуберта.

Причину своего желания она так и не объяснила, но в день концерта в Пятигорске была очень грустна, жалела, что не успеет съездить на место дуэли, расспрашивала меня о Лермонтове, много говорила о Есенине. Танцевала она «Неоконченную симфонию», которую я тогда впервые увидел, с большим настроением и необычайно лирично.

Из Кисловодска мы выехали в Баку.

Баку очень понравился Айседоре. Наэлектризованная стремлением Есенина «в Персию», она хотела как можно больше «экзотики». И я легко удовлетворил это ее желание, наняв извозчика до Шиховой деревни, ничем не отличавшейся от деревушки в соседнем Иранском Азербайджане. Деревня ей настолько понравилась, что она стала ездить туда каждый день.

Это было не очень приятное путешествие — на извозчике, мимо раскаленных и зарывшихся в песок голых тюркских кладбищ, но Айседора буквально наслаждалась видом слепых домиков, узких улочек и необыкновенной тишиной этой, казалось, совсем безлюдной «персидской деревни». Иногда, по дороге в Персию, мы спускались к совершенно голубому куску Каспийского моря. Купив у старого рыбака арбуз, мы устраивались на берегу и, разбив арбуз о камень, с наслаждением вгрызались в источавшую свежесть яркую, сочную и сладкую мякоть.

Позднее, в Москве, в тяжелый период любви Есенина и Дункан, мы как-то рассказывали Есенину об этих наших поездках в «персидскую деревню». Я где-то читал о том, что Есенин, вероятно, побывал в Персии, и притом не один раз, а дважды…

Скорее всего Есенин в Баку вспомнил наши рассказы и захотел увидеть так близко расположенную «Персию». Может, и в самом деле он не один раз ездил в Шихову деревню.

В чрезвычайно интересных воспоминаниях народного артиста СССР В. И. Качалова о Сергее Есенине Василий Иванович пишет, что еще при первых его встречах с поэтом весной 1925 года в Москве Есенин «рассказывал и вспоминал о Тегеране». В рассказах о встречах с Есениным летом того же года в Баку опять говорится о том, что Есенин «должен был улететь в Тегеран». И, наконец, в середине лета Василий Иванович снова видится с Есениным в Москве и пишет, что «он уже «слетал» в Тегеран и вернулся в Москву».

Слово «слетал» Качалов берет в кавычки. Почему? Видно, у него были какие-то сомнения по этому поводу. Есенин всегда стремился на родину великих поэтов. «Там ведь родились все лучшие персидские лирики», — пишет он 8 апреля 1925 года из Баку.

Но никогда в Персии Есенин так и не побывал. Баку действительно все сделал, чтобы поездка эта осуществилась, но С. М. Киров, возглавлявший тогда ЦК Азербайджана, отсоветовал Есенину ехать. Говорили, что Сергей Миронович сказал Есенину: «В Европе возле вас был близкий человек, а тут вы будете один…» — и упомянул о трагическом конце Грибоедова в Персии.

И все же Есенин имел представление о Персии не только по рассказам брата П. И. Чагина, работавшего одно время в советском посольстве в Тегеране, но, по-видимому, и по некоторым «личным впечатлениям».

П. И. Чагин познакомился с Есениным в феврале 1924 года в квартире народного артиста В. И. Качалова. В то время он был вторым секретарем ЦК Азербайджана и редактором газеты «Бакинский рабочий», на страницах которой впервые были опубликованы многие стихи Есенина.

Чагин и помог Есенину иметь представление о Персии по «личным впечатлениям» — об этом он написал в газете «Приокская правда» (Рязань, 1958 г., № 118): «Поехали на дачу в Мардакянах под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал только что начавшиеся печатаньем стихотворения из цикла «Персидские мотивы».

Киров, человек огромного эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в

Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, которые его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай же. Чего не хватит — довообразит…»

…И вот уже на следующий день я такую иллюзию создал. Поселил его на одной из лучших бывших ханских дач с огромным садом, фонтанами и всяческими восточными затейливостями — ни дать ни взять Персия! Жил Сергей Александрович на этой даче, говоря его же словами, «как некий хан», но у него и в обстановке созданной ему иллюзии Персии не выходило из головы и сердца родное, рязанское.

В своих воспоминаниях В. И. Качалов рассказывает об одном визите к нему в гостиницу в Баку:

«Приходит молодая, миловидная, смуглая девушка и спрашивает: «Вы Качалов?» — «Качалов», — отвечаю. «Один приехали?» — «Нет, с театром». — «А больше никого не привезли?» — Недоумеваю: «Жена, — говорю, — со мной, товарищи». — «А Джима нет с вами?» — почти воскликнула. «Нет, — говорю, — Джим в Москве остался». — «А-яй, как будет убит Есенин, он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: «Вы не знаете, что это за собака! Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу — и буду здоров, буду с ним купаться в море». Девушка отошла от меня огорченная: «Ну что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима».

Как выяснилось потом, это была та самая Шаганэ, персианка…»

Это безусловная ошибка: Шаганэ Нерсесовна Тальян познакомилась с Есениным зимой 1924 года в Батуми. В Баку во время пребывания там Есенина она не была, что подтверждается ее собственными воспоминаниями, в которых она говорит: «В конце января 1925 года Сергей Есенин уехал из Батуми, и с тех пор мы не встречались с ним».

Здесь небезынтересно было бы остановиться на трех моментах пребывания Есенина в этот период в Батуми и в Баку. Ялтинский житель, страстный почитатель поэзии Есенина И. А. Синеокий, собравший уникальную есенинскую коллекцию, сообщил мне о том, что ему написала старейшая жительница Батуми, литературный работник А. А. Лаппо-Старженецкая, встречавшаяся там с Есениным в 1924 и 1925 годах: «В конце января в местном театре был организован суд над футуристами. На нем должен был выступить обвинителем Есенин… Его ждали, но он долго не появлялся. Когда же иссякло терпение и выступающих, и публики, раздались быстрые и четкие шаги

Есенина между рядами кресел. Перепрыгнув через рампу, Сергей Александрович стал по левую сторону сцены против футуристов. Быстро и молча вытащил из-за пазухи маленькую собачонку, поставил ее прямо против футуристов. Собачка несколько раз пронзительно тявкнула прямо на «подсудимых», и Сергей Александрович тут же подхватил ее… Занавес поспешно задернули. В публике раздался смех, аплодисменты. Есенин тут же вышел тем же путем и так же поспешно, как вошел». (Это сообщение несколько расходится с другими сведениями, согласно которым Есенин должен был выступить на литературном суде не обвинителем, а свидетелем защиты (?!). Об этом говорится в объявлении, напечатанном в батумской газете «Трудовой Батум» 10 декабря 1924 года.)

Второй эпизод из пребывания Есенина в Батуми связан с Шаганэ. Под Батуми есть небольшое местечко Ахалшени, где Есенин как-то выступил в тесном кругу его почитателей, организовавших потом и ужин.

В середине января в Батуми выпал глубокий снег, которого там не видели уже в течение десятков лет. Саней в Батуми нет. Извозчикам же на колесах ездить было невозможно. Однако к дому, где жила Шаганэ, вдруг подъехала пролетка. Извозчик вошел в дом и сообщил, что ее ждут в доме у друга Есенина, Повицкого, на Вознесенской улице, дом 9 (теперь № 11), куда ему приказано срочно доставить Шаганэ. Она поехала и застала там Есенина, возбужденного и радовавшегося выпавшему снегу.

Оказалось, что один из друзей, принимавших Есенина в Ахалшени, устроил ему сюрприз: когда выпал снег, он решил прокатить Есенина в субтропическом Батуми на… тройке; лошадей сколько угодно, но саней и в глаза не видывали… С помощью знающих людей-консультантов столяры и плотники в Ахалшени срочно сколотили по заказу подобие саней, и тройка подкатила к дому Повицкого (сейчас там установлены две мемориальные доски с надписями на русском и грузинском языках о том, что в этом доме в декабре 1924 года и в январе 1925 года жил великий русский поэт Сергей Есенин).

Есенин и Шаганэ прокатились на тройке до Зеленого мыса (9 километров) и обратно.

Обо всем этом рассказал мне со слов самой Шаганэ Нерсесовны Тальян батумский экскурсовод В. М. Максимович, посетивший ее в конце 1971 года в Ереване.

1 марта 1925 года Есенин вернулся в Москву, пробыв недолго в феврале в Баку. Это короткое пребывание Есенина в Баку оставило драгоценный след, лишь совсем недавно мною обнаруженный.

Клуб книголюбов «Прометей» в городе Братске пригласил меня в гости в их легендарный город с тем, чтобы заодно выступить там с воспоминаниями о Сергее Есенине. Иркутская организация общества «Знание» прислала в Москву соответствующую заявку, и вот ТУ-104 доставил меня за шесть часов полета в Иркутск. Хотя я покинул Москву в 8 часов вечера, но, летя навстречу восходящему солнцу, я, минуя ночь, сразу оказался ранним утром в Иркутске. Еще 50 минут полета другим самолетом, и передо мной раскинулось Братское море и предстала чудо-плотина Братской ГЭС.

Неделя, проведенная в Братске, дарила мне каждодневно множество впечатлений, но об этом уже столько написано поэтами, писателями и журналистами. Я же хочу рассказать о той нечаянной радости, которая ждала меня в Иркутске, когда я возвратился туда из Братска.

После моего выступления в одном из институтов Академгородка ко мне подошла школьница, тоненькая и высокая девочка-подросток, которая, волнуясь, сбивчиво рассказала, что в Иркутске живет женщина, у которой хранится под стеклом неизвестное стихотворение Сергея Есенина, написанное им в Баку. У меня забилось сердце, но я еще боялся поверить услышанному. Слишком много бывало подобных ошибок и горьких разочарований. Однако мать девочки, сотрудница института О. П. Радченко, подтвердила мне сообщение Оли.

К великому сожалению, та, которой Есенин написал это доселе неизвестное стихотворение, была тогда серьезно больна, ее родные не могли допустить встречи с ней, так как врачи категорически предписали: никаких волнений, никаких разговоров, встреча возможна только через несколько месяцев. Как ни печально, но это было так.

Конечно, будущая встреча с самой Еленой Степановной Хмельницкой, долгое время работавшей литературным редактором, даст недостающие звенья, воскресит малейшие, одной ей известные детали истории этого стихотворения Сергея Есенина, наконец, она сама, очевидно, напишет обо всем этом, а пока вот что я узнал от дочери Елены Степановны, Веры Иосифовны, от О. П. Радченко и Оли. Зимой 1925 года в Баку выдался редкий для города холодный день. На рассвете даже выпал невиданный в Баку снег. Дворник дома, расположенного около рынка, выйдя ранним утром подмести тротуар и мостовую, заметил на безлюдном еще рынке хорошо одетого человека, который, по-видимому, собирался не то присесть, не то прикорнуть на одном из пустовавших рыночных прилавков…

Подойдя к этому человеку в сопровождении двух веселых

щенят, дворник предложил ему зайти обогреться к нему в дом, где жена его напоит незнакомца горячим чаем. Тот сразу согласился, стал играть с щенятами, а потом, засунув их в свои карманы, пошел к указанной дворником двери, но, перепутав, толкнул другую дверь, за которой увидал совсем молоденькую красивую девушку с большими черными глазами. Рядом с ней стояла женщина. Обе они сразу узнали в вошедшем Есенина, так как старшая из них была вхожа в редакцию «Бакинского рабочего», где как-то состоялась встреча с Сергеем Есениным и куда она привела с собой эту черноглазую Лелю Селиванову.

Хотя женщины были невероятно поражены неожиданным появлением в их доме Есенина, они не растерялись, предложили ему садиться и выпить чаю. Есенин, присев к столу и смущенно улыбаясь, объяснил, что он был у кого-то, где не остался ночевать, потом, также смущаясь, вытащил из карманов щенят, дал полюбоваться кутятами и, засунув их обратно в карманы, стал пить чай. Продолжая улыбаться, он все время старался заглянуть в глаза Леле. Она смущенно каждый раз отворачивалась.

Есенин пробыл у них недолго, каких-нибудь 15–20 минут. Уходя, он опять пытался заглянуть в глаза девушки, все так же избегавшей его взгляда. Тогда он взял клочок бумаги и написал на нем:

Весенней девочке Леле

Еще девочка ты, дочь степей,
Незнакомая с жизненным ядом,
Потому-то и хочется мне
Твоего недозрелого взгляда.
Ты не смотришь, не нравлюсь, ну что ж…
Я отцветший, я ворон осенний,
Но тому, в ком ты вызовешь дрожь,
Позавидую в позднем волненьи.

С. Есенин

Когда Оля принесла мне в гостиницу «Ангара» эти строки, переписанные ее детским почерком на листке из школьной тетради, все мои сомненья отпали. Это были есенинские строки, посвященные Е. С. Хмельницкой, когда она еще была Лелей Селивановой. Пожелаем ей здоровья и поблагодарим за то, что она почти полвека сохраняла и сберегла драгоценный есенинский

экспромт.

Из Баку мы уехали в Тифлис. В коридоре вагона ко мне подошел какой-то человек и, стараясь перекричать вагонный шум, спросил:

— Правда ли, что в этом вагоне едет Айседора Дункан? У меня к ней письмо от Есенина. Случайно услыхав, что я еду на Кавказ, тут же написал и просил передать ей, сказав, что «Дункан где-то на Кавказе», — объяснил он.

Это было похоже на Есенина.

Есенин писал все то, что сказал перед моим отъездом из Москвы, и закончил письмо обещанием приехать в Крым, если Айседора там будет. Дункан долго всматривалась в строки, набросанные своеобразным почерком Есенина:

— Crimee?

Вечером снова повторила «Crimee»… и добавила: «Зачем он остался в Москве?..»

Она достала еще одно, ранее полученное письмо Есенина и долго всматривалась в него. Вот строки из этого письма:

> «Дорогая Изадора! Я очень занят книжными делами, приехать не могу.
>
> …Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью тебе.
>
> С Пречистенки я съехал, сперва к Колобову, сейчас переезжаю на другую квартиру, которую покупаем вместе с Мариенгофом…
>
> Желаю успеха и здоровья и поменьше пить.
>
> Привет Ирме и Илье Ильичу.
>
> Любящий С. Есенин.
>
> 29. VIII—23 г. Москва».

Но слово «Крым» цепко засело в памяти Айседоры и в дальнейшем сломало и перевернуло весь наш маршрут.

Крушение своего плана с журналом Есенин перенес болезненно. Очевидно, всерьез рассчитывал на журнал. Все это сильно осложнило его психическое состояние. С того лета, проведенного в душной, опустевшей Москве, Есенин как-то заметно сдал…

А мы тем временем ехали в Тифлис.

Спектакли Дункан в Тифлисе горячо принимались экспансивными и музыкальными грузинскими зрителями.

Но Дункан беспокоилась:

— Я вижу днем на улице очень много мужчин, ничем, должно быть, не занятых. Но мы проезжали мимо множества фабрик и заводов. Здесь много рабочих. Я хочу знать, есть ли они в

зрительном зале на моих выступлениях?

Меня заверили в Наркомпросе, что рабочий зритель посетил спектакли Дункан. Впрочем, это можно было наблюдать и непосредственно в театре и понять по приему, оказанному публикой, в особенности в «Славянском марше» и «Интернационале». Пришлось продлить спектакли.

Но особенно неистовствовали великовозрастные ученицы Тифлисской «пластической студии». Директор студии приезжал несколько раз в «Ориант», приглашал Дункан посетить студию, но Айседора под различными предлогами отказывалась.

«Пластические» школы и студии, во множестве расплодившиеся в России еще до революции, усвоили от Дункан лишь «босоножье», хитоны и туники, «серьезную музыку», ковер и сукна и забыли о главном — об естестве движения, его простоте, правдивости и выразительности, подменив их слащавостью, аффектацией и ложным пафосом.

Естественно, что Дункан отвергала таких «последовательниц». Она считала, что тело, жесты, движения могут с большой силой выражать всю глубину и разнообразие человеческих чувств и переживаний. Вернуть телу его права, сделать его выразителем тончайших душевных волнений — вот главное. Отсюда и легкий костюм, и отсутствие обуви.

Все то, что служило Айседоре Дункан лишь средством выражения идеи, стало самоцелью не только в российских «пластических» школах и студиях (которые в наше время, к счастью, почти себя изжили), но и в Европе и особенно в Америке.

Директор Тифлисской студии пластического танца буквально одолел меня просьбами, я сдался и уговорил Айседору поехать.

Еще в вестибюле нас встретила руководительница, гости, девушки-ученицы, преподнесшие Айседоре с реверансом огромный букет белых роз. Нас усадили в первом ряду партера, на эстраду вышли и расположились в шахматном порядке великовозрастные и весьма оголенные ученицы. Показ начался «Вальсом» Сибелиуса.

После первых же движений, не имевших никакой внутренней связи с грустной музыкой Сибелиуса, Айседора подтолкнула меня локтем:

— Почему?

Я прошептал что-то, пытаясь предотвратить назревающий скандал, так как хорошо знал Айседору, но она уже поднялась со своего кресла и, повторив еще раз свой вопрос, повернулась лицом к публике и руководителям.

— За что вы мучаете этих бедных девушек? — с гневом и печалью сказала она. — Чему вы их учите? Что говорят вам эти

механические и бесстрастные движения? Они не только не выражают эту музыку, они не выражают ничего вообще. Мне невыразимо грустно от того, что я сейчас увидела…

Она подошла к эстраде с букетом белых роз и положила его у ног одной из учениц.

— Я кладу эти цветы на могилу моих надежд… — сказала Айседора и направилась к выходу.

Поднялась буря. Зрители повскакивали с мест. Мне пришлось остановиться и «защищать тыл»… Айседора и Ирма вышли в вестибюль. Вслед им раздались пронзительные свистки и крики «пап и мам» учениц. Жена директора превратилась в соляной столб, а он сам — в пылающий факел. Я остановил в дверях ринувшуюся в вестибюль толпу:

— Вы только что встречали Дункан аплодисментами, а теперь провожаете ее свистками за то, что она осталась верной своим принципам и убеждениям, за которые вы ее приветствовали!

Это охладило пыл. Обе Дункан успели выйти на улицу и сесть в ожидавшую нас машину. К ним присоединились я и «факел», горевший и молчавший всю дорогу. Когда мы простились с ним, извинившись за доставленную ему неприятность (воображаю, какую динамическую сцену выдержал он потом от своей «пластической» жены), и поднимались по лестнице гостиницы, Ирма сказала:

— Я заранее знала, что этим кончится…

— Почему же ты не сказала об этом раньше? — возмутился я.

— Вы все так настаивали, — улыбнулась она.

Айседора молчала, погруженная в свои мысли и печальная.

Из Батуми я отправил «передового» организовать гастроли Дункан по маршруту Новороссийск — Краснодар — Ростов-на-Дону, откуда мы должны были выехать прямо в Москву.

А пока предстояло совершить путь от Батуми до Новороссийска на небольшом пароходике «Игнатий Сергеев».

Айседора, поднявшись по трапу, поинтересовалась, куда идет этот пароход. Услыхав, что его путь лежит через Крым, на Одессу, категорически заявила, что никуда отсюда не уйдет, пока не доедет до Крыма. Оказалось, что мечтой ее жизни всегда был Крым, и, если пароход этот идет в Крым, «было бы глупо и непростительно не проехать туда».

Я убеждал, что гастроли в Новороссийске и Краснодаре уже объявлены, но на нее это не подействовало.

— Кроме того, — заявила она, — Есенин написал мне, что приедет, если я буду в Крыму!

На этом переговоры и закончились. Я уже знал, что они окажутся бесполезными, раз есть надежда на приезд Есенина.

Крым встретил нас нудным осенним дождиком…

— Кто же приезжает в Крым в октябре? — возмутился я.

Но Айседора не унывала, уверяя, что и погода будет, и Есенин приедет, и гастроли отменим.

Я послал телеграмму об отмене спектаклей. Телеграфировал в Москву, в школу, что находимся в Ялте. Такую же телеграмму отправил от Айседоры Есенину.

Холод и дождь не прекращались. На другой день вечером мы после ужина возвращались промокшие в гостиницу. В холле портье подал мне две телеграммы. Одна была адресована Дункан. Я вскрывал ее почту. Вскрыл:

«Писем, телеграмм Есенину больше не шлите. Он со мной. К вам не вернется никогда. Галина Бениславская».

— Что за телеграмма? — спросила Айседора.

— Из школы.

— Почему две?

— Посланы одна за другой.

Поднимаясь по лестнице, она опять спросила о телеграммах.

— Ничего особенного, — успокоил я.

Но немного погодя она зашла ко мне в комнату. Ее интуиция действовала безошибочно — полученные телеграммы вызывали в ней какую-то необъяснимую тревогу.

Утро встретило нас солнечной ялтинской погодой. Ирма уговорила меня сказать Айседоре о странной телеграмме не известной никому из нас Галины Бениславской.

Айседора была ранена этой телеграммой, но сделала вид, будто не приняла ее всерьез. Я сказал ей, что уже телеграфировал в Москву моему заместителю и просил выяснить, известно ли Сергею содержание неожиданной телеграммы.

Днем мы вышли с Айседорой на набережную Ялты. Я чувствовал, что Айседора всячески хочет отвлечься от мучившей ее жестокой телеграммы. Но это не получалось, и вскоре мы повернули к гостинице.

— Как вы думаете, — спросила она, — может быть уже ответ на вашу телеграмму?

— К вечеру будет…

Заговорили о другом…

— А вы уверены, что это так? — вдруг спросила Айседора, прервав отвлеченный разговор, затеянный мною. Увидав мое недоумевающее лицо, смутилась:

— Я говорю об ответе на вашу телеграмму… Будет ли она к вечеру?

Но телеграмма уже ждала нас: «Содержание телеграммы Сергею известно…»

Айседора медленно поднялась по лестнице. Увидав Ирму, пошепталась с ней, и обе склонились, как заговорщики, над листом бумаги. Вскоре Айседора, вопросительно глядя на меня, протянула составленную ими телеграмму:

«Москва, Есенину. Петровка. Богословский. Дом Бахрушина.

Получила телеграмму должно быть твоей прислуги Бениславской пишет чтобы письма телеграммы на Богословский больше не посылать разве переменил адрес прошу объяснить телеграммой очень люблю Изадора».

Ответ мы не получили, так как на другой же день, 12 октября, выехали в Москву.

Много лет спустя я узнал, что Есенин все же ответил на телеграмму Айседоры.

На листке бумаги карандашом он стал набрасывать ответ: «Я говорил еще в Париже, что в России уйду, ты меня озлобила, люблю тебя, но жить с тобой не буду, сейчас я женат и счастлив, тебе желаю того же, Есенин».

Бениславская в своем дневнике писала, что Есенин дал ей прочитать эту телеграмму. Она заметила, что «если кончать, то лучше не упоминать о любви» и т. п. Есенин перевернул листок и на обороте написал синим карандашом: «Я люблю другую, женат и счастлив…» — и крупными печатными буквами подписал: «Есенин».

Я думал, что Айседора не получила этой телеграммы, потому что она никогда не была отправлена, но к перепечатанному на машинке тексту Есенина была приклеена квитанция об отправке 13 октября в Ялту телеграммы стоимостью 439 р. 50 к. (денежные знаки тех дней). Бениславская вспоминает также о том, как все смеялись над ее телеграммой к Дункан, но «такой вызывающий тон», пишет она, был совсем не в ее духе, все это было лишь «отпугивание и только…»

Кто же такая Галина Бениславская?

Это имя мне довелось прочитать вторично лишь годы спустя, когда ни Есенина, ни Дункан, ни Галины уже не было в живых.

Однажды зимой меня попросили помочь в организации похорон на Ваганьковском кладбище.

После похорон я побрел по расчищенным дорожкам. Неожиданно мне бросилась в глаза надпись на белой дощечке, прикрепленной к высокому массивному чугунному кресту (могила была ограждена такими же мрачными чугунными брусьями):

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Я никогда не мог заставить себя пойти к этой могиле.

Потрясенный самоубийством Есенина, я был не в состоянии выехать из Минска, где проходили гастроли, даже на его похороны. Теперь я рванулся к могиле, провалился в сугроб и ухватился за чугунную ограду соседней могилы, повторявшей в уменьшенных размерах все мрачное оформление могилы Сергея Есенина. На белой дощечке — черная надпись:

ГАЛЯ БЕНИСЛАВСКАЯ

Эта девушка, умная и глубокая, любила Есенина преданно и беззаветно. Есенин отвечал большим дружеским чувством.

Есенин встретился с Бениславской еще до знакомства с Дункан, но никогда не говорил нам о ней. Она же молча пережила весь роман и брак с Дункан и отъезд за границу. Когда Дункан уехала на Кавказ, Есенин (он неверно мне сказал: «Перееду обратно в Богословский») поселился в ее комнате в Брюсовском переулке и даже перевез туда своих сестер Катю и Шуру.

В последние годы жизни Есенина Бениславская, работавшая до этого секретарем газеты «Беднота», целиком посвятила себя издательским делам Есенина.

Сохранилась их большая переписка. Приведу несколько выдержек из писем Есенина к Бениславской.

«Галя, милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного…»[90] — писал Есенин.

Поэт делился с Бениславской творческими планами, посвящал ее в радостные и грустные события своей жизни. «Работается и пишется мне дьявольски хорошо»[91], — читаем мы в одном из писем. А в другом он признается: «Не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия»[92].

Есенин никогда не кривил душой. Любя и ценя Галину как редчайшего своего друга, он в то же время в марте 1925 года написал ей короткое письмо: «Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я нисколько не люблю вас как женщину».

Тем не менее Бениславская не покидала его и заботилась о нем. Только когда после ее телеграммы в Ялту, приведшей к разрыву между Дункан и Есениным, прошло два года, женитьба Есенина на внучке Льва Толстого Софье Андреевне Толстой заставила Бениславскую отойти от него. Этот уход друга Есенин воспринял тяжело.

Галина Бениславская почти через год после смерти поэта — 3 декабря 1926 года — покончила жизнь самоубийством на могиле Есенина и завещала похоронить ее рядом с ним.

Она оставила на могиле Есенина две записки. Одна — простая открытка: «3 декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, после этого еще больше собак будут вешать на Есенина… Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое…» По-видимому, Галина пришла на могилу еще днем. У нее были револьвер, финка и коробка папирос «Мозаика». Она выкурила всю коробку и, когда стемнело, отломила крышку коробки и написала на ней: «Если финка после выстрела будет воткнута в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль — заброшу ее далеко». В темноте она дописала еще одну маленькую кривую строчку: «1 осечка». Было еще несколько осечек, и лишь в шестой раз прозвучал выстрел. Пуля попала в сердце.

В Крыму Айседора не находила себе места, подолгу гуляла по Ялте и ее окрестностям, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей.

Наконец мы выехали в Москву, хотя Крымский совнарком, узнав о приезде Дункан, хотел организовать в Симферополе ее выступление. Но Айседора рвалась в Москву.

На одной из станций я купил свежий номер «Красной нивы». Там было напечатано новое стихотворение Сергея Есенина. Когда я перевел его Айседоре, она воскликнула:

— Это он мне написал!

И сколько мы ее не убеждали, что уже первые строки стихотворения:

Ты такая же простая, как все,
Как сто тысяч других в России —

ясно говорят, что оно не имеет никакого к ней отношения, она упрямо стояла на своем.

Стихотворение это, как мы вскоре узнали, было посвящено артистке Камерного театра Миклашевской, очень красивой женщине, в которую, как говорили, Есенин влюбился.

13. Снова в Москве. Цветы от Есенина. Ужин с рязанскими песнями. Бюст Есенина работы Коненкова. «Смешная жизнь, смешной разлад…»

В Москве с Айседорой произошла неожиданная перемена: она замкнулась, о Есенине не говорила ни слова, не искала с ним встреч, внешне казалась спокойной, работала с детьми. Среди новых танцев, которым Айседора учила детей, «ирландская джига» — веселая жизнерадостная пляска на музыку Шуберта. Дункан сама занялась и костюмами для джиги. Короткие туники должны были быть ярко-зелеными.

В венах Айседоры текла ирландская кровь, унаследованная ею от деда.

— В Ирландии, — говорила Дункан, — цвет революции не красный, а зеленый, потому что ирландских революционеров вешали на деревьях… Легендарный Робин Гуд носил на шляпе зеленое перо.

Тогда же Айседора поставила карманьолу. Дети, танцуя, пели карманьолу на французском языке и бросали в публику красные цветы.

Кроме того, у нее возникла идея создать цикл «танцев русской революций». Они и были поставлены в следующем году — на темы старых и новых русских революционных песен. Дополненные потом танцами ирландской, французской, китайской революций, они имели огромный успех во время гастролей по Советскому Союзу, а также во Франции, в Китае, в Северной Америке и в Канаде — всюду, где выступала Московская студия имени Айседоры Дункан.

Но финансовое положение школы было по-прежнему неустойчивое, и Дункан написала письмо Луначарскому. Он просил ее приехать.

Приехали мы раньше назначенного времени. У Луначарского шло совещание. Вдруг двери его кабинета открылись, и оттуда вышла статная и довольно полная женщина. Горделиво и важно ступая, она прошла через приемную к выходу.

— Кто это? — спросила Дункан.

— Замнаркома Яковлева, «левая коммунистка». Она ведает всеми финансовыми вопросами Наркомпроса.

Айседора порывисто поднялась с кресла:

— Идемте! Нам тут нечего делать. Эта женщина носит

корсет! Разве она согласится финансировать школу Айседоры Дункан, которая уничтожила корсет во всем мире?

И заставила меня уйти…

Мне пришлось потом рассказать Луначарскому о причине, по которой не состоялся его разговор с Дункан. Он сначала смутился, а потом весело расхохотался…

Начался театральный сезон. Первый спектакль Дункан был составлен из произведений Чайковского, программа второго спектакля была вагнеровская.

Я заказал, как это обычно делается, корзину цветов. Это была так называемая «театральная» корзина, имитирующая вазу с живыми цветами, с высокой ручкой.

Зайдя перед началом спектакля в гримировальную, я увидел рядом с заказной огромной корзиной какой-то маленький горшочек с одиноко торчащим цветком. К нему была приколота записка. Я узнал знакомый почерк: буквы не соединялись и были рассыпаны, как зерна:

«От Сергея Есенина».

Подавать горшочек на огромную сцену театра было нельзя (ведь именно потому «театральные» корзины и делают такими внушительными). Я просто переколол записку с горшочка на корзину.

После Шестой симфонии и антракта, когда уже шел «Славянский марш», я вдруг услышал шум вблизи сцены и, подойдя к двери, ведущей в кулуары, увидел сквозь квадратный «глазок» такую картину: два милиционера пытались удержать Есенина, который, вырываясь, ударял себя кулаком в грудь, объясняя:

— Я — Дункан!

Сейчас же выйдя к ним, я взял Есенина за руку и потянул к двери. Он обхватил меня руками с такой горячей радостью, с которой, должно быть, утопающий бросается к спасательному кругу.

— Это к вам? — спросил один из милиционеров.

Я утвердительно кивнул головой, а Есенин еще раз как-то по-детски трогательно и обиженно стукнул себя в грудь:

— Я — Дункан!

И тут же радостно и вместе с тем с важностью сообщил:

— Илья Ильич! Я Изадоре цветы послал!

— Знаю, знаю. Но тише! Идет «Славянский марш».

— Я хочу посмотреть Изадору! — заторопился он.

— Пойдемте, но дайте мне слово, что спокойно постоите в первой кулисе, не будете делать Айседоре никаких знаков. Ведь вы знаете Изадору? Она все может. Увидит вас на сцене и

бросится к вам.

— Нет, нет! Я буду только смотреть. Я цветы ей послал.

Мы встали в первой кулисе: он — впереди, прижавшись ко мне, я — положив руки на его плечи. Я очень любил его, и в эти минуты у меня было радостное чувство оттого, что я снова его вижу.

Есенин стоял не шевелясь. Вдруг я услышал сильный, свистящий шепот:

— Изадо-о-о-ра! Изадо-о-о-ра!

Заглянув ему в лицо, я увидел сияющие глаза и вытянутые трубочкой губы:

— Изадо-о-о…

— Сергей Александрович! Вы же обещали!

— Не буду, не буду…

«Славянский марш» подходил к финалу. Голова Дункан запрокинута, глаза устремлены ввысь, где парит зловещая двуглавая птица. Труба ревет предсмертным криком. Пошел занавес. И взвился вновь. И опять опустился. Зал грохочет. По радостному лицу Айседоры текут слезы… И вдруг она увидела Есенина.

— О-о-о! Дарлинг! — услыхал я.

Ее обнаженные руки обвили его голову. А он целовал и целовал эти руки…

Сигналов на подъем занавеса я уже больше не давал.

Было решено ехать ужинать на Пречистенку.

— Только и Катя пусть с нами едет, — попросил Есенин.

И, увидав, как Айседора настороженно вскинула голову, заторопился пояснить на их своеобразном, непонятном обоим безглагольном диалекте:

— Систра! Систра! Изадора! — и, сжав ей запястья, восторженно продолжал: — Ты знаешь? Катя — это гений! Она такой же артист, как и ты, как Шаляпин, как Дузе!

— Катя? — удивился я.

— Она поет! Рязанские песни! Но как поет! Это чудо! Изадора! Ты должна слышать, как поет Катя!

На Пречистенку отправились большой компанией. Есенин был возбужден, радостен.

— Спой, Катя! — требовал он.

Катя запела. У нее был приятный голосок. Спела она одну русскую песню, припевы которой заканчивались тоненьким вскриком.

Все аплодировали. Петь еще Катя не захотела. Есенин затих в каком-то раздумье, прикрыв ладонью глаза.

Айседора дотронулась до его руки и попросила не пить

больше. Он вскочил, стукнул кулаком и отошел от стола. Тут его взгляд упал на стеклянную «горку». На ней стоял его бюст, выточенный Коненковым из дерева.

Есенин пододвинул к «горке» стул, взобрался на него и потянул к себе бюст. Наконец, сдернув его с «горки», спустился на пол. Все молчали. Есенин оглядел нас тяжелыми, потемневшими глазами. Так темнеет синее-синее море перед бурей. Через несколько минут с треском хлопнула дверь. Есенин исчез, зажав под мышкой чудесное творение Коненкова.

Все оцепенели. Я бросился за ним. В коридоре было пусто. Спустился в холодный холл — и там никого не было. Входная дверь была заперта на ключ.

Я заглянул в детскую столовую. Одно окно с зеркальным стеклом было раскрыто. Значит, Есенин шагнул через него прямо на тротуар Пречистенки. Впоследствии я спрашивал у него про этот бюст. Он ответил, что потерял и даже не помнит где.

Через 25 лет, случайно разговорившись с артистом Дарским, тогдашним партнером Мирова, я узнал, что бюст Есенина находится у него. В ту ночь Есенин встретился с ним в какой-то компании и подарил ему «свою голову».

Я тогда же сказал Дарскому, что он должен сдать бюст в Союз писателей. Каким-то образом этот бюст попал потом в Камерный театр, и уж после войны один из актеров этого театра, проживающий в одном доме с А. Л. Миклашевской, сообщил об этом Коненкову, и бюст работы Коненкова, побывавший в последние годы и на его выставке в Париже, находится теперь в Институте мировой литературы имени Горького АН СССР.

Есенин продолжал бывать на Пречистенке, но интервалы между его приходами становились все более длительными.

Айседора страдала, цеплялась за прежние «холодные решения» и бежала от самой себя, погружаясь в работу.

И все же Айседора ждала Есенина. Уходила гулять, подолгу стояла на углу Воздвиженки, напротив Троицких ворот, смотрела на золотые купола Кремля. Она полюбила Москву, хотя и не знала, конечно, есенинских слов:

Я люблю этот город вязезый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

Как-то незаметно наступил полный разрыв.

Смешная жизнь, смешной разлад,

Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.
Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада…

Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

Есенин не приходил больше на Пречистенку.

14. Сборы в Берлин. Шляпный сундук и паук. Рассказ о гибели детей

Осенью 1924 года Айседора сказала мне:

— В подвале берлинского полпредства еще осталась часть моей нотной библиотеки и другие вещи. Я бы хотела слетать за ними, и было бы хорошо, если бы вы организовали там несколько моих спектаклей.

Я телеграфировал в концертное бюро в Берлине, и Айседора стала готовиться к отъезду. Но у нее не было никакого паспорта: за границей она, как жена Есенина, была вписана в его паспорт, а он остался у Есенина. Я позвонил ему. Паспорт не нашелся.

Галина Бениславская в одном письме к сестре Есенина пишет об этом: «Звонил Шнейдер насчет паспорта» и далее: «Он нужен Айседоре, но паспорта нет, он ведь находится там…» (?)

Хорошо, что еще до этого Айседора подала заявление о желании принять гражданство Советского Союза. На этом основании ей было выдано удостоверение, подтверждающее получение такого заявления. С этим документом она и улетела.

Накануне отъезда она спросила меня, не знаю ли я, где стоит ее шляпный сундук, который она привезла из Лондона.

— Он так и стоит три с лишним года на шкафу в гардеробной.

— Я еду ненадолго, — сказала она, — и много вещей брать с собой не буду. А этот сундук такой легкий, и я уложила бы в него все, что нужно.

С сундука стерли пыль и отнесли его Айседоре. Немного спустя я зашел к ней и увидел ее сидящей на ковре на полу с туфлей в руке. Рядом стоял сундук с откинутой крышкой. Айседора долго молча смотрела на меня какими-то невидящими глазами, потом заговорила:

— Я открыла крышку и вдруг увидела, как по стенкам сундука побежал огромный паук. Я так испугалась, сдернула туфлю и одним ударом убила его! Это было одно мгновение! И вот я думаю… В этом сундуке, может, родился и годами жил паук. Это был его мир, черный и темный. Стихии света паук не знал. Его мир был ограничен углами и отвесными плоскостями. Но это была его Вселенная, за которой не было Ничего или было Неизвестное. Паук жил в этом мире, не зная, что весь он — только шляпный сундук какой-то Айседоры Дункан, которой взбрело в голову лететь в какой-то Берлин! И вдруг в этот его мир хлынуло что-то невиданное, непонятное и ослепляющее! И тут же

наступила смерть! Этой высшей неведомой силой, принесшей ему внезапную смерть, была я. Тем неведомым в жизни, которое люди принимают за бога. Может, и мы живем в таком шляпном сундуке?

Рано утром мы уехали на аэродром. Это была та же самая линия Москва — Кенигсберг «Дерулуфта», которой два с половиной года назад Айседора улетала с Есениным. Пилот-немец нервно ходил взад и вперед, размахивая московским тортом, который, как говорили, вез в Кенигсберг своей невесте, и что-то бормотал. Оказывается, он проклинал необходимость лететь с «Isadora Dunkan, которая вечно попадает в катастрофы…».

Это было ранним утром, а под вечер, в сумерках, я увидал Айседору, медленно поднимающуюся по мраморной школьной лестнице.

— Айседора! Откуда вы?!

— Вынужденная посадка под Можайском. Летим завтра утром. Прошу вас приготовить мне пакет с двадцатью красными туниками. Я обещала сбросить их завтра можайским комсомольцам. Я с ними провела несколько чудесных часов, пока чинили самолет. Учила их танцу и свободному движению в спиральном построении «Интернационала»! Все под гармонь. Вы уж не пожалейте эти двадцать туник!

— Пилот ругался?

— Ужасно! Представляете? Он считал, что все произошло из-за того, что я была его пассажиркой!

В тот день я видел Айседору последний раз в жизни.

Из Берлина Айседора уехала в Париж. Многое было связано с ним в жизни Айседоры. Здесь она узнала первую любовь. Здесь она стала знаменитостью. Здесь родились ее дети — девочка Дирдрэ и мальчик Патрик. В Париже они погибли. В Париже она почувствовала «начало конца» любви Есенина.

Мы привыкли, что сцены любых театров, клубов, дворцов культуры одеты в сукна, но мало кто помнит о том, где впервые появились сукна. Их «изобрел» известный английский режиссер Гордон Крэг. В книге К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» есть глава — «Дункан и Крэг». Крэг и Дункан вместе приезжали в Москву в 1908 году. Гордон Крэг был первым мужем Айседоры Дункан и отцом Дирдрэ.

Патрик родился от второго брака Дункан с Парисом Санже (он же Лоэнгрин. — Ред.). Так звучала фамилия «Зингер» по-французски. Парис Зингер — так произносится эта фамилия по-русски. Да, отпрыск тех самых Зингеров, чье имя во всем мире связано с изобретением швейной машины.

Этот брак Айседоры с миллионером был браком по любви. Деньги Зингера не интересовали ее.

— Зачем? — сказала она однажды, рассказывая мне о своей жизни. — Деньги текли ко мне, как вода из водопроводного крана. Поверну — потекут. Захочу контракт в Испанию — пришлют! Захочу в Россию — контракт будет!

В Париже он купил для школы Дункан отель «Белльвю». Был создан организационный комитет, в который вошел весь цвет искусства и литературы не только Франции, но и всей Западной Европы. И в честь этого состоялся банкет. Когда уже отзвучали речи и банкет подходил к концу, к Айседоре подошел метрдотель и сказал, что ее спрашивают. Она вышла в вестибюль и очень удивилась, увидав своих детей с няней-англичанкой…

— Что случилось? — заволновалась Айседора, целуя детей.

— Ничего. Мы поехали покататься, и дети очень захотели увидеть вас. Они так просили…

— Поезжайте домой. Я назначила пианисту прийти в студию в Нейльи, я позанимаюсь час и приеду домой. Поезжайте…

Она вышла с ними на улицу, сама закутала пледами их ножки. Машина отъехала.

— Я проехала в студию Нейльи, — рассказывала мне Айседора. — Пианиста еще не было. Помню, надела белую тунику и, держа в руках коробку с шоколадом, ходила по студии, ела конфеты и думала: я самая счастливая женщина в мире… Я молода, знаменита, у меня такие чудесные дети, муж… Сегодня исполнилась мечта моей жизни. У меня будет школа и театр! И в этот момент в студию вбежал Зингер… Он крикнул: «Дети… умерли!» И упал. Почему тогда я не сошла с ума?! Я не могла воспринять то, что он крикнул… Я видела только, что он упал и сейчас умрет, и я бросилась к нему. Может быть, это спасло мой мозг…

Она долго молча плакала…

— Машина с детьми выехала на набережную Сены, наперерез ей выскочило такси. Наш шофер, избегая столкновения, круто свернул к реке… Мотор заглох. Шофер взял ручку, вышел из машины и завел мотор.

Вдруг машина двинулась на него прямо к реке… Парапета тогда не было. Шофер отскочил в сторону, машина упала в Сену…

Она опять замолчала, закрыв рукой глаза. Потом снова глухо зазвучал ее голос:

— Пока шофер бился головой о мостовую, пока бегал зачем-то к моей сестре Елизавете, стучал там в дверь… время, время шло! А они были в воде… Через час машину подняли краном. Их

отвезли во французский госпиталь. Мне потом говорили, будто девочка моя еще дышала! Если бы я тогда могла быть около них! Силой материнской любви я бы вернула ее к жизни…

После катастрофы Дункан покинула сцену, к тому же она готовилась вновь стать матерью.

— Когда у меня опять родился мальчик, я решила назвать его Патриком в память о погибшем. Я лежала и попросила принести ребенка и положить ко мне. Головка его лежала на моем плече. Я наклонилась над ним и сказала: «Патрик…» Он открыл большие голубые глаза, вздохнул и умер… Какое же могло быть сердце у этого ребенка, если я носила его под своим сердцем, источавшим страдание.

Я тежала в темноте и слушала, как Парис сколачивает ящик, чтобы похоронить Патрика в нашем садике. Потом вошла Мэри и зажгла лампы. Я попросила ее принести мне какую-нибудь книгу. Незадолго до катастрофы мне принесли неизвестно кем присланную книгу — «Ниобея, оплакивающая своих детей». Я поставила ее на библиотечную полку… Теперь Мэри взяла первую попавшуюся книгу и подала мне. Это была «Ниобея, оплакивающая своих детей»… Я не мистик и рассказываю вам про эту книгу не без причины. Но вдумываться в это нельзя — тогда сойдешь с ума. Если это правда, то Понсон дю Террайль с его Рекамболем и прочим — бледный выдумщик…

Она взяла сигарету и никак не могла зажечь спичку.

Сплошные зеркальные стекла, вставленные в четыре длинных окна её комнаты, поголубели… Уже рассветало. Айседора долго молчала…

— Вы слышали когда-нибудь о профессоре Дуайене? — вдруг спросила Дункан.

Мне было знакомо это имя: «Операции профессора Дуайена» — так называлась короткая кинокартина, которую демонстрировали после сеансов в первых московских синематографах. Киномеханик объявлял через свое оконце: «Драма в шести частях», или «Сильно комическая», или «Видовая». Чуть ли не два года подряд после сеансов показывали «Операции профессора Дуайена», предупреждая: «Нервных, женщин и детей просят выйти». Дуайен, высокий красивый мужчина с холеной светлой бородой, делал три операции: трепанацию черепа, вырезание рака и еще какую-то…

— Этот самый… — подтвердила Айседора. — У Дуайена была жена, очень красивая, высокая блондинка. Я тогда еще не знала Зингера. Он был неразлучен с женой Дуайена, а тот, видно, не возражал… Зингер строил для него хирургические дворцы, финансировал завод знаменитого шампанского «Дуайен»,

создавал ему бешеную рекламу. Вот и фильм этот тоже… Потом Зингер оставил жену Дуайена, он полюбил меня. Мы поженились. Очевидно, для Дуайена собственная карьера и финансовое благополучие были дороже жены. Он возненавидел меня. Я всегда чувствовала его ненависть! Это был какой-то средневековый враг.

…Мой шофер после катастрофы ушел от меня. Он купил виллу за 50 тысяч франков… Это была очень, очень большая сумма… Я не могу об этом ни думать, ни говорить…

Дункан сидела бледная, с остановившимися влажными глазами. Две крупные слезы натекли и ровно скатились по мертвенным шекам Айседоры.

— Если бы вы знали то, что я знаю, то мало смеялись бы и много плакали… — сказала она и тихо прибавила: — Эти слова приписывают, кажется, Магомету…

Мне вспомнились другие слова, написанные Герценом: «Я хотел бы забросать цветами один женский образ, чтобы на нем не видно было слез…»

И вот теперь Айседора снова была в Париже, где ей предстояло получить еще один тяжелый удар — мою телеграмму о самоубийстве Есенина.

15. Опять «Англетер». Кому написано «Письмо к женщине»? Последние встречи с Есениным. Катастрофа. Есенин и «есенинщина». Встреча с Маяковским. Смерть Айседоры Дункан. Как была написана эта книга

С тех пор как произошел разрыв, я долго не видел Есенина. Мне рассказывали, что видели его в Колонном зале: Есенин простоял долгие часы около гроба Ленина… В апреле он уехал в Ленинград. В это время там была Дункан. Приехал и Камерный театр. Однажды А. Я. Таиров пригласил нас на обед. На обед поехала одна Айседора.

Таиров позвонил писателю Н. Никитину и, приглашая, сказал, что будет Дункан.

Есенин, сидевший у Никитина, слышал этот разговор. К Таирову они приехали вместе.

Есенин, сделав общий поклон, пристроился где-то в конце стола среди артисток Камерного театра. Не дождавшись конца обеда, он исчез.

Никитин пишет в своих воспоминаниях:… «Неужели он приезжал лишь за тем, чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с Айседорой?

Может быть, нам кое-что подскажет отрывок из его лирики тех лет:

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела,
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну, что ж! Я не боюсь его,
Иная радость мне открылась.
……..
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Быть может, и этот роман был одной из его ошибок. Быть может, он приезжал в «Англетер», чтобы еще pas проверить себя, что кроется под этой иной радостью… Во всяком случае, я верю в

то, что эта глава из жизни Есенина совсем не так случайна и мелка, как многие об этом думали и еще думают…»

Айседора вернулась с обеда задумчивая и молчаливая. Сказала только, что был Есенин, но быстро ушел.

Через несколько дней мы с Ирмой Дункан уехали в Москву, а Айседора — на гастроли в Белоруссию.

В июне праздновалось 125-летие со дня рождения Пушкина. На торжественном митинге у памятника Пушкину венок к подножию, возложил от имени советских писателей поэт Сергей Есенин.

Я стоял довольно далеко, но мне было видно, как Есенин поднялся на ступеньки с цветами и начал громко читать свое новое стихотворение «Пушкину»:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой…
……..
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе…
…Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь…
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

Да, он хотел долго жить и долго петь. Это подтверждается многими строками его стихотворений и писем. Свою автобиографию, написанную в том же месяце, он заканчивает такими словами: «Жизнь моя и мое творчество еще впереди».

В последние два года жизни Есенина я редко видел его. Знал, что в июле он снова ездил в Ленинград, потом уезжал в Константиново, а в сентябре уехал на Кавказ, где прожил долго, до конца февраля 1925 года. На месяц возвратился в Москву и снова уехал, в Баку. За эти полгода он много писал. На Кавказе созданы «Ленин», «Песнь о великом походе», «Баллада о двадцати шести», «Поэма о 36», «Анна Снегина», «Капитан земли», «Стансы», «Русь уходящая», «Письмо к женщине», «Письмо от матери», «Ответ» и, наконец, «Персидские мотивы» и «Цветы». («На сердце у меня лежит черновик новой хорошей поэмы «Цветы». Это, пожалуй, лучше всего, что я написал», — пишет он Г. А. Бениславской в декабре 1924 года.)

На лекциях о жизни и творчестве Сергея Есенина постоянно задается вопрос: «Кому написано «Письмо к женщине»?» Его

задают мастерам художественного слова, читающим «Письмо к женщине». С этим вопросом неизменно обращаются ко мне, когда я выступаю с личными воспоминаниями о поэте. И ответ всегда и у всех был один: первой законной жене Сергея Есенина — Зинаиде Николаевне Райх, матери двух детей поэта.

И не вызывала сомнений есенинская строка в «Письме к женщине» — «…живете вы с серьезным умным мужем». Было понятно, что слова эти относятся к В. Э. Мейерхольду, женой которого стала З. Н. Райх, покинувшая поэта.

Однако писатель М. Кочнев утверждает, что это стихотворение адресовано другой женщине, которая выведена в его романе «Оленьи пруды» под именем Татьяны Ястребовой.

В книге М. Кочнева подробно рассказывается о том, как и где Есенин написал Ястребовой «Письмо к женщине» и как ее супруг хвастался, заявляя, что это его так «уважительно» поэт назвал «серьезным умным мужем». Этот герой демонстрирует кресло и столик, за которым Есенин якобы писал «Письмо к женщине», и самый автограф этого стихотворения, и даже ручку, которой оно было написано…

Автор книги восхищается Ястребовой, «стройной, грациозной и гибкой», и устами другого героя романа говорит: «…честь и слава ей, что она зажгла в поэте тот огонь, в котором выплавились неостывающие слова «Письма к женщине»».

Вся эта романтическая «новелла» в романе М. Кочнева не что иное, как выдумка, вряд ли позволительная в художественном произведении, претендующем на достоверное отображение жизни невымышленных героев.

…В октябре 1924 года «Правда» пишет, что «внимание читателей приковывают прекрасные стихи С. Есенина. После долгих и бурных исканий автор пришел к Пушкину».

Позднее в Баку он встречается с С. М. Кировым и М. В. Фрунзе, которым читает свои стихи.

В июне 1925 года он уже снова в Москве. Здесь я и встретил его. Я спускался по Кузнецкому переулку к Петровке, когда около витрин фотографии «Паола», где был выставлен большой портрет Есенина, кто-то остановил меня, схватив за локоть…

— Илья Ильич! Вы уж и видеть меня не хотите?

Передо мной было пригожее, родное и улыбающееся лицо Есенина, его ясные, синие, смеющиеся глаза.

— Очень хочу! — обрадовался я.

И так, держась за мой локоть, он засыпал меня вопросами. Я торопливо отвечал и сам расспрашивал его обо всем. А он рассказывал мне о том, что его, видимо, радовало: Госиздат приступил к изданию собрания его сочинений.

В последний раз я встретился с Есениным за полтора месяца до его смерти: со старшими «дунканятами» мы ехали вечером в трамвае, возвращаясь домой после сеанса в кинотеатре «Художественный». У Пречистенских ворот вошло несколько пассажиров. Один из них, в сером пальто и светлой кепке, быстро прошел по вагону к выходу. В это время вагон тронулся, сильно дернув, и пассажира бросило прямо на колени одной из сидящих студиек. Он сконфуженно вскочил на ноги, и тут мы оба схватили друг друга за руки и закричали:

— Сергей Александрович!

— Илья Ильич!

Я смотрел на него, и тревожно ныло сердце: он очень изменился, похудел, как-то посерел, и глаза потускнели. Но улыбка была все та же, подкупающая, чистая, как у ребенка.

— Неужели это они? — радостно спрашивал он, оглядывая «дунканят». — Как выросли! А где Капелька? (Так звал он свою любимицу — Шуру Аксенову.)

— Вот к ней на колени вы и сели!

Вдруг он сказал:

— А вы знаете? Я женился!

— Знаю.

— Правда, хорошо? Сергей Есенин женат на внучке Льва Толстого!

— Очень хорошо… — ответил я, с печалью глядя на его болезненное лицо.

Много лет спустя сестра поэта, А. А. Есенина, писала в своих воспоминаниях об отношениях между Есениным и С. А. Толстой: «Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь…»

Трамвай остановился у Дома ученых. Студийки, прощаясь, выходили в переднюю дверь. Простились и мы. На этот раз — навсегда.

Вскоре Есенин поступил на двухмесячное лечение в клинику внутренних болезней МГУ, но через 26 дней выписался оттуда и через день — 23 декабря — уехал в Ленинград, взяв с собой все свои записки, рукописи, книги. «Есенин ехал в Ленинград не умирать, а работать…» — пишет в своих воспоминаниях друг поэта журналист Устинов.

А с другой стороны, вот история еще одного предсмертного стихотворения Есенина, ранее неизвестного.

Написано оно за несколько дней до смерти на портрете, который Есенин подарил писателю Евгению Михайловичу Рокотову-Бельскому.

Сообщение об этом было прислано недавно в Ко миссию по

литературному наследию С. Есенина при СП СССР читателем С. А. Оболенским.

В своем письме в комиссию С. Оболенский пишет: «…Этот портрет, равно как и портреты А. Блока и Максима Горького, подаренные ими тому же Рокотову, продавался в Ленинграде в букинистическом магазине на Невском около Литейного проспекта 8–9 лет тому назад. К сожалению, портреты эти были оценены очень дорого (рублей по 250 каждый), и я, за отсутствием свободных денег, ограничился тем, что списал собственноручные надписи С. Есенина и А. Блока. Когда же я на следующий день приехал в магазин с деньгами, все портреты были уже кому-то проданы…»

Вот это стихотворение:

Жене Рокотову

Помнишь наши встречи, споры и мечты?
Был тогда я молод, молод был и ты,
Счастье было близко, жизнь была ясна,
В дни осенней хмури в нас цвела весна.
Мы теперь устали. Нам бы как-нибудь
Поскорее выбрать ежедневный путь,
Нам бы поскорее завершить свой круг…
Разве я не правду говорю, мой друг?

Сергей Есенин.

23 декабря 1925

Дата написания этого стихотворения в Ленинграде 23 декабря (день отъезда Есенина из Москвы в Ленинград) вызвала сомнение в его подлинности.

Во 2-м издании пятитомника поэта это стихотворение не помещено.

Перед отъездом из Москвы в Ленинград Есенин побывал у всех своих родных, навестил детей — Константина и Татьяну (от первого брака с З. Н. Райх) и попрощался с ними. Пришел перед самым отъездом и к своей первой подруге — Анне Романовне Изрядновой, когда-то работавшей вместе с Есениным корректором в типографии Сытина. (У Изрядновой рос сын Есенина Юрий, родившийся 21 января 1915 года.)

Когда после смерти Есенина в народном суде Хамовнического района Москвы разбиралось дело о признании этого ребенка

сыном поэта, одна из выступавших свидетельниц сказала, что Есенин перед своей поездкой в Ленинград заходил к своему ребенку. Между свидетельницей и Есениным зашел разговор о том, как быстро старятся люди. Есенин, между прочим, сказал:

— Да, выходит, я уже старый, ведь ему (сыну) уже 11 лет…

Сама А. Р. Изряднова пишет в своих воспоминаниях: «…В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра. Не здороваясь, обращается с вопросом: «У тебя есть печь?» Спрашиваю: «Печь, что ли, что хочешь?» — «Нет. Надо сжечь». Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали случаи, придет, порвет свои карточки, рукописи, потом ругает меня — зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу». Повела его в кухню, затопила плиту, и вот он в своем сером костюме, в шляпе, с кочергой в руках стоит около плиты и тщательно охраняет, как бы не осталось несожженного. Когда все сжег, успокоился, стал пить чай и мирно разговаривать.

На мой вопрос — почему рано пришел — говорит, что встал давно, уж много работал.

Видела его незадолго до смерти. Пришел, говорит, проститься. На мой вопрос, что, почему, говорит: «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверно, умру». Просил не баловать, беречь сына». (Юрий умер в 1937 году.)

Наняв двух извозчиков на санях, Есенин заехал в Померанцев переулок на Остоженке (Метростроевская), где жил в квартире с С. А. Толстой, не поздоровался, не разделся, собрал и уложил в чемодан свои вещи, не простился, уехал в Ленинград и через четыре дня покончил с собой в комнате № 5 гостиницы «Англетер».

Телеграмму о самоубийстве Есенина я получил в Минске, где шли гастроли студии. Трудно даже вспомнить, что все мы пережили.

Айседора была в Париже. Я телеграфировал ей.

В январе пришло от Айседоры письмо из Парижа. Она писала:

«…Смерть Есенина потрясла меня, но я столько плакала, что часто думаю о том, чтобы последовать его примеру, но только иначе — я пойду в море…» (Это и было потом в Ницце: она именно ушла далеко в море. Ее спасли.)

После смерти Есенина Айседора телеграфировала в парижские газеты:

«Трагическая смерть Есенина причинила мне глубочайшую боль. У него были молодость, красота, гениальность. Неудовлетворенный всеми этими дарами, его отважный дух искал

невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет вечно жить в душе русского народа и в душе всех любящих поэзию. Протестую против легкомысленных высказываний, опубликованных американской прессой в Париже. Между Есениным и мною никогда не было ссор, и мы никогда не были разведены. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием».

…С тех пор прошло более 50 лет, но народная любовь к Есенину все возрастает. Мне приходится довольно часто выступать перед самыми различными аудиториями с личными воспоминаниями о поэте. И повсюду я наблюдаю одну и ту же картину: собравшиеся напряженно, взволнованно слушают рассказ о Есенине и готовы слушать еще и еще. После выступления — бесчисленные записки с вопросами: «Была ли поэзия Есенина известна Ленину?», «Как относились друг к другу Есенин и Маяковский?», «Почему в Москве нет улицы его имени?», «Кому посвящено «Письмо к женщине»?», «Кого из современных поэтов можно считать последователем Есенина?», «Кому посвятил Есенин предсмертное стихотворение?», «Какие стихи Есенина посвящены Айседоре Дункан?», «Кто из родных Есенина жив?». И чаще всего задается вопрос, на который сложнее и труднее всего ответить: «В чем причина трагедии Есенина и его самоубийства?»

В 1918 году Владимир Ильич Ленин писал в статье «Главная задача наших дней»: «История человечества проделывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное — без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно освободительное значение… — неудивительно, что на самых крутых пунктах столь крутого поворота, когда кругом со страшным шумом и треском надламывается и разваливается старое, а рядом в неописуемых муках рождается новое, кое у кого кружится голова, кое-кем овладевает отчаяние…»

Это смятение отразилось и в творчестве Есенина. В «Письме к женщине» поэт говорит:

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий…

В свое время богемные нравы имажинистов отразились в поэзии Есенина несвойственными ей вульгаризмами, мрачным пессимизмом, невыразимой тоской. Но поэт стремился вырваться

из кабацкой атмосферы, понимал, что его окружает «чужой и хохочущий сброд».

Он тяжело пережил крушение «Руси уходящей», но тогда же произошла смена его позиций, поэт стремился постигнуть «коммуной вздыбленную Русь». В «Москве кабацкой» он не щадит себя, но потом сам говорит, что «пережил «Москву кабацкую» и не может отказаться от этих стихов».

Вскоре после гибели Есенина появилось много воспоминаний о нем. Хлынул и мутный поток бульварных книжонок и брошюр с «сенсационными» заглавиями: «Черная тайна Есенина», «Москва кабацкая» и др.

Пресловутое словцо «есенинщина» пошло гулять по стране как синоним упадочничества. Но одновременно началась и борьба за молодежь, за Есенина и против «есенинщины». Борьбу эту возглавили Луначарский, Горький, Маяковский, Демьян Бедный, Безыменский.

Маяковский тогда писал: «Над собою чуть не полк расправу учинил!»

Луначарский писал: «Самым крупным борцом против «есенинщины» был сам Есенин».

Стало известно предсмертное стихотворение Есенина, оканчивающееся словами:

В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

«…Сразу стало ясно, — писал Маяковский, — сколько колеблющихся этот сильный стих, именно стих подведет под петлю или револьвер… С этим можно и надо бороться только стихом.

Так поэтам СССР был дан социальный заказ написать стихи о Есенине. Заказ исключительный, важный и срочный, так как есенинские строки начали действовать быстро и без промаха… Надо отобрать Есенина у пользующихся его смертью».

Перефразируя пессимистическую концовку предсмертного стихотворения Есенина, Маяковский писал:

В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно
трудней.

Алексей Толстой вскоре после смерти Есенина писал: «Он горел во время революции и задохнулся в будни, он ушел от деревни и не пришел к городу. Последние годы его жизни были расточением его гения. Он расточал себя». «Крупнейший поэт современья…» — писал Леонид Леонов.

Через год после смерти Есенина, в декабре 1926 года в театре Мейерхольда был проведен диспут на тему «Есенин и «есенинщина»». Диспут был бурным. «Не аудитория, а кипящий котел, а ведь там была исключительно молодежь, рабфаковцы, вузовцы!.. — писала газета «Известия». — Очевидно, термином «есенинщина» (по крайней мере, судя по данной аудитории) есенинская поэзия не только не развенчана, но ее обаяние вряд ли поколеблено». «Пора изъять этот термин из употребления, скорбно и дружно склоним головы перед этой большой могилой…» — говорил А. Воронский. Даже самый крайний в то время напостовец В. В. Ермилов и тот вынужден был встать на защиту Есенина от «есенинщины»: «Характеризовать поэзию Есенина только как поэзию упадочничества — просто глупость, потому что творчество его сложно и многообразно»…

Овациями встретили Орешина, поэта, друга Есенина. В президиум без конца сыпались записки. Выступавшие говорили, что молодежь ждет правильной оценки творчества Есенина.

Не так давно в день рождения Есенина, вместе с сестрами поэта Екатериной Александровной и Александрой Александровной Есенинами и К. Л. Зелинским мы приехали на Ваганьковское кладбище. Еще издали мы увидели у могилы множество людей. Люди знают и помнят эту дату. Вся могила была засыпана цветами. Люди стояли молча. За них говорили принесенные ими цветы…

Но вернемся к тем далеким годам.

Осенью 1927 года мы со студией приехали в Крым. Наш тяжелый автобус, выехав из Ялты и покрутив вокруг гурзуфской горы Медведь, вкатился в Алушту и остановился у самого оживленного места курорта — возле автостанции. Я выпрыгнул из автобуса и чуть не наскочил на одиноко стоявшего Маяковского.

Он пожал мою руку с силой абсолютного чемпиона по боксу.

— Отдыхаете в Алуште? — спросил я, потирая руку.

— Нет, приехал. Сегодня тут мой вечер.

— Как? — встревожился я. — Сегодня мы выступаем в курзале.

— Вы аристократы. А я скромно — в санаторном клубике… А вы все с «есенятами»? — сказал он, поглядывая на высыпавших из автобуса девушек, подростков и девочек, составлявших тогда

производственную группу школы-студии.

— Вернее, с «дунканятами», — ответил я, — а то «есенята» звучит как «бесенята».

Маяковский смотрел на веселый цветник в одинаковых легких розовых платьях, внезапно выросший на пыльном шоссе.

— Такие «бесенята» если вскочат в ребро, тут тебе и крышка… — пробасил он и тут же добавил: — Жара. Духота. А горло окатить нечем. Продают что-то подкрашенное, — повернулся он в сторону водного киоска.

— Можно здесь пива холодного выпить, — показал я на серый каменный дом напротив, во втором этаже которого помещался единственный ресторан Алушты.

— Мысль правильная. Пойдемте! (Сказал, как команду подал, — нельзя не подчиниться.)

Мы поднялись в совсем пустой ресторан, сели за столик и заказали пива.

— Едешь из Ялты, — сказал Маяковский, — видишь то с той, то с другой стороны, как медведь уткнулся мордой в Черное море, чтобы выпить его, и думаешь, как ему осточертело и опротивело пить веками соленую воду…

Маяковский замолчал и вдруг сказал:

— Да… Есенин…

Может быть, он ответил вслух на какие-то свои мысли?

Тут подали пиво. Он налил два стакана, отхлебнул от своего и поставил его обратно на стол. Пиво было теплым, как подогретое.

— Это хуже, чем пойло для гурзуфского медведя.

Мы вышли и распрощались.

Из Крыма студия выехала в Ростов-на-Дону, где в первую же ночь я проснулся от какого-то гула. Даже моя кровать чуть-чуть сдвинулась. Это был отзвук второго, очень сильного землетрясения в Крыму. Мы проскочили через Крым между двумя землетрясениями.

В Донбассе после спектакля для шахтеров Макеевки я повел студиек наблюдать за прекрасными движениями вальцовщиков прокатных станов.

Мы молча стояли, застыв в созерцании феерической картины, когда, стараясь перекрыть беспрерывный грохот, гул и рокот, раздался чей-то голос:

— Кто здесь товарищ Шнейдер?

— Я.

— Я начальник местного ГПУ. Сейчас я слушал радио из Москвы: ваша Дункан погибла при автомобильной катастрофе…

Это было 15 сентября 1927 года.

На станции Харцызск я купил «Известия» и сразу увидел заголовок «Смерть Айседоры Дункан» и фото Айседоры, сделанное, очевидно, с портрета, висевшего в моем кабинете.

Мемуары Айседоры Дункан, изданные в 1927 году, оканчивались фразой:

«Прощай, Старый мир! Завтра я уезжаю в Новый!»

Второй том воспоминаний должен был охватить период ее пребывания в Советской России.

Незадолго до ее смерти в Ницце один из бесчисленных интервьюеров задал ей вопрос:

— Какой период вашей жизни вы считаете величайшим и наиболее счастливым?

— Россия, Россия, только Россия! — ответила Айседора. — Мои три года в России, со всеми их страданиями, стоили всего остального в моей жизни, взятого вместе! Там я достигла величайшей реализации своего существования. Нет ничего невозможного в этой великой стране, куда я скоро поеду опять и где проведу остаток своей жизни.

В сентябре 1927 года, за два дня до своей смерти, Дункан начала писать новую книгу. Несколько листов голубоватой, цвета хмурого неба, бумаги, на которой китайской тушью писала всегда Айседора, покрылись стремительными строчками странного ее почерка с буквами, то горизонтально, то вертикально удлиненными…

… В тот сентябрьский вечер раскаленный асфальт Promenade des Anglais жарко дышал впитанным за день солнцем. Айседора спустилась на улицу, где ее ожидала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув за плечо конец красной шали с распластавшейся желтой птицей, прощально махнула рукой и, улыбаясь, произнесла последние в своей жизни слова:

— Прощайте, мои друзья! Я иду к славе!

Несколько десятков секунд, несколько поворотов колес, несколько метров асфальта… Красная шаль с распластавшейся птицей и голубыми китайскими астрами спустилась с плеча Айседоры, скользнула за борт машины, лизнула сухую вращавшуюся резину колеса. И вдруг, вмотавшись в колесо, грубо рванула Айседору за горло. И остановилась только вместе с мотором.

Мотор у машины был очень сильный, поэтому и удар был необычайной силы: первый же поворот колеса переломил позвоночник и порвал сонную артерию.

Прибывший врач сказал:

— Сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно.

Чтобы освободить голову Айседоры, притянутую к борту

машины, пришлось разрезать шаль.

Дикая толпа набросилась на искромсанную ножницами шаль и в тупой погоне за талисманами и амулетами из «веревки повешенного», приносящей, по поверию, счастье, растерзала шаль на клочки.

Эта машина итальянской фирмы «Бюгатти» была продана на аукционе в Ницце. Какой-то маньяк счастливо улыбался, когда после разгоревшегося на аукционе ажиотажа машина досталась ему за неслыханную тогда цену в 200 тысяч франков.

Через два часа после катастрофы около студии Дункан в Ницце раздался стук лошадиных копыт. Это везли тело Айседоры из морга домой. Ее уложили на софу, покрыли шарфом, в котором она танцевала, и набросили на ноги пурпурную мантию. Студия наполнилась цветами и множеством зажженных свечей.

Еще в Москве Айседора не раз говорила, чтобы на ее похоронах обязательно играли «Арию» Баха. Ее желание было исполнено, и в Ницце и в Париже играли «Арию» Баха.

Хотя Айседору и не собирались хоронить в Ницце, мэр города, узнав, что среди бумаг Дункан оказалась справка, подтверждающая желание Айседоры принять советское гражданство, заявил, что не разрешит хоронить ее в Ницце.

Утром пришла телеграмма от американского синдиката издательства, подтверждавшего договор на издание мемуаров Айседоры и сообщавшего о переводе через парижский банк денег. Она ждала этих денег, чтобы выехать в Москву.

Голубоватые, цвета хмурого неба, листы бумаги нетронутой стопкой остались лежать на столе Айседоры в Ницце. Страницы о годах, проведенных у нас, не были написаны…

В Париже на гроб Айседоры был положен букет красных роз от советского представительства. На ленте была надпись: «От сердца России, которое скорбит об Айседоре».

На кладбище Пер-Лашез ее провожали тысячи людей. После похорон в течение трех дней шло торжественное траурное заседание в Сорбонне под председательством Эррио. Комитет по увековечению памяти Айседоры принял решение поставить ей в Париже памятник работы Бурделя, но это решение не было осуществлено.

В 1927 году Луначарский как-то в разговоре заметил, что мне, как человеку, близко знавшему Есенина и Дункан, следует написать о них книгу. Луначарский тогда же написал письмо в Госиздат, рекомендуя заключить со мной договор. Редактуру он брал на себя. Книга была даже поставлена в план… Но тогда я ее так и не написал — не мог написать, слишком свежи были могилы.

Луначарский согласился с моими доводами и посоветовал начать воспоминания «издалека», посвятив первый том Москве артистической — дореволюционной и послереволюционной.

Выполняя совет Луначарского, я написал сначала книгу «Записки старого москвича», затем начал работу над книгой о Дункан и Есенине. Но случилось так, что эта последняя, вернее часть ее, вышла раньше и была опубликована к 70-летию со дня рождения Сергея Есенина — в 1965 году, а в 1966 году «Встречи с Есениным» вышли вторым изданием.

Вся книга об Айседоре Дункан и Сергее Есенине была издана через АПН в 1968 году в Лондоне на английском языке и в 1969 году в Нью-Йорке. «Записки старого москвича» были изданы лишь в 1970 году.

Жизнь моя сложилась так, что я приступил к этой работе только 20 лет спустя…

Пройден долгий путь по реке жизни. В закатный час я подхожу к устью. Впереди — море. И я тороплюсь засветить последние бакены, мерцающие огоньками далеких воспоминаний по всему протянувшемуся фарватеру жизни. Ах, промчаться бы берегом вверх по реке, мимо забытых пристаней, чтобы увидеть дорогие разбросанные могилы, заглянуть в наполненные воспоминаниями тихие жилища и шумные освещенные здания и с берегов, где раскинулись цветущие сады юности, вновь, от самых верховий, начать уже пройденный путь. Скольких ошибок и несчастий можно было бы избежать!

Я жил в великую эпоху, я видел и слышал Ленина, был свидетелем всемирно-исторических событий, встречался и работал с замечательными людьми!

Я переживал торжественные минуты труда, видя воплощение своих замыслов в сценических образах и на редакционных гранках с манящим запахом типографской краски…

1949–1965–1973 гг.

«Айседора Дункан взяла у природы ту силу, которая зовется уже не талантом, а гением»

Огюст Роден

«Айседора Дункан делает музыку прозрачной»

«...Она была предтечей. Что бы она ни делала, все делалось с огромной легкостью — так, по крайней мере, казалось. Именно это придавало ей видимость силы. Она выпустила танец в наш мир в твердой уверенности, что творит великое и истинное. Так и было. Она отбросила балетные юбки и балетные мысли. Она отвергла обувь и чулки. Она надела какие-то лоскуты, которые на вешалке более всего походили на изорванные тряпки; когда же она надевала их, они преображались. Обычно театральные костюмы преображают исполнителей, но теперь она, надевая эти лоскуты, преображала их. Она превращала их в чудеса, и они говорили при каждом ее шаге...»

Из выступления Гордона Крэга по английскому радио

ISBN 5-222-00293-4

9 785222 002933

notes

Примечания

1

Горбов, Дмитрий Александрович — советский литературовед, переводчик. Его книга «У нас и за рубежом» была положительно оценена М. Горьким. С конца 30-х годов Горбов обратился к художественному переводу; перевел на русский язык сочинения Руссо, Франса, Чапека и др.

2

Геккель, Эрнст (1834–1919) — немецкий естествоиспытатель, последователь Ч. Дарвина. С 1862 по 1909 гг. — профессор университета в Иене. Геккель был одним из основоположников и идеологов социального дарвинизма.

З

Ингерсолль, Роберт Григ (1833–1899) — американский адвокат, выступавший с лекциями против христианства и Библии.

4

Элиот, Джордж — псевдоним известной английской писательницы Мэри Анны Эванс (1820–1880). Роман «Адам Бид» посвящен деревенскому быту.

5

Рип Ван Винкль — театральный персонаж, появляющийся на сцене после длительного отсутствия и находящий всю обстановку переменившейся. Заимствован из легенды, рассказанной Ирвингом Вашингтоном о Рип Ван Винкле, проспавшем двадцать лет.

6

Первая строфа известного стихотворения выдающегося американского поэта Генри Лонгфелло (1807–1882) «Стрела и песня». В своих произведениях выступал против войны, рабства, национальной вражды, был приверженцем патриархально-пуританских нравов прошлого. Одно из основных произведений — «Песнь о Гайавате» — создано на основе индейских сказаний.

7

Эльслер, Фанни (1810–1884) — австрийская танцовщица.

8

Уитмен, Уолт (1818–1892) — американский поэт, центральной идеей творчества которого было сближение человека с природой и создание «мировой демократии» на основе всемирного братства народов. Признанный реформатор «свободного стиха». Наиболее известные произведения вошли в сборник стихов «Побеги травы».

9

Персонажи средневекового мифа, использованного Шекспиром для пьесы «Сон в летнюю ночь». Оберон — король фей и муж Титании.

10

Аврелий, Марк (121–180) — римский император и философ, представитель позднего стоицизма. Основное философское произведение «Наедине с собой».

11

Невин, Энгельберт (1862–1901) — американский композитор. Сочинения: балет «Мечта леди Флориан», фортепианные циклы «Водные сцены», «День в Венеции», «В Аркадии» и др.

12

Омар Хайям (ок. 1048 — ок. 1123) — персидский и таджикский поэт, математик и философ. Всемирно известны его четверостишия — рубаи, проникнутые пафосом свободы личности.

13

Падеревский, Игнацы Ян (1860–1941) — польский пианист, композитор. В 1919 г. премьер-министр и министр иностранных дел Польши.

14

Мередит, Джордж (1828–1909) — английский романист, близкий к прерафаэлитам — группе английских художников и писателей, приверженцев «наивного» искусства средних веков и раннего Возрождения (до Рафаэля).

Джеймс, Генри (1843–1916) — американский писатель.

Уоттс (1818–1904) — английский портретист.

Суинберн, Алджернон Чарлз (1837–1909) — английский поэт, прославлял чувственность и языческий гедонизм.

Берн-Джонс, Эдуард (1833–1898) — английский художник-прерафаэлит.

Уистлер, Джеймс (1834–1903) — американский живописец, был близок к французским импрессионистам.

15

Корреджо, Антонио (1494–1534) — итальянский художник

16

Винкельман, Эдуард (1838–1896) — немецкий историк.

17

Теокрит (260 до н. э. — дата смерти неизвестна) — греческий буколический поэт, автор тридцати идиллий и двадцати двух эпиграмм.

18

Ланг, Эндрью — шотландский писатель, филолог и историк.

19

Испанскую войну, объявленную 11 апреля 1898 г., вели Североамериканские Соединенные Штаты против Испании, которая потерпела поражение, потеряв Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины, Гаваи, а также ряд мелких островов.

20

Россетти, Данте Габриэль (1828—1S82) — английский поэт и художник, основатель прерафаэлизма.

21

Моррис, Вильям (1834–1896) — реформатор английской керамической промышленности, художник и поэт, автор социальной утопии «Вести ниоткуда».

22

Галле, Чарлз (1819–1895) — английский дирижер и пианист (по национальности немец, сын известного немецкого пианиста и композитора Генриха Галле).

23

Теннисон, Альфред (1809–1892) — английский поэт, творчеству которого присущи сентиментальность и романтизация консервативного мещанского мира.

24

Китс, Джон (1795–1821) — английский поэт-романтик. Наиболее известное произведение — утопическая идиллия «Эндимион», где выражен протест против пуританского ханжества; лирика Китса проникнута воспеванием красоты и гармонии в природе.

25

Броунинг, Роберт (1812–1889) — английский поэт.

26

Уайльд, Оскар (1854–1900) — английский писатель, автор известного романа «Портрет Дориана Грея», комедий «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным» и других.

27

Ирвинг, Генри (настоящее имя и фамилия Джон Генри Бродрибб; 1838–1905) — английский актер и режиссер. Руководил с Эллен Терри театром «Лицеум», ставил пьесы В. Шекспира.

28

Терри, Эллен Алис (1847–1928) — английская актриса. На сцене с 1859 г. Особенно прославилась в ролях из шекспировских пьес. В 1902 г. возглавила театр «Империал», где совместно с Г. Крэгом осуществила несколько постановок пьес Ибсена и Шекспира.

29

Бирборн, сэр Герберт (1853–1917) — английский актер.

30

Арнольд, Эдвин (1831–1904) — английский журналист и поэт.

31

Добсон, Остин (1840–1921) — английский поэт и писатель.

32

Сарду, Викторьен (1831–1908) — французский драматург, автор многочисленных комедий, популярных в свое время в России.

33

«Глупая девочка!» (нем.).

34

«Вы были правы, милая сударыня. Целую ручки!» (нем.).

35

Гиш, Лилиан (1896) — американская актриса, звезда немого кино. Расцвет ее творчества связан с участием в фильмах Д. Г. Гриффита.

36

Фуллер, Луа (настоящее имя Мария Луиза; 1862–1928) — американская танцовщица.

37

Сада-Якко (1872–1946) — японская актриса.

38

Штук, Франц фон (1863–1928) — немецкий художник и скульптор.

39

Монтеверди, Клаудио (1567–1643) — итальянский композитор, основоположник итальянской оперы.

40

Бар, Герман (1863–1934) — австрийский драматург, романист и критик.

41

Рихтер, Ганс (1843–1916) — немецкий дирижер, пропагандировал музыку Р. Вагнера.

42

Моттль, Феликс (1856–1911) — немецкий дирижер и композитор. С 1904 г. директор Музыкальной академии в Берлине.

43

Гумпердинк, Энгельберт (1854–1921) — немецкий композитор. В 1914 г. подписал манифест германской интеллигенции против войны.

Тоде, Генрих (1857–1939) — немецкий историк искусств. Был профессором нескольких германских университетов.

45

Приведенный А. Дункан текст К. С. Станиславского несколько отличается от текста оригинала. См.: Станиславский К. С. «Моя жизнь в искусстве».

46

Эгерия — мифическая героиня, чьим именем был назван источник, супруга царя Нумы Помпилия, после его смерти превратилась в источник. Римляне чтили Эгерию как родоразрешительницу.

47

Роббиа, Лука делла (1399–1482) — глава семьи итальянских скульпторов, впервые применивших в скульптуре технику майолики.

48

Донателло (1386–1466) — итальянский скульптор раннего Возрождения, развивал демократические тенденции, осмысляя опыт античного искусства.

49

Рейнхардт, Макс (1873–1943) — немецкий режиссер, актер, театральный деятель. В созданных им театрах и студиях экспериментировал в области театральных форм, новых выразительных средств.

50

Копо, Жак (1879–1949) — французский режиссер и актер, театральный деятель.

51

Эндимион — мифический герой, юноша, за красоту взятый Зевсом на небо. Там Эндимион воспылал любовью к Гере, супруге Зевса, за что тот погрузил его в вечный сон.

52

Стриндберг, Август Юхан (1849–1912) — шведский писатель, автор многочисленных романов и пьес, оказавших заметное влияние на развитие европейской литературы.

53

Скотт, Роберт Фолкон (1868–1912) — знаменитый английский исследователь Антарктики. Погиб во время экспедиции на Южный полюс.

54

Дузе, Элеонора (1858–1924) — итальянская актриса, чье творчество обогатило мировое сценическое искусство.

55

В Америке применяется температурная шкала по Фаренгейту, 90° тепла по Фаренгейту соответствуют 35° по Цельсию.

56

Дом изящных искусств.

57

Дэмрош, Вальтер Джонс (1862–1924) — американский композитор и дирижер. В 1894 г. основал оперную труппу для исполнения произведений Вагнера, а в 1904 г. стал директором Нью-йоркского симфонического оркестра.

58

Колонн, Эдуард (1838–1910) — французский скрипач и дирижер.

59

Бриссон, Адольф — французский журналист и критик.

60

Лоэнгрин — действующее лицо немецкой средневековой поэмы, использованной Вагнером для своей одноименной оперы. Лоэнгрин выступает в ней защитником угнетенной женщины.

61

Д’Аннунцио, Габриэле (1863–1938) — итальянский писатель, политический деятель. Большинство стихов и романов проникнуты декадентскими и ницшеанскими идеями.

62

Д’Оревильи, Барбе Жюль Амеде (1808–1889) — французский писатель-романтик. Критиковал буржуазное общество с позиций католицизма.

63

Аппиева дорога — первая мощеная дорога, проложена при Аппии Клавдии в 312 г. до н. э. между Римом и Капуей; сохранилась до нашего времени.

64

Сезар, Франк (1822–1890) — французский композитор, органист, создатель известной композиторской школы, представитель романтизма в музыке.

65

Кальметт — редактор газеты «Фигаро», был убит женой видного политического деятеля Кайо за шантаж и угрозы опубликовать ее любовную переписку.

66

Пароход, принадлежавший Трансатлантическому пароходству, основанному Сэмом Кюнардом (1787–1865).

67

Грант, Улисс Симпсон (1822–1885) — восемнадцатый президент США (1868–1876).

68

Кличка, данная французами огромному артиллерийскому орудию, из которого немцы обстреливали Париж на расстоянии 78 миль.

69

«Тузами» во время первой мировой войны называли на Западе военных летчиков (асов), которые вывели из строя не менее пяти вражеских аэропланов.

70

Венизелос, Элефтериос (1864–1936) — премьер-министр Греции в 1910–1915, 1917–1920, 1924, 1928–1932, 1933 гг. Противник реставрации монархии в Греции.

71

Литвинов, Максим Максимович (настоящие имя и фамилия Макс Валлах; 1876–1951) — советский государственный и партийный деятель. В 1920 г. — полпред в Эстонии.

72

Гельцер, Екатерина Васильевна (1876–1962) — советская артистка балета, народная артистка РСФСР, работала в Большом театре.

«Я красная, красная!» (англ.).

74

Геркуланум и Помпея — города, находившиеся около современного Неаполя, частично разрушены и засыпаны вулканическим пеплом при извержении Везувия в 79 г.

Меняйтесь местами! (фр.).

Имеются в виду изделия известных стеклозаводов Кузнецова, Гарднера, Попова.

77

Васильев, Сергей Александрович (1911–1975) — русский советский поэт, автор трилогии «Портрет партизана» и цикла сатирических стихов, пародий, эпиграмм.

78

Красин, Леонид Борисович (1870–1926) — советский партийный и государственный деятель. С 1920 г. нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в Англии (с 1924 г. — во Франции).

79

Локк, Джон (1632–1704) — английский философ-материалист, создатель идейно-политической доктрины либерализма. Идеи Локка оказали значительное влияние на французских материалистов XVIII в. и утопический социализм XIX в.

80

Якулов, Георгий Богданович (1884–1928) — русский театральный художник, известен также как автор проекта памятника 26 бакинским комиссарам, над которым работал в Баку в то время, когда там жил Есенин. «Баллада о двадцати шести» С. Есенина посвящена Якулову.

81

Имажинисты — литературная группировка, возникшая в России в 1920-х годах, утверждали примат самоцельного образа и формотворчества над смыслом, выражали преимущественно богемные настроения.

82

Розанов, Иван Никанорович (1874–1959) — русский советский литературовед. Профессор МГУ с 1918 г. Работы по истории русской поэзии, вопросам стихосложения.

83

Зелинский, Корнелий Люцианович (1896–1970) — советский литературовед, критик. Цитируется по его кн: На рубеже двух эпох. М., 1959. С. 215, 225.

Там же.

85

Вверх! Вверх! Стоп, Маня! Что ты делаешь со своими руками? (англ.).

«Но это же молодой человек» (фр.).

Мы покорим весь мир! (нем.).

88

Бонкур, Поль — политический деятель, неоднократно занимавший пост министра в правительстве Франции в 20-е годы этого века.

89

Шпенглер, Освальд (1880–1936) — немецкий философ-идеалист, историк. Развил учение о культуре как множестве замкнутых «организмов», выражающих коллективную «душу» народа и проходящих определенный жизненный цикл. Концепцию Шпенглера отличает иррациональный пафос судьбы. Наиболее известное сочинение «Закат Европы».

Есенин С. А. Собрание сочинений. В 5 т. М., 1962. Т. 5. С. 174.

91

Там же. С. 189.

Там же. С. 190.